



ЕВДОКИЯ ТУРОВА
С ПАСЕНЫ
ОГНЕННО



издательство
МАМАТОВ®
www.mamatov.ru



ББК 84(2Рос-Рус)6—44
УДК 821.161.1-311.6
Т86

Турова Евдокия

Т86 Спасенье огненное: проза / Спасенье огненное (Серебряный след). Слезы лиственницы. — Санкт-Петербург: Издательство «Маматов», 2011. — 416 с.; ил.

«Спасенье огненное» — последняя книга Валентины Ивановны Овчинниковой, более известной читающим людям под псевдонимом Евдокия Турова. В настоящее издание включен цикл рассказов «Слезы лиственницы», вышедший в свет ранее и заслуженно отмеченный литературной премией имени П. П. Бажова.

Электронная версия книги подготовлена при содействии Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

СЛЕД В НАУКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Валентину Ивановну Овчинникову (литературный псевдоним Евдокия Турова) знают как самобытную писательницу, автора книги «Кержаки». Но далеко не все в курсе, что большую часть своей жизни Валентина Ивановна посвятила науке.

После окончания в 1971 году физического факультета Пермского государственного университета она работала учителем физики в средней школе. С 1972 по 1997 годы — в штате Пермского политехнического института. Здесь, начиная с должности старшего инженера Республиканского инженерно-технического центра порошковой металлургии, Валентина Ивановна осваивает секреты исследовательского мастерства. Сфера ее научных интересов связана с разработкой новых функциональных материалов и изучением их свойств с использованием методов рентгеноструктурного анализа, которым она овладела в совершенстве. В 1983 году Валентина Ивановна успешно защищает диссертацию и получает ученую степень кандидата технических наук. За четверть века работы на ниве науки ею проведен обширный объем исследований.

Около 20 научных публикаций в России и за рубежом, 17 изобретений — такой след в научном мире оставила она, будущий писатель.

Валентину Ивановну отличал творческий и неординарный подход к решению проблем. В частности, когда для научно-исследовательских

ISBN 978-5-91076-058-9

© Евдокия Турова
(наследники Овчинниковой Валентины Ивановны),
текст, 2011.
© Издательство «Маматов», оформление, 2011

работ ей потребовались переводы научных статей с японского языка, а в Перми не оказалось нужных для этого специалистов, она решила самостоятельно освоить японские иероглифы. Впоследствии Валентина Ивановна считалась лучшим переводчиком с японского в Перми, принимала активное участие в работе Русско-Японского общества дружбы.

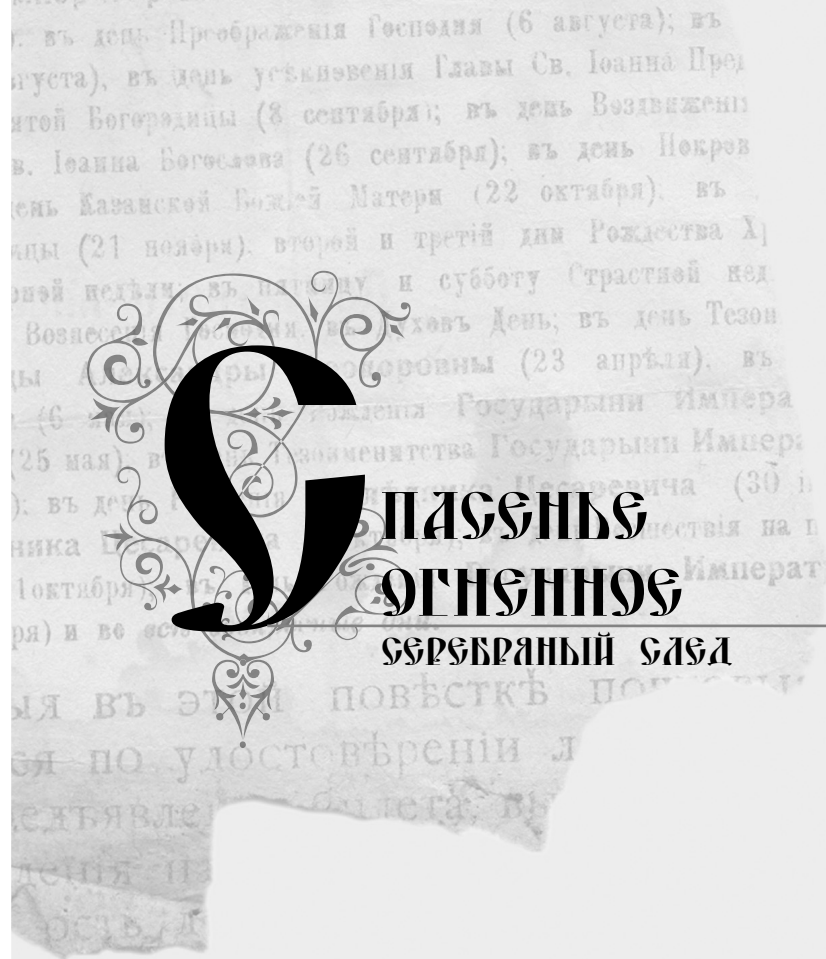
Человек широчайшей эрудиции, Валентина Ивановна интересовалась живописью, археологией, — вплоть до того, что лично ездила на раскопки. Отличаясь глубокой врожденной интеллигентностью, предпочитала всегда делать все сама от начала до конца.

Литературным творчеством Валентина Ивановна начала заниматься в середине 1990-х годов. Ею написан цикл рассказов о деревенском быте, жизненных ценностях и морали пермских крестьян-кержаков. Произведения публиковались в журналах «Урал», «Библиотека», сборнике «Литературная Пермь» и других изданиях. Творческое дарование В. И. Овчинниковой отмечено в 2006 году Всероссийской литературной премией им. Павла Бажова «За художественную прозу, раскрывающую историческое прошлое Урала».

Валентина Ивановна многого не успела. Ушла от нас, оставив незаконченные рукописи, не реализовав многие творческие планы... Осталась неопубликованной и эта книга, для которой автор сама подбирала обложку и иллюстрации.

Выпуск книги — дань уважения замечательной женщине, ученому, писателю и другу, а также возможность в ненавязчивой манере познакомить новых читателей с историей Пермского края. Часть средств на издание книги собрали бывшие коллеги Валентины Ивановны по Республиканскому центру порошковой металлургии,

работающие сейчас, в основном,
в ЗАО «Новоцвет-Пермь».



Владимир Луговской

УШКУЙНИКИ *


А. Ф. Луговскому

Та ночь началась нетерпением тягучим,
Тяжелым хрипением снега,
И месяц летал на клубящихся тучах,
И льды колотила Онега.
И словно напившись прадедовской браги,
Напяливши ночь на плечи,
Сходились лесов вековые ватаги
На злое весеннее вече.<...>
И ты, мой товарищ, ватажник каленый,
И я, чернобровый гусярник;
А нас приволок сюда парус смоленый,
А мы — новгородские парни,
И нам колобродить по топям, порогам,
По дебрям, болотам и тинам;
И нам пропирать бердышами дорогу,
Да путь новгородским Пятинам,
Да строить по берегу села и веси,
Да ладить, рубить городища,
Да гаркать на стругах залетные песни,
И верст пересчитывать тыщи;
Да ставить кресты-голубцы на могилах,
Да рваться по крови и горю,
Да вынести вконец свою сильную силу
В холодное Белое море.

Декабрь 1925 — 22 января 1926

СЕРЕБРЯНЫЙ САД

ТУР И АНФАЛ

—  й-ей, берегися, сторонися!
Шуму-то ноне на пристанях Новагорода, крику-то!
Пора гостям в море, погода уходит, а разгрузчиков
мало. Команде перед походом надо дать отдыха, а где взять лю-
дей на разгрузку?! Шумят люди на главной площади, шапки оземь
бьют и на грудки сходятся. Иные уж и зубы выплевывают.

Боятся голода. Лето мокрое выдается. В прошлом годе тоже
был неурожай, чуть ли не кору пришлось жевать.

Вечевой колокол по три раз на дню гудит, тревожно, жутко
даже слышать его. Тятя Василья торопит сходить в гужевые ряды,
подыскать упряжи да домой собираться. Тревожно в городе, го-
лодно. Не пойдут ли селенья грабить? Чем жить, на зиму глядя,
ежели все отымут?! А Василью в родную избу неохота. Походил,
потолкался на пристане, нельзя тятю послушаться, пошел упряжь
искать.

— Эй, как тебя? Гузно подыметь? Две деньги дам, вынать
товар надо, давай, пособи, расчет чстью!

— Тятю спросить надо, домой тятя торопит!

* Луговской В. Стихотворения и поэмы // 2-е изд. — М: Советский писатель, 1966. — (Библиотека поэта. Большая серия).



— Тятю... Тьфу ты, малой еще.

— Не малой. Гузно любое снесу. А тятю скажусь. Да я одной ногой!

Крякнул тятя, но сына отпустил. Дотемна успеем. Да и за ночь ничего не случится. А запас надо иметь в тревожное время.

Василей на каждом плече несет и бегом бежит. Взмокли волосы, густые и толстые, как лошадиное сило, потемнели синие глаза — девичья гроза. Только и передохнул, когда до нужного места бегал. Деньги тятю отдал, тот — в гужевые ряды, а ты, мол, ступай до нашего обозу, тронемся ноне.

— Посторонись — поберегись!

Все так же тащат и тащат товар по широким сходням вниз. Чего только нет, а вот этого чуда — не было. На сходни кинут толстый ковер, по нему два стрельника посадских бережно сводят невероятной красоты вороного коня. Укрыт конь суконной попоной, голову высоко держит, хвостом бьет. Василью и ум отшибло. С лошадаками-то он с малых лет, и в упряжь, и верхами, но то разве лошади... На повороте суконная попона возьми да зацепись за рухлядь, грудой сложенную, — кучно на пристане-то. Поползла попона, один стрельник, что сзади, стал другому маячить, тот рот разинул, обернулся, не понимая. У Василья рука сама собою сделалась длинная, вырвала у стрельника зауздок. Взлетел коню на спину, прижался к шее, вздыбил жеребца. Враз все ближние отхлынули, пусто стало вокруг, а народ со всех сторон набежал, встал кольцом. Жеребец сразу загарцевал, за-красовался, разминая горячее тело. Стрельцы было и кнутом, и арканом, да боязно дорогую лошадаку тронуть.

— Эх-ма, любо как, жизнь моя молодая!



Красуется, дыбится жеребец, скачет и скачет лихой новгородский парень Василей Тур.

Дорого бы заплатил Василей за молодечество свое, но его вызволил мужик из боярских людей. Большой силы, видно, мужик. Что-то сказал стрельникам негромко, и те Василья выпустили.

— Смерд?

— Ну...

— Крешеный?

— Н-ну, Васильем крестили... А так-то — Тур.

— Грамоте знашь ли? Плотничаешь?

— А то!..

— Вот сюда гляди, запоминай. Запомнишь?

— Ну...

— Ну да ну! Баранки гну! Сказывай, что запомнил.

— Сказывается, что есть-де земля такая, тамока смердов нет, все своеземцы, ораници сколь сможешь орать, столь и имашь. Привольно, мол, богато живется тамока. А охотою можно на низовых татар сбегать по Итилю, у их богатые становища есть. А как дойти туда, Дробило Нездылов скажет, живет возле Демянска. Он, Дробило-то, укажет, как до котельника Нежила Прибышица дойти, а Нежил дале покажет, сколь сам знат. Все.

— В дружину мою пойдешь? Могуч ты телесно, кровь в жилах горячая, молодечеством покрасоваться тянет. Айда со мной по Итилю гулять да бить басурманов! Уж струги готовы на Вятке-реке.

— Пошел бы, здеся у нас мало ораници, и не родит второй год.

— Ну, сказывай Дробилу: «Анфал-мо меня позвал».

Не знал Василей, что в рай не зовут... Поперся искать счастливую землю. Нашел одного за другим Дробилу, Нежила,



Ивана. Пришел с дружиною Анфала на Пермь Великую, на Вишеру, Каму-реку и реку Вятку.

Здесь, на новгородской земле, история делала свой отбор и выбор — шаг первый. Вот он, Василий, мощный парень-тур, и лихой, и мастеровитый. И струг срубить, и грести, и ордынцев бить, и пахать. Анфал позвал его, воля вольная его позвала...

Анфал... Лет сто гулял Анфал с дружинами по реке Итилю, которая еще не была великой русской рекой Волгой. На ее берегах стояло государство Булгария, ордынская столица Сарай, огромный богатый город. Орда жирела. Кочевник осел в городах, построенных для него тысячами русских плотников, каменотесов, гончаров, кузнецов. По Волге шли караваны судов из стран Востока, Индии и Китая. Самым прибыльным ордынским товаром были русские рабы. Стоном стонала земля русская от татарских набегов, горели города и деревни, уводились в полон русские люди. Не было спасения от неисчислимой дикой конницы.

Новгородцы, прекрасные мореходы и корабельцы, купцы-воины, нашли у степняков слабое место. Река! Степняки-ордынцы на реке — никто, они боялись реки, ее таинственных глубин, населенных водяными и другой неведомой нечистью. Паника охватывала татар при одной вести о приближении боевой речной вагаги. Ушкуйники — прекрасно вооруженные, дерзкие профессиональные воины. Такого противника в открытом бою ордынцы одолеть не могли. Ханы с поклоном предлагали дань, чтобы их только оставили в покое. Лучшие дети боярские хаживали в такие походы, а богатеишие купцы Новгорода ссужали деньгами.

Анфалу не предлагали откупа. Его дружина шла уничтожать Орду, жгла и разграбляла Сарай до основания. Он не раз погибал

в бешеных стычках. Но ненависть к Орде призывала его, он был нужен — и Анфал оживал. Вновь по рынкам и пристаням начинали поговаривать, — мол, в дружину к Анфалу зовут... Наверно, душа Анфала не покидала родной земли. Народ порождал его снова и снова. Строились струги-ушкуи, его ждали, и он появлялся — громадный, лихой и непобедимый. Наливался властной силой синий взгляд боярского сына али простого смерда, разбойный свист отбивал ум татарину и обращал его в бегство.

Тура Анфал позвал в свой последний легендарный поход. В укромном месте уже ждали его сотни две ушкуев, добры молодцы готовы были кинуться в бешеную схватку. Сарай будет полностью уничтожен, разграблен и сожжен. От этого удара Орда уже не оправится. Беспредельная наглая сила кочевников наткнулась на силу превосходящую, безжалостную и неподкупную — народную силу. И ордынская нечисть рассыпалась, как морок ночной, как наваждение, и следов не оставила...

«...Есть земля такая, тамока смердов нет, все своеземцы, ораницы сколь сможешь орать, столь и имашь. Привольно, мол, богато живется тамока...» Куда Анфал звал Василия? В какую землю?

Не было еще счастливой крестьянской земли, еще не предложена была борозда в диких местах, там, где жили вотяки и черемисы, вогулы и пермяне. Там Василию и множеству других таких же мужиков да баб новгородских предстояло жить, хлебнуть там полной мерой горя и радости, ужаса смертного и благодати спасенья. Там решалось, какова будет земля русская через много-много веков. Они шли первыми.

Туда, на громадные холодные земли, обращены были мысленные взоры многих современников Тура.



МИССИЯ ИБН-БАТТУТЫ

«У руссов серебряные рудники и из страны их привозятся саумы, то есть серебряные слитки, на которые продается и покупается [товар] в этом крае. Вес такой саумы пять унций» — перечитывает написанное Шейх Абу Абдуллах Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. Покачивается подаренная ханом Узбеком удобная повозка, медлителен шаг верблюдов, влекущих ее.

Этот манускрипт через пять веков назовут знаменитым «Путешествием», автор останется в памяти потомков как Ибн-Баттута. Он совершал свои путешествия по всему необозримому мусульманскому миру «...во имя Аллаха, милостивого и милосердного...». В удобной повозке, сопровождаемый женами и наложницами, слугами и невольниками. Как маленькое бродячее государство, караван почти тридцать лет скитался из конца в конец земли. Менялись верблюды, реке, но тоже часто менялись жены, рождались дети, порой умиравшие от походных невзгод. Досточтимого шейха с почетом принимали эмиры и ханы, он подолгу жил во дворцах, любил роскошь и при любом удобном случае заводил обширный гарем.

В детстве ему приснился пророческий сон.

«Мне снилось, что я лечу на крыльях огромной птицы, которая несет меня к Мекке, потом поворачивает к Йемену и, наконец, доставляет в сказочную зеленую страну». Волшебной и сказочной была для него Индия, но по пути туда он открыл для себя другую зеленую страну, которая так и осталась для него неведомой, населенной диковинными

людьми и манящей несметными богатствами. Это Пермь Великая.

Много дней Ибн-Баттута провел в беседах с властителями обширных земель, малоизвестных просвещенному миру детей пророка. Орда еще не так давно приняла ислам, нужно было прикладывать усилия, чтобы войти в огромный богатый и культурный исламский мир, раскинувшийся от Индии до Испании. Великая культура восхищала ордынцев: ученые, поэты, зодчие создавали рукотворный рай на земле. Собирая богатую дань с покоренных славян, торгуя ими, как скотом, хан Узбек жертвовал на постройку мечетей и медресе в магометанских культурных центрах.

Окружение хана не желало терять обычаи кочевой жизни, устройство быта ханской семьи было самым суровым. Но гость жил в удобстве и даже роскоши. Правда, любимый ханом кумыс очень не понравился тонкому ценителю хорошей кухни. От местного хлеба вспучивало живот. Ежедневная жирная баранина быстро приелась. Ни любимых дынь не было, ни винограда, ни инжира. Садов в этих краях не будет еще лет четыреста. А вот славянские невольницы поразили его прозрачностью глаз и нежной белизной кожи. Они, правда, были совсем дикие, арабских наречий не знали и не умели сладострастным танцем развечь в мужчине благородный огонь желания.

Хан поведал гостю о нравах и обычаях руссов, с которых он взимал дань. Ибн-Баттута узнал, что эти народы убоги, им неведомы науки и высокие ремесла, что свои дома и храмы они строят из дерева, и те часто бывают пожираемы огнем. У них нет ничего подобного медресе, где юношей питали бы знания





Ибн-Баттута, арабский купец и путешественник (1304—1377)

прошлых веков. Они вообще не уважают мудрость и не накапливают ее. Молятся они разным богам, многие почитают Христа. Никаких особенных богатств в этих землях нет, только и взять, что невольников: они приятной наружности, сильны, выносливы и не мстят. Они жили бы совсем бедно, но где-то далеко к северу, вдоль Каменной спины мира, у них есть потаенные серебряные рудники. Никто из людей хана там не бывал, но им рассказывали об этом в северном улусе, в верхнем течении Итиля.

А сами люди севера покрыты шерстью, как будто звери, но ходят на двух ногах. Там полгода — ночь, только дивной красоты огни горят на небе, и ничего красивее никогда не было и нет. А попасть туда можно по рекам, которые зимой становятся твердыми, как камень.

И араб Ибн-Баттута, никогда не интересовавшийся никем, кроме мусульман, решил достичь тех земель и своими глазами увидеть и небесные огни, и серебряные рудники.

Это удивительно. Вот не пошел же на пермский север Марко Поло, тоже знаменитый путешественник. Марко Поло бывал в Булгарах, более того, там одно время жили его отец и дядя. Их семья не была близка к сильным мира сего — обыкновенные купцы. В своих записках Марко Поло просто повторил то, что, видимо, знали все. «Много у тех людей на севере дорогих мехов, у них есть соболя, и горностаи, и белки, и эрколины, и множество лисиц. Но главное — серебряные рудники». И все, резюмировал Марко, более тут ничего интересного нет, пойдем в...

И повел рассказ про Китай.

Ни татары-ордынцы, ни татары-булгары никогда не совались на пермские севера. Никогда. Ни разу единого. Ибн-Баттута

на север пошел. Он снарядил экспедицию и дождался зимы. Его уговорили оставить жен и наложниц в Булгаре, что для жизнерадивого путешественника было немалой жертвой. Накупил одежды, полностью для него непривычной. «...Надевал по три шубы и по двое штанов, на ногах были валенки, а сверху еще и сапоги из стеганых полосок материи, поверх которых вдобавок надевались сапоги для верховой езды из медвежьей шкуры». Упакованный таким образом, он не мог сам без посторонней помощи даже взобраться на лошадь.

По замерзшим рекам экспедиция тронулась в путь. Нормы ислама требовали многократного омовения в течение дня. Долбили лед и совершали омовение. Студеный ветер с верховьев гудел по реке, до зеркальной гладкости оголяя лед. Верхом было уже невозможно, шли пешком по границе льда и снега. На льду ноги скользили, в снегу тонули, встречный ветер опрокидывал. Борода Ибн-Баттуты заледенела, кожа на лбу потрескалась. Нанятый в Булгаре народец, боясь гибели, начал сбегать. Тщательно хранимые в глиняном горшке угли от мороза погасли. Мучила жажда, которую снег не унимал, а отбирал последнее тепло. Но Ибн-Баттута повернул назад только тогда, когда не смог добыть воды для омовения. Хоть и обморозился основательно, но остался жив, и мир узнал его записки. Поднимись он по Каме чуть выше — шансов уцелеть у него не было бы никаких.

...Ибн-Баттута все же достиг Индии и провел восемь лет при дворе султана, став одним из его приближенных. Он, так любивший жить богато, имел дом и собственную мечеть, гарем и многочисленных невольников.

Вспоминал ли он посреди индийской неги зеркальный камский лед, студеный ветер с верховий и солонватый вкус крови на потрескавшихся от мороза губах? Осталось ли сожаление о том, чего никогда не увидел? Самое жгучее сожаление для человека рожденного идти к неведомому...

Да будет мир праху досточтимого шейха Абу Абдуллах Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. Он оставил бесценное свидетельство о том, сколь загадочной и притягательной была Великая Пермь в глазах его современников, какие богатейшие серебряные рудники мечтали найти в этих бескрайних северных просторах под черным небом, горящим сказочными огнями... Как мало знали о той земле, как страстно хотели узнать.

ИЗВЕТЧИК

— Своей ли охотой крестятся югра и пермь? И не срамят ли они наше византийское благочестие? — вопрошает с пристрастием князь московский про Пермь Великую.

— Богатства ради иной раз и крестятся, княже. Так они и русам новгородским служат богатства ради. А какое у их благочестие? Из деревьев Христовы фигуры вырезают, с ликом узкоглазым, какой был у ихнего Куды-водэжа. Раскрасят и молятся. Иконы имя непривычны, дак оне идолам этим молятся, как, мол, понятнее. Иной кровью козлиной губы христовы мажет, жертвы приносят. Срамят, ох, срамят благочестие!

Так отвечает князю его специальный посланник, все ведающий про обширный край именем Пермь Великая. Этот



Спас полунощный. XVIII в. Фрагмент.
Из собрания Пермской государственной художественной галереи.

посланник — Эльдэнэ. Единственное, что он про себя знал: он — Эльдэнэ. О-о-эльдэнэ-э-э! Так протяжно и нежно когда-то пела мать, качая его. Может быть, это означало: «Мой сынок». Или «Весенний ветер». Или еще что-нибудь. Его мать была крещеная татарка, из просторных ордынских степей попавшая в московский терем. У него не было народа, не было родины. В Москве он постился и совершал крестное знамение, в татарском шатре брал с расписного блюда жирные куски баранины, в юрте лесных людей пил теплую лосиную кровь. С русскими он говорил по-русски, с татарами — по-татарски, а с лесными людьми умел говорить молча, читать на лице шамана знаки власти и на своем — внятно обозначать покорность и внимание. При этом даже глаза его, круглые в Московии, превращались в узкие щелочки. Он погибал неоднократно, но он был нужен, жизненно важен для Московии, поэтому он оживал и вновь уходил в неведомые края.

Не зря говорят, что Москва — место мистическое. Деревня на болоте вдали от торговых путей, на которых издревле возникали центры цивилизаций. Никогда не славилась Москва ни ремесленниками, ни торговцами, да и крестьяне были малочисленны и худородны. Казалось бы, подняться абсолютно не на чем. Но идея власти витала в московских палатах, как будто ее питали некие подземные испарения, которые сгущались и принимали человеческое обличье, иной раз такое, от которого содрогался мир.

С момента возникновения Москва всегда хотела знать всё. Извечкички, как муравьи, несли и несли большое и малое слово в ее терема. Был составлен «Чертеж московских земель», только-

только на живую нитку собранных, а то и вовсе покуда живущих сами по себе. На огромном кожаном листе — леса, реки, народы... Карта мечты. И мало-помалу неистовая московская мечта начала сбываться! Московия прирастала землями и людьми, поднялась как центр финансовый, идеологический и информационный. Изветы собирались, значит, и изветчики такие ходили.

И что бы князю московитов далекие пермяне и югра?! Разве не было дел поважнее? В те годы тяжело задувал северный ветер. Казалось, он доносил в Московию из Новгорода звуки вечевоего колокола, шум толпы. Смутное, тяжелое время. Слабела Золотая Орда. Она уже давно гнила изнутри, ушел, выветрился ее сильный злобный дух, заставлявший трепетать, ненавидеть и трепетать. Уже давно Золотая Орда была просто мифом, символом той страшной силы, страх перед которой объединял тверичей и владимирцев, Торжок и Псков, делая их покорными, заставляя платить дань. Темник Мамай решил восстановить былое величие. Его возмущало, что кочевники теряют злость, полюбили негу и роскошь, отдают дочерей женами в московские терема. Решил Мамай перехватить власть, навести страх, собрал войско, пригрозил сидевшему тогда владыке Орды и попер на Московию. Ордынский владыка шлет гонцов князьям московским. Мол, темник Мамай нам — никто. Бейтесь с ним, раз вы — наши союзники.

Ладно, кличем народ биться с Мамаем. А народ-то — воодушевился. Духовный подъем начался. Ополчение. С хоругвями, с женами и малыми детьми двинулся настрадавшийся народец на степняка. Разбил. Опять подъем, пение святых текстов. В Москву пришедши, объявляют: победили Орду! Колокольный звон и всеобщее счастье. Напинали всем, в ком прорзели ордынца.

Сожгли терем ордынцев, где велся учет сборам, поступавшим от сопредельных княжеств. Конец игу! Того, кто сказал бы, как дело было, кого на самом деле разбили, порвали бы в клочья. Свобода!

Это народ может — орать про свободу. А правитель должен думать, как собрать дань. Власть князей стоит на дани. Ведь было иго — был страх. Даже богатый кичливый Новгород платил дань князю московскому, имевшему на то ярлык от Золотой Орды. А что теперь? Конец, конец всему приходит! Хаос стучится в дверь.

Только что говорил московский князь с посланником новгородским. Дивился тот, как Москва богата стала. Где бывала деревянная нищета? Везде пестрые каменные шатры церквей. Внутри теремов кремля — угодное женам-татаркам пестрое узорочье. Низкие потолки нависают, как в любимых шатрах. Князья московитов носят роскошные до пят халаты узорчатые, золотом шитые. Дверцы в княжеских хоробах низкие для гостей. Хочешь не хочешь, а голову наклонишь, входя.

Разговор с послом новгородским тяжелый, очень тяжелый разговор. Должен был этот посланник привезти обозом из Новгорода серебра перемского, соли камской и прочего, да не привез. Говорит, решило вече: русы новгородские боле платить дани Москве не будут. «Ницево!» — так, цокая по-новгородски, отрезал посланник. А и верно: раз победили, кому платить? Русы выставляли войско в помощь? Выставляли. Опять же, и денег давали, ратникам платить. Дадены ли были те деньги ратникам? Ушел от прямого ответа князь московитов. Крутит, лиса татарская! Теряет терпение и выдержку новгородец. Речет в гневе: «С чего

Московия шатрами-то вознеслась, будто Орда каменная построена-нагорожена? Не на слезах ли, не крови ли хоромы ваши, братие? А откуда в Московии иконы святые, владимирские да киевские? Во, как заговорили смело! Зря он так-то. Ведомо князю московскому: с литовцами, с папистами проклятыми переговоры ведутся в Новагороде. Князя литовского хотят к себе звать, родниться спешат. Так ничем и не кончили разговора. Не нашел князь Московии никакого резона, чтобы дань собирать с русских земель. Уходя, грохнул дверкой новгородец, грохнул и словами: «Московия — мытарь ордынский!»

Или эхо в теремах такое?

Ушел новгородец, а князь московский думает. Злоба душист князя. Башку разве спесивому отсечь? Освеживать заживо? Умельцы есть, доводилось князюшке трапезовать под вопли обдираемых должников. Из Новгорода вон послов московских пинками выгнали... Нет, мы погодим маленько, пока не надо. Пока. Мы ему, Новгороду спесивому, сперва богатство отсечь должны. Землю вятскую покорить, земли отнять по Каме. Нашелся было и союзничек среди воевод двинских — Анфалом звать. Ушкуйников вятских ватаман. Издавна от Нова-Города желает Вятку отломить. Все земли окрестные в страхе держит. Жукотин на Каме захватили, напали на Нижний Новгород и перебили много татарских и армянских купцов, Кострому да Ярославль пограбили. Уже никто и близко к Вятке не подойдет, к разбойничьему гнезду. Глаза горят у мужика, власти хочет, княжествовать хочет. Хочешь? На! Только ведь не зазря! Ты уведи на Московию следок серебряный — сядешь, где захочешь. Ну, обещать-то ведь можно...

Вроде бы уж вовсе переметнулся Анфал, обещано ему было многое через изветчиков. А ведь не сказал ничего. Да и сгинул вскоре. Серебро — дело не шутейное, видать, свои прознали.

Такое время было — у Москвы, Рязани, Владимира, Новгорода не было ни постоянных союзников, ни верных друзей. Вчера союзничали — сегодня с вчерашним другом бьемся. Позвать князя-соседа на дружескую пирушку и голову отсечь — это тоже запросто. Но Новгород — дело особое. Богат Новгород неисчислимо, многолюден и силен. Неизвестно даже, где кончается земля его, потому что и конца у нее нет. Далеко к Каменному поясу и за Каменный пояс ходят торговцы новгородские. И везут, и везут меха — рухлядь мягкую, серебро. Как они серебро-то там находят?

Дерево какое-то отыскали, на сосну похожее, но на зиму иголки роняет, будто береза листья. В воде то дерево тонет, а не гниет. И купцы венецейские золотом за это дерево платят. А зачем новгородцы в глухих вятских лесах городок Хлынов поставили? И чем тот городок богатеет? И почему городок этот перемские лесные люди ни разу не обидели? А московские отряды на дальних подступах разбиты были, да перемерзли дорогой.

Поэтому московский князь и посылает Эльдэнэ в Пермь Великую, окраину Новгорода. С чего бы югра и пермь дают новгородцам серебро? Да немало дают! От любой напасти Новгород им откупается, с купцами ганзейскими торг ведет на серебряные слитки, свою монету чеканит. Как же это все делается-то?! Вот поэтому князя и взволновало: уж не обидят ли новгородские ушкуйники югру и пермь? И очень огорчило, что ушкуйники — очень плохие парни и обижают всех.

— Не дело это. Престол православный у нас, в Москве. Надо нам блюсти древнее благочестие, надо пермскую землю защитить от этой заразы новгородской, от ушкуйников, разбоя и беспорядка.

— Стоит ли, княже, зубами держаться за кусок, который в горло не лезет? — вырвалась у Эльдэнэ тайная мысль. Бороденка князя задралась, глаза выкатились в гневе. Эльдэнэ замолчал. Он знал, что покорять эти громадные холодные земли никаких сил у Московии нет. Но он не мог знать, что пятьсот лет Москва будет пытаться уничтожить славу ненавистного северного соседа, стереть саму память о нем. Позднее историки скажут, что ненависть Москвы к Новгороду была иррациональной, то есть разумному объяснению не поддающейся.

Князь же, остыв, ведет разговор дальше.

— А обиженные есть среди перми?

— Как не быть обиженным, князь, если есть богатство?

— Ищи обиженных. Подними их, оборужи, усиль. Пусть пока молятся своим богам. Надо уважать и чужую веру, раз это обычай народа. Крест и благодать истинную мы им принесем. Как время настанет. Не нужна ли им охрана? Защиты не просят? Отряд я замыслил туда послать. У Тимофея Пестрого сын Василей пойдет. Вызвать надобно, чем новгородцы прельщают вогулов, как серебро берут. Немирной народец-то, шибко хитростливый.

Задумался князь, похаживая. Рука с тяжелыми перстнями легла на небольшую золоченую клетку со зверьком заморским. Зверь шипел и зубы скалил, норовил цапнуть. Князь хлопнул в ладоши. Зашел слуга, держа за хвост серую мышку, та издавала обреченный писк. Мышку опустили сквозь прутья клетки,

и зверек ловко словил ее мягкой лапкой, в которой обнаружились немаленькие острые когти. Зверька привезли восточные купцы. Серебром заплатил князь за такое чудо невиданное, полгривны дал (100 граммов серебра). Кот называется Девкам велено было по чуланам ловить мышей для прокора заморского чуда. В Московии разрешено такого диковинного зверя держать только по княжескому разрешению, чтобы всякий простолюдин не равнялся бы с верхними мужами.

Да, так значит, вогулы... Но князюшкина голова не про вогулов болит. Знамо дело, не дети малые в лесах живут, народ лихой. И кабы не нужды собственные, никакого дела бы до них не было, живи оне! Так ведь нужда припирает, надо на что-то казну опереть, войско содержать, людишек кормить княжеских. Таки не на что! Поэтому он ставит вопрос резко:

— Почему из Новгорода люди в эти леса за серебром ходят, как будто по грибы?

Почему-почему... Пока что — покотому, и больше нипочему. Собственный лазутчик Эльдэнэ пробрался даже в охрану одного купца новгородского. И?.. Да ничего, собственно, и не узнал. Ехали от Устюга в начале зимы. Как река стала, так и пошли. Саннный поезд, никакого товара в санях, только мужики в тулупах до пят, и все.

В охране обоза он был, овес да сено лошадям тащили с собой в зимний поход за серебром. За большие деньги пришлось то место покупать. И то страху натерпелся. Шли, мол, от самого города одне и те же. Гусем сани-те шли, поняял? Одне за однем. Главными были два мужика громадного роста, вовсе отдельно от всех ехали в санях. Не спали, почитай. Сперва по речке, потом

лесной дорогой. По обеим сторонам сосны да елки высоты громадной и толщины в несколько обхватов. Будто по леву руку гора и по праву — тоже гора. Небо сверху токо, как голову запрокинешь. И до того густа чаша, что, казалось, и руки туда неможно сунуть. Виднеются стволы деревьев поваленные, одно на другом. В иных местах глубоко в снегу шла дорога, как ровно ручьем проложена. Снег тамока глубок необычайно, случалось, лошади грузли до того, что одна токо голова виднелась. По следу гнали распряженных коней, чтобы их менять. Лошадка — не человек, не вынесет. Дак и распряженные кони, ровно зайцы, иной раз в снегу-то прыгали. Ну, как опять на реку вышли, тамока гладко. Под лед не уйдешь, дак пройдешь. Тамока мы повеселя пошли.

— Чё у их с лесными было — то я только издаля видал. Ете два мужика с саней сходили и шли в землянку. Недолго там побыв, шли обратно, а уж за имя лесные ташили мешки с чем-то. Тяжелые. Ете мешки тут же завязывали натуго, замыкали замком деревянным с веревкой, знашь? Чё тамока, в мешках было — не вем. Один мужик, из громадных, печатку тискал. И дальше покатили. Как ветер, слушай, летели. Коней жалели, а ни себя, ни нас не жалели. Три землянки — и завернули обратно. В земле вятской коней сменили, нас оставили, взяли другую охрану и полетели дальше. А мы спать завалилися. Силов никаких не было. Мужик из охраны мне сказывал: уши, мол, заткни и глаза завесь. Если чё, в прорубь под лед засунут. И чё-то таково мне страшно было, что и не высказать. Не пойду боле.

Лазутчик этот сходил только один раз. Вдругорядь, с большими уговорами посланный, ушел и не вернулся. То ли сбежал,

то ли сгинул где-то. Может, заподозревали в чем-то, да и засунули под лед или продали в рабство в Казань.

Что везли и куда — неведомо. Если в мешках земля серебряная — то маловато будет мешков, если серебро — то где и каким способом добыто? Этого Эльдэнэ не понял. Поэтому ничего и не сказал. Зачем про то князю знать, что самому Эльдэнэ непонятно?

ПЕРА-МАА

Неблизкий путь до Перми Великой. Там, где сейчас поставлены города и живут люди, высился тогда, в двенадцатом-четырнадцатом веке, непроходимый лес — парма. Обширный край — Пермь Великая. Это не государственное название, а, скорее, географическое понятие. Откуда такое название произошло, точно неизвестно. Может статься, из говора каких-то лесных людей, обозначавших словом «пера-маа» нечто очень далекое, лежащее где-то там, неизвестно где.

...И шел и ехал Эльдэнэ с отрядом через Устюг, потом Весляной до Камы, потом волок до речки Колвы, где стоит посад князей новгородских великопермских Искор-городок. Есть чему подивиться, ничего не скажешь. Стоит Искор в глухих лесах на высоком холме, детинец поставлен. Не московское богатство, конечно, дома все деревянные, рублены «в лапу», крыты тесом топорным. Да уж больно ладно сложены, узорочьем деревянным украшены, церкви бревенчатые, крыты лемехом. И все мастер ладил, нигде-то нигде промашки не дал. Радуетя глаз на Искор-



городок. И земли вокруг изобихожены. Плотинки насыпаны, на прудах гуси. Июлий месяц стоит, а у них уж жито готово под серп. Это их была придумка, новгородцев — озимое жито. Никто еще так-то не умел. Ячмень да овес только сеяли. А озимые не толковали.

Хоть и без большой радости встретили гостя из Московии, а накормили и в баню сводили, как положено. Угощенье, конечно, не то, что на пирах князей московских. Но такого хлеба и бражки такой нигде не отведаешь. Никто не умел печь столь мягкий, пышный хлеб.

А разговор с новгородцами не порадовал. Да и не ждал тут ничего Эльдэнэ. Не первый раз он видит русов. Слов нет, богаты новгородцы, умелы, как никто. Вон дома какие, какая рожь, сколь овечек в загонах, какой лен стоит. Торговать мастера. И соль разведать толкуют, и железо, серебро. А поговоришь с русом — будто столб перед тобой, вкопанный в землю на дюжину локтей. Не то что не сдвинешь — не пошевелишь. И сейчас глядят новгородцы спокойно и спесиво. Они всем показали, как можно жить хорошо и богато, всех купили. Чего еще надо? Татарин ежели подопрет, войско найдем. К их умениям, да богатству — ну, хоть сколь-то бы гибкости. Сами не толкуют, так Эльдэнэ наняли бы. Только намекнул, мол, не все в Московии хотят покорения Новгорода. Есть там некоторые... обмануть можно московитов-то. И услышал... сказку вот такую:

— Жили тутока в одной деревне пятеро братьев и ихна сестра. Ну, братовья — мужики богаты, усадбы у всех хороши, да и саме — хоть куда: и ростом удалися, и мастеровиты, толкуют во всем. Кто хозяйство большое держит, кто торговлю

развел, кто опеть образа писать наловчился. А сестрица — ни то, ни сё. Сама горбатенька, личиком страшенька и по хозяйству — ничё ни к чему. Дом-от и то на болоте поставила. Разе толковой-от человек дом на болоте строит?! И взяла ее черная зависть. Пошто у братовьев дома богаты, пошто свадьбы по седмице гуляют, пошто гостей полон двор, а ко мне никто не едет?! Точит ее зависть, точит. Пить-исть не может сестрица, думает, как бы ей над богатой родней возвысится. И нашелся злой разбойник, проторил к ей дорожку. Ты, мол, помоги мне братьев одолеть, уж я тебя не обижу. Ты к им хаживашь, запоры знашь, отвори задние ворота, а мы свое дело сделаем. Братья-те хоть и не дураки, ворота поло не дярживали, ну дак наверняка только обухом бьют, да и то промашка бывает. Ухватила сестричка минуточку, разбойников-то и провела. Всех братьев поразорила горбунья. Хоромы белокаменные стали над болотиной. Все богатство туда от родни свезла. Кто чё поперек сделает — разбойник тутока как был. Ох, уж она приём над братьями, чё хотела, то и творила. Велела себе в землю кланяться, а сама сапожок на голову ставила. И каблучком-то вот едак, вот едак. Вовсё в говно мужиков растерла. Разбойник уж давно конец себе нашел, а сестрица все так же над братьями изгалялася. Так, сказывали, и живут по сю пору.

— Ну, да, — терпеливо ведет разговор Эльдэнэ, — Московия поднялась на сборе ордынской дани. Ханам Москва обязана своим величием. На той силе стала, стоит и будет долго стоять. А какое государство стоит на ином?! Не вы ли силой дань с югры серебром берете? Ну, приспособьтесь вы маленько! Али предпочитаете голову потерять?

— Мы не силой дань с югры берем. И силой к кресту не ведем.

Вот и весь разговор. Собеседник надменно выпрямился, между бровей легли две грозные складки. Словом, изобразилась перед Эльдэнэ картина неведомого ему художника будущих времен: Александр Святославич Невский — «Иду на вы!» Нет, Эльдэнэ им не нужен. На его узкоглазую физиономию им глядеть неохота. И думать нечего вызнать что-то про серебро.

Собеседник Эльдэнэ развернулся круто, не зная, на чём злость сорвать. Под ногу подвернулся... ну, да, тот же самый зверек, какого Эльдэнэ видел в клетке у князя. Новгородец взревел:

— Маланья!! Опять у тебя кошка в избе! Ее дело — мышей по амбарам ловить, а не возле печки греться!

Схватил диковинного зверя за загривок и выкинул в дверь. Кош скалил зубы и шипел.

И от новгородцев уходя, шипел Эльдэнэ, как тот рассерженный кош, и плевался на все стороны. Ясно одно: никаких громадных складов для товаров не видать. Не виден вообще никакой товар. Между тем Новгород только что откупился от ливонцев. Дал много пудов серебра. Полгода собирали откуп. Но собрали ведь! И не где-то, а здесь. И живут спокойно, лесных людей не боясь. Не силой берут. Чем?!

Вот он уже в деревне крещеных вогулов. Московиты их пытались обратить в православие, учили: живите, мол, своими деревнями. Мало что получалось. Дома у вогулов поставлены неумело, кривые и косые, иные падают совсем. На что вогулу деревня?! Но иным и нравится. Нравится им и новая жизнь, и новые дома,

и новая одежда. На лошадях ездят, даже если из одного конца деревни в другой. Слушают уж не завывание шамана, а гусли, колокольчики и девок-песельниц. В баню ходят. Толкуют в новом плохо, даже на лавках сидеть не умеют — часто падают на пол, печки у них дымят, да и дома горят иной раз. В избе вогула дымно, пол грязный, мыть его еще не научились. Но Эльдэнэ деваться некуда, если где-то искать опору, то в этих, перекрещенных и опоры не имеющих.

— Моя — Микаила, — представился хозяин. — Поняла? Микаила.

От угошенья Эльдэнэ отказался. Такая тут грязь, вон помет мышиный в хлебе. У хозяина морда сажей вымазана, половина морды заплыла багрово.

— Моя в бане мылася, накуй обварилася. Укват знашь, укват? Во, я за укват укватилася, а она накуй обломилася, обварилася я накуй, — было дано пояснение. — Никуя, пройдет накуй.

Потчевал радушный хозяин настойчиво. Подан корявый рыбный пирог, корка — как подошва, и рыба внутри прямо как есть, с кишками и головой. А вот еще новинка:

— Э, крен тебе нада? Во, глянть, крен называется. Русы дают. Я у русов клелнул, думал сдокну накуй. Никуя.

А власти уже хочется. Глазки горят, как заговоришь, что князь московский им самостоятельное княжество даст.

— Князя? Я князя буду накуй. Я такая буду князя!

Ни малейшего сомнения — аж зло берет Эльдэнэ.

— Князь, ты еще в носу ковырять не научился, вон сушенки висят!

— Никуя, науцюся накуй.

И верно, многому научится «Микаила». Может быть, его сын уже будет толмачом при московском дворе, праправнук поедит в Париж, устрицы станет есть и танцевать на балах. А, может быть, «Микаила» действительно получит из рук московских власть, и надолго: просидят местные князьки и при князьях, и при царях, и при советской власти, и после нее. Это еще не все. Получив деньги и оружие, может «Микаила» стать безбашенным полевым командиром и не один десяток лет наводить ужас на весь тутошний народ. Он с одинаковым удовольствием будет сжигать заживо шамана в чуме и свежевать православного миссионера. Он понял, что духам предков до него не дотянуться, что деревянные идолы — просто пни, а новый Бог — очень далеко. Святотатство, свершившееся на его глазах, лишило основ его душу, и он стал — зверь. Глядя на вымазанную сажей физиономию, решительно невозможно понять, по какой дороге «Микаила» пойдет. Дело случая.

Из дома этого перспективного политического зародыша уходил Эльдэнэ с тяжелым сердцем. Перекупить можно. Сказать с уверенностью, что из этого выйдет — нельзя. А на сей момент ничего у Микаила нет — ни старого, ни нового. И ничего он не может, и не знает — ничего. Он даже слова такого не знает — «серебро».

Было у Эльдэнэ заветное место в пермских землях ближе к Вятке — маленький лесной народец, забавный и безобидный, «танцующие», так он их называл для себя. Все друг другу сказывали танцем или песнями. Каждый вечер собирались и долго «болтали», изъясняя, кто где был и что видел. Проплывали в танце лосихи с лосятами, прыгал заяц, вертел



Прорезная бляха с изображением богини в окружении высоких фигур. VI—VII вв. Найдена в Чердынском районе Пермского края.

головой филин. Если девушка увлеченно рассказывала про медведицу с медвежонком, как он балуется, а она его шлепает, она и впрямь могла это видеть. Но она могла приметить пень, похожий на медвежонка, а все остальное уже было чистой воды фантазией. И где правда, где вымысел — не понять. Сами танцующие их не различали и различать не собирались.

Иногда танец заканчивался потасовкой. Долго визжали, толкали друг друга и скалили зубы. Но после даже и царапины ни на ком не было. В убогих хижинах то и дело попадались диковинного вида маленькие костяные и бронзовые фигурки, какие-то пояса, шарики, назначения которых никто не помнил. Видно, раньше знавало это племя другие времена. Может быть, остаток большого народа скитался по перми, не помня прошлого и не глядя в будущее?

Они умело рыбачили, ставя зимой и летом ловушки, сплетенные из ивняка. Изредка охотились на лося, ловили силками птицу и довольно легко добывали себе скромное пропитание. У них не было никаких богатств, они не зарились на охотничьи угодья и не торговали пушниной. До них никому не было дела: ни вогулам, ни новгородцам, ни москвитам. Часто они кочевали не в поисках еды, а в поисках невест. Своим танцем каждый рассказывал Эльдэнэ, какую он хочет невесту. С горестными подвываниями поведали легенду про то, как парень их рода захотел в жены девушку русов. Это был такой замечательный парень, девушка русов обязательно согласилась бы! Он надел лучшие шкуры, на голову нацепил волчьи уши, будто он из рода волка.

И когда девушка русов пошла собирать ягоды в лес, стал танцевать ей про свои чувства. Он рассказывал, какой он храбрый, как он поразит всякого, кто посмеет на нее поглядеть. Какую замечательную добычу он принесет в их свадебное логово под корнями ели. Но большой рус длинным копьём проткнул парня. Горестно поникли руки танцующих. «Мы всегда танцевали русам интерес и симпатию, а сейчас будем танцевать злость и угрозу». Таков был вывод.

Русам-то, думал Эльдэнэ, все едино: что от них симпатия, что угроза. Девки и бабы, завидев, визжат и мчатся домой, мужик порезвее пришибет, хоть ты ему что танцуй. Не просите у русов девушку, им самим не хватает девушек, очень далеко стойбище русов. Примерно так изобразил Эльдэнэ свои мысли. И был понят, и даже с благодарностью. Да, у русов девушек мало. Действительно, стойбище их далеко, где девушек взять? Хорошо, мы и впредь будем танцевать русам интерес и симпатию, а танцевать угрозу не станем. Не сказал им Эльдэнэ, что для русов с высоты их умений и богатства все они — лесная нечисть, и только.

Пока за разговорами сидели, мужичок из рода танцующих самого невзрачного вида сходил на старицу, достал из воды плетеную ловушку и вместе с братом своим притащил куль пойманной рыбы. Для лесного человека это — ну, что для бабы деревенской в огород за морковкой сходить. Но! Воротясь с реки, лесной мужичок разворачивает перед собратьями рассказ о своем походе, полном опасностей, приключений и подвигов.

Как он собирался за рыбой, а духи предков его отговаривали: «Ой, не ходи, пропадешь!» А он им: «Нет, пойду я, все мои

родственники кушать хотят свежей рыбы». И как он пришел на старицу, а девка водяная из реки его стала звать: «Пойдем ко мне, мужем моим станешь, много рыбы будет у тебя». И он совсем было согласился жениться на водяной девке, но дух предков высунулся из-за елки и сказал: «Ой, не ходи к водяной девке, она тебя утопит». Тогда он послушался и не пошел. Только морт (ловушку) достал, взял рыбу и пошел домой.

Тогда взялась соблазнять его лесная девка. То зазывно пройдет, как лосиха осенняя, то на мху валяется, будто медведица, ждущая медведя. И опять дрогнул было мужичок, хотел ее в жены взять. Но дух предков из-за елки сказал: «Ой, не ходи, там капкан в ей, в лесной девке. Возьмешь в жены, как только станешь ей мужем, тебя капкан ейный и словит!» Послушался мужичок и домой пришел.

Сидевшие вокруг костра переводили дыхание, качали головами в изумлении. Едва ли не больше всех удивлялся тот, кто помогал повествователю куль с рыбой тащить. Он даже пальцем показывал на те елки, из-за которых раздавался спасительный голос предка. Тот мужичок-рассказчик, кстати, хоть и не превосходил прочих ни ростом, ни уменьями, имел двух жен и почитался за выдающегося охотника и рыбака.

Эльдэнэ уже давно приметил: среди лесных людей безруких-то нет. Стрелять из лука белке в глаз умеет всякий чуть не с рождения. Рыбу тоже все до единого ловят мастерски. За богатыря, мастера и великого умельца почитают того, кто больше и убедительнее прочих умеет насочинять про свои подвиги. Поэтому всяческие росказни в словах, песнях и плясках лесные люди плетут по любому поводу, не сходя с места и каждый

день не поодинова. Кто сам придумывает, кто-то учится только, пересказывая слышанное. Эльдэнэ и не предполагал, что ему вскоре придется искать зерно реальности в этих неопикуемых горах придумок и фантазий.

КУДЫМ-ОШ

Одно лето был Эльдэнэ у пермяков. Это племя обитало по Каме-реке. Непохожее на других лесных людей племя. В избах живут, молятся Кудэ-водэжу. Кто такой? Расскажут охотно. Почитают, хоть и жил Кудэ-водэж много-много зим и лет тому назад. Ну, послушал Эльдэнэ про то, что Кудэ-водэж был, естественно, сыном медведя, ростом выше елки. Богатырским топором срубал самую толстую березу. Топору богатыря они молятся до сих пор. И что сама лесная девка ему в жены набивалась. И рогатая щука с ним беседы вела, потому был он самым мудрым. И еще много чего было рассказано с большим почтением. У Эльдэнэ, наловчившегося соотносить рассказы лесных людей с тем, что было, сложилась примерно такая история.

...Он был сыном пермячки и новгородского торговца-ушкуйника. Он родился и жил в новгородском посаде, но всегда знал, что его путь — в далекие перемские леса, к лесным пермяцким людям. Мать песни пела, бормотала на пермяцком языке про то, как он вырастет — пойдет с лихими ребятами-ушкуйниками караваны лиственницы по Колве и Каме спускать. Отец не баловал, школил жестко, как выжить в безмолвной парме, как развести костер, найти еду, уклониться от стрел и секир.

На Пермь шли плотами, речной дорогой. С собой ташили зерно, орудия крестьянские, чтобы обжить небольшое место. Отец продал лавку в Новгороде, истратил все свои сбережения, замышляя поставить факторию в Перми. Вооружить и сделать сильным одно племя — пусть оно захватит места и дает хорошую дань пушниной. Чем плохо? А сын сядет князем. Язык знает. Захватим соляные источники. Зачем тащить издалека войско для охраны, пусть воюют местные.

Все обстроили возле самого бедного племени, выжитого вогуличами на болота. Сильное-то племя не покорить. А эти век будут помнить, что завоеванное стоит на чужих мечах.

Оставив сына, отец сотоварищи отбыл по торговым делам. А, вернувшись через год, удивительные зрит вещи.

На взгорке посреди пармы стоит... деревня. Домишки косые-кривые, неумелыми руками поставлены.

— Ты что делаешь, Кудим? Ты выводишь их из леса? Чтобы они вот так ковыряли землю? Такие корявые строили дома? Чтобы охотиться перестали? За каким чертом мне такие лесные люди? Пусть вооружаются железными стрелами и воюют, вот что мне надо. Я затратил все свои деньги, все сбережения вложил, я жизнь в тебя вложил. Зачем ты наделал сохи, когда надо было делать мечи и стрелы? Торговать будешь? Чем? Кому они нужны со своих болот? Они ничего не умеют, ничего.

— Я тутюка с князем вогуличей договора иметь скоро буду. Посылал своих в ихние места, оне одного мужичка из вогуличей словили, привели. Я велел не обижать. Сколь-то сидел на цепе, потом ничё, обьк. Я у его говор вогульский выучил. Посылаю его, иди мол, теперя обратно к своим. А он не идет, боится.

Я, мол, раз к вам попал, значит, вы меня убили. Я теперя для своих мертвой. Как приду — испугаются и убьют. Так и живет теперя. Ко князю вогульскому Йибы-ойка я пошел, дак его с собой брал. Толмачом. Сам будто ничё не петрю. Дак он, толмач-то, себе на морду лист берестяной с дырками надел, а то, говорит, убьют, точно, и тебя убьют, и меня.

— Кудим, ты забыл рази, о чем мы с тобой в Нова Городе толковали?

— Не, ты слушай, что дальше было. А Йибы-ойка, князь вогульской, силен! Столь у его охраны, войска шибко много, я тайком на палке зарубки оставил, сколь у его лучников и мужиков с секирами. Я у толмача вызнал, как мне Йибы-ойка показать, что он тутюка главной. Тот и показал: вот едак вот башку, мол, изогни, он и поймет. Оне как от волков сыновья. Изогнул я башку, не переломился. Ну, он так понял, что я у его буду как меньшей князь. Так я и не рыпался. Мне чё и надобно. Поделили земли, чтобы он не лез ко мне. Я, смирёный такой, согласился на Темное болото, на верховой лес по Сьлве, на то, чё имя, вогуличам, не надобно. Чтобы не зарилися и не воевали с нами. По речке бы пропускали за малую деньгу. Я замыслил в низовьях торговать. Золотом платят купцы венецейские. Будет, чем жить, разбогатеем, не надобно будет воевати-то!

— Что ты отдал? Самые охотные угодыя? Да на кой нам така болячка, скажи?! Забрал рухляди, загрузился солью — вези все до Нова Города. Какие заботы, всегда продашь с прибытком. Оборужи, обучи лесных, все земли окрест твои будут. В уме ли ты, Кудимушко?! Кудя, опамятуйся. Я добром тебя прошу покуда.

— Душа не лежит воевать, тятя. Оне тамока живут, вогуличи-те, а мы тутока. Оне охотничают, а мы железо ладим. Оне так живут — мы едак. Об чем нам воевать? Из болота я маленько умею железо делать, уже пробовал. Можно. Сошник я выковал, тятя. Вот пахать скоро стану. Я у их как главной теперя, власть имеющий, не позволяю воевать-то. Оне тутока обыкли заживо головы обдирать, с волосами вместе, да вшей жрать. Боле такого не будет. Я имя показал, как хлеб-от есть, в тесто мясо заворачиваю, чтобы имя привычным пахло. Оне называют «пель-нянь», едят!

— Что железо вызнал, за то хвалю. Из железа стрелы востры и секиры хорошие. Я ноне оправдался маленько. Соболя взял, самолучший товар. Ладно, Кудя, ты помысли еще, покуда мы с ребятами до вогулов сбегам. Есть дело одно. А что есть договор у тебя с князем вогуличей, дак это хорошо. Не боится. Твои враспloch придут, так даже и лучше. И чтобы к следующему лету ты сидел над князем вогульским и брал с него дань. Не сядешь ты — сядет другой.

Отец не вернулся. Всего один из его дружины назад воротился, в рваной одежде, изъеденный лесным гнусом. Еле в себя пришел, давай звать Кудима обратно, в те места, где страшной смертью полегли его товарищи.

— У их, тамока, Кудя, народ-от лиственницу шибко признает. Возле лиственницы игрища свои творят, зверя в подаренье ей притаскивают. Оне каждую весну соболем откупались, чтобы мы ихну лиственницу не трогали. Наши ране-то много тутока лиственницы-то порубили, дак имя, вогулам-то, токо топор теперя покажи — боятся. И ноне мы пришли — все ладом было. А я возьми да порушь ихной алтарь. Ну, вроде

избенки малой, на тычках ставят, с ихними пнями резными. Дак ровно сундук открыл, таково там всякого добра накладено. Блюда, кувшины — богачество, Кудя! Серебро!

— Где богачество-то?

— Дак побили нас, всех побили. У кого топоры за поясами были. Чё имя, вогулам, имя в лесу везде дорога. Я и сам не ведаю, как уцелел. И чё творили, чё творили! Башки мужикам ободрали, на куски разрубили, возле той лиственницы сложили. И скакать давай, и горланить. И в те блюда колотят.

— Обратнo-то зачем зовешь?

— Дак за богачеством, Кудя! Я энтих ихних избушек навидался, их по лесам полно. Эх, кабы знато было, что у их тамока богачество! Давай наберем ребятушек, избушки зорить, серебро собирать.

— Зло сеете, зло и пожнете. Иди куда хошь, я тебе не помощник. Моих зорить станёшь, дак я и тебе велю башку снести!

...Нет больше отца у Кудима. Теперь он сын медведя.

Забирает ценности серебряные в избушке у местного идола. Закапывает. Чтобы не зарился никто. Сватается к вогульской царевне, дочери Йибы-ойка.

Ведет с собой толмача. Толмач страшно трусит и пытается отговорить Кудима от затеи сватовства.

— Если хочешь, власть имеющий, я тебе лучше скажу жену. Тебе как без жены? Никак. Начто тебе эта девка у Йибы-ойка? Я тебе один большой секрет вогульский скажу. Хорошую жену будешь иметь. В лесу за святылищем живет лесная девка Мис-нэ. О-очинь красивая девка. Сама во всем белом ходит, а на ленте серебряной у нее соболек черный. Какой парень женится

на ней, всегда богатый будет. Я только тебе скажу, как жениться. Она когда тебя к себе уведет, спать пора станет, девка скажет: «Мою шубу постели». Ты так не делай, у ей в шубе капкан-ловушка. Ляжешь — она тебя и убьет. Надо шубу ее поднять. А там капкан. Ты ее и спроси: «Зачем лукавишь? Я, мол, тебя замуж беру, а ты меня убить хочешь». Она скажет: «Да я посмеялась». Постелешь шубу, и весь век богато жить будешь. Она будет зверя промышлять, ты только пушнину таскай-продавай-меняй. Понял? Это я тебе, что не убил меня, потому рассказал. Не пойдем к Йибы-ойка, давай девку лесную, Мисс-нэ искать станем.

Соблазнял его толмач и лесной девкой, и водяной. Такому ли богатырю, как власть имеющий, об невесте задумываться. Можно даже враз на двоих девках жениться, и на лесной, и на водяной. Одна зимой охотничает, другая летом рыбу ловит. Чем плохо? Незачем, ох, незачем к Йибы-ойка тащиться.

Но власть имеющий настроен решительно. Ну, что ж, дело его. Имеет в колчане железные стрелы, а шею перед Йибы-ойка гнет, как слабый волк. Зачем?! Не понять толмачу.

Девка как девка, узкоглазая, широкомордая, румяная. Одета богато, спесива. Но парень привез отцу ее столь богато серебра, что царевну отдали. Да и собой статен был богатырь. Вопрос: могли ли он ей понравиться? Легенда свидетельствует, что понравился.

Кудим уходит в первый сплав с товаром. Возвращается пешим ходом, тайно. Под одеждой весь обвешан драгоценными тканями для жены.

Видит, у старого идола накровавлено, валяется чье-то истерзанное тело, с башки снят скаल्प. Неужто супругу его так? Рванулся домой. В руке топор.

— Зарублю!!

Рядом бежит перепуганный соплеменник и быстро-быстро оправдывается:

— Это Йибы-ойка ей наемни подарок послал, пленника жирного, она это сама его топориком зарезала, кровь пила и радужную кожу снимала. Это не мы, не мы...

Жена его сидит возле избы на мехах, вся в меха же разодетая. В руках держит окровавленный кусок кожи с волосами, выбирает оттуда кровавыми пальцами вшей и с наслаждением ест. Даже не сразу заметила мужа и не успела подняться ему навстречу.

Топор, опущенный могучей рукой, кровь, ужас...

Бросил топор, ушел в парму, долго сидел над рекой. Лесные люди никогда не подходили к нему во время таких размышлений.

Ты проиграл, Кудим? Йибы-ойка придет с отрядом и отомстит за дочь. Племя разбежится по лесам и вернется к прежней дикой жизни. Они забудут сына медведя, забудут слова сына медведя. Но слова бога они забыть не должны. Призвал лесных людей, велел вырыть землянку в лесу, на крышу навалить землю, внутри поставить подпорку. Собрал сын медведя своих подданных.

— Я вместе с супругой ухожу к своему отцу-медведю. Стар стал отец, призывает меня, чтобы передать нам знак силы над всеми лесными людьми. Так и скажите Йибы-ойка, когда он придет. Там, в стране медведя, река Уньва течет медленно, пока она шевельнет одной волной, здесь речка не одинова покроется льдом. И я вернусь не скоро. Но когда я вернусь, наша речка потечет обратно, и все вы станете ходить спиной, и все проделаете, что вы делали без меня. Если я увижу, что кто-то ведет войну, приносит жертвы и снимает кожу с головы, я превращу его в червя

земляного и медленно раздавлю ногой. Делайте все, как я научил. Пашите землю, стройте дома, делайте железо и варите соль. Долбите лодки и возите товары. Будьте расчетливы, всегда делайте зарубки на палочках. Я, сын медведя, ухожу и вернусь вашим богом.

Спустился в землянку. Могучей рукой вышиб подпорку и стал богом лесных людей. Теперь он — Кудэ-водэж. Может быть, его племя погибло от рук воинов Йибы-Ойка, может, вымерло в неурожайный год. Но очень даже может быть, в какое-то лето прибрело в Пермь Великую семейство новгородское, поселилось возле и было доброжелательно принято. И другие подходить стали, селиться. Без вражды стали жить возле чудской ямы на горе, поддержкой стали друг другу. А пельменями, которые научил их делать Кудим, накормили всю Россию. Это, очень даже может, так и было.

...Топор Кудима станет священным. На ночь его веками будут втыкать в порог, веря, что это самая надежная защита, как от недоброго человека, так и от всякой лесной и болотной нечисти. Благодарная память о Кудиме жива доселе. Селение Кудима стало городом Кудымкаром. И, мне кажется, что жители его ждут возвращения Кудима до сих пор...

Редчайшая редкость в истории, чтобы не кровавый придурок-диктатор, не одержимый идеей власти покоритель чужих земель и племен остался в человеческой памяти. В памяти этого народа остался носитель добра... Ты был, Кудим, я точно это знаю. Твой народ верит, что ты — будешь...

...Однако ни про какие тайные копи никто из лесных людей легенд не складывал. Если богатства и упоминались, то все в каких-то избушках, оберегаемых вогулами пуше зеницы ока.

Разговаривал Эльдэнэ с вогульским шаманом. Семья обедневшая, обессиленная. На городище только две землянки. Даже прислужников нет, более сильные соседи отняли у них все. Зима-другая, и не останется от этого племени никакого следа на земле. Долго сидели. Шаман зол и на русов, и на на московитов, и на вогулов, предавшихся крещению. Его в деревне чуть лошадью не задавили. Лошадь вскачь, сидят на ней два парня молодых, хохочут. Ни страха нет никакого, и внимания на грозного шамана тоже никакого нет. Крещеный вогул не боится шамана, хочет говорить словами и не хочет читать на лице шамана знаков власти. Конечно, крещеный вогул живет богато, но жилище его — из срубленных деревьев, обрезанных и ободранных. Только Ялпус-ойка смеет ломать деревья, но даже в гневе он не снимает кожу с лесных богинь. В доме из дерева у крещеного вогула еще дом — из глины. И в том глиняном доме горит и никогда не гаснет огонь. И всегда в деревянном доме тепло, как летом. И одежда невиданная появилась, из земляных волос свитая, белая, тонкая. Детей нарожали много. Не спросясь Ялпус-ойка родят. И зверя бьют, никого не спросясь. Страх берет шамана, что земля людьми переполнится. Не хватит ни зверя, ни птицы. Землю распашут, а куда лесным людям деваться?! Как тогда жить? Шаман растерян и зол.

Давно, еще в беспмятном детстве, его, тогда самого бойкого и здорового мальчика, увели в жилище Ялпус-ойка. Кто-то очень старый посадил его лицом к страшному могучему идолу и бросил на тлеющие в горшке уголья сухой травы. Мальчик очнулся

от боли. Болела нога, страшной болью стягивало живот и лицо. Он долго лежал перед ликом Ялпус-ойка, который то виден был, то уплывал во мрак. Идолу оказался угоден его новый служитель, и мальчик выжил. Он останется хромым, чтобы не мог охотиться. У него не будет детей: он станет отцом всему племени. И на лице его, когда оно заживет, навсегда проступит знак власти. Он и племя станут неразрывным целым: он погибнет без охотников племени, но племя без шамана тоже разбредется и погибнет. Так жили его предки, так жил он. Как жить теперь, он не знает.

— Твой бог знает твой завтрашний день. Бог москвитов знает завтрашний день москвитов. Пусть боги во всем и разберутся. Зачем вмешиваться в их дела?! — утихомиривает его Эльдэнэ.

Заверяет Эльдэнэ: тот, кто меня послал, позволит тебе и твоему племени жить по вашим обычаям. Только пусть вогулы не дают воинов русам.

Тяжело разговаривать с шаманом. Шурит глаза Эльдэнэ, глядит больше в землю. Сильный шаман, прибьет взглядом, чего доброго, вон озлился как. Заверяет шамана Эльдэнэ: должен я обязательно вернуться к тому, кто меня посылал сюда, и все рассказать. Тогда будет охрана для твоих чумов. Тогда будет спокойствие. А иначе — как узнает тот, кто меня послал, что меня услышали в чумах? Шаман отводит тяжелый взгляд. Не хочет он говорить о русах. А и верно: зачем с москвитом говорить о русах?

— Почему вы русам богатство свое даете? Серебро? — все же спрашивает Эльдэнэ.

— Какие русы? Раньше русы священные деревья рубили и уплывали с ними по реке. Они разрушали святилища и заби-



Серебряное блюдо с традиционным рисунком (охота на тура).

рали священные блюда. Теперь кэмэш серебро берет, кэмэш, огненная сила ветряных духов.

И шаман ушел в лесные сказания. Медленно и напевно повествовал он о великих богах лесных людей, творящих небо и землю, тех, что лепят людей из глины и дают им дыхание. О духах реки и леса, о предке своем, которого родила лесная дева, дочь кабанихи и человека. О богатыре, своими руками

сгрудившем землю так, что образовался вон тот холм. Пел о покровительнице рода, щуке с рогами, живущей в ближнем омуте возле угора. Пел про кэмэш, огненную силу духов воздуха. Духи воздуха воюют с духами воды. Кэмэш, огненная сила духов ветра, возжигает воду, и вода горит огнем ярким. Страшную силу имеет кэмэш. Огненную силу дает мне кэмэш. О, сила кэмэш, огненная сила духов воздуха!

Шаман пел долго. Это ж не просто лесной человек, у которого от силы две собственных песни и короткая память. Песен у шамана много, он много знает, шаман. Эльдэнэ слушал с величайшим вниманием и про богатыря, и про рогатую щуку, и про горящую воду. Что же еще должен делать человек, желающий понять? Значит, серебро — это какие-то священные блюда? Никаких рудников нет? И это священное серебро русам отдают духи ветра?

Эта встреча была в прошлый приход. В это лето намеревался Эльдэнэ близ шамана прижиться, приподнять захудавшее племя, прикупить воинов, отбить маленько серебра, занять небольшое местечко у воды. И изготовиться это серебро продать русам. И поглядеть, что это за ветряной дух кэмэш берет серебро. Вот такие были планы. Эльдэнэ создал несколько схоронок с саблями и пиками, наконечниками стрел, железными панцирями и прочим товаром. А каково все это тащить по лесам и болотам?!

...И вот, наконец, крутой обрывистый берег таежной реки. ...За рекой в заливной пойме яркой зеленью раскинулся луг. На кромке обрыва чернеет исхлестанное дождями и ветром мертвое дерево с подмытыми корнями. Чуть дальше протока глубоко раскромсала податливую землю. Ее русло извивается и постепенно теряется среди обширного лесного болота. Уже

близок конец короткого здесь лета. Болото усыпано ягодами, начавшими краснеть. У начала протоки расположено селение Варым-пауль, то есть «деревня — один дом», одно семейство, иначе говоря. Такие деревни, раскиданные по тайге, бескрайней парме, составляли способ жизни всех лесных людей.

На городище жуткая картина только что случившегося побоища. Возле своей хижины лежит залитый кровью человек с огненно-красной головой — шаман. С головы шамана снята кожа вместе с волосами, его кольнули копьем и оставили умирать. Вся небольшая площадка городища усыпана кусками человеческих тел. Так всегда поступали лесные люди, они разрубали мертвых и полуживых, разбрасывая куски. И гордились потом, и рассказывали, что богатырь смог усыпать телами мужчин и женщин такую поляну, что и глазом не окинуть.

Приди он, Эльдэнэ, хоть на день раньше, тоже тут остался бы. Возле своей хижины лежит залитый кровью шаман. Куски человеческих тел, вонь, тучи гнуса.

Приглядевшись, Эльдэнэ приметил, что убито не все племя. Человека три растерзано. Да, пожалуй, не больше. Ну, в лесу так: всегда будь настороже. Видимо, напали на рассвете, на спящих. Так ты не спи! Караул поставь. Виноватых искать нечего: сами и виноваты. Вопрос в другом: зачем нападали? Серебро давно отобрали, земли незавидные. Собственно, вопроса тоже нет. Большая часть племени схвачена и будет принесена в жертву. Видимо, готовится какое-то важное погребение.

Эльдэнэ стащил с шамана заскорузлую от крови одежду, надел, измазал окровавленными руками свое лицо. Его путь — вслед за пленными. К вогулам. Больше делать нечего. Идти

по кровавому следу пришлось недалеко. На вершине холма толпились люди, дымился костер. Холм этот — старинное и почетное погребальное место. У вогулов явно шли какие-то приготовления. Солнце клонилось к вершинам деревьев. Дело шло к осени, и темнело быстро. Эльдэнэ рассчитывал, что вогулы будут заняты погребением, и он сможет подойти поближе. Скорее всего, охранение будет поставлено только на вершине холма. Кроме того, вогулы знали всех, кто живет в округе. Пока им нечего было опасаться.

Эльдэнэ забрался на толстую сучковатую сосну, с которой видно было и вершину холма, и всех действующих лиц. Посреди поляны уже вырыта широкая плоская погребальная яма, в ней установлен небольшой сруб. На одном конце поляны стоял походный чум, на другом толпились вогульские воины числом до двух-трех десятков. Возле одинокой тонкой сосны сидели кучкой пленные. Сразу было видно, что они пленные. Хотя не связаны, но оружия нет, да и осанка самая жалкая. На них никто не обращал особого внимания, не стерег. Более того, Эльдэнэ увидел, что из леса один за другим выходят их соплеменники и присаживаются к пленным. А куда им деваться? В лесу один человек — никто. Если семья разорена, шаман убит, ковер священный порван, никуда не деться лесным людям. Только и остается — идти в плен, в рабы.

Солнце село, и костер на поляне вспыхнул ярче. Из чума вышел вогул, одетый в металлическую кольчугу. На голове красовался трехрогий шлем. Блики костра играли на металлических пластинках, на рогах, венчающих шлем. Вздох всеобщего восхищения пронесся по поляне — так прекрасен был бо-

гатырь в глазах соплеменников. Богатырь повернулся к шедшему сзади шаману. Видна стала длинная коса — главное украшение настоящего лесного мужчины. Легче богатырю с головой расстаться, чем с косой. Косатый взял из рук шамана плетеное корытце и спустился в яму. Корытце он поставил в сруб и вышел наверх. Стало ясно, что хоронят ребенка, сына этого богатыря. Может, ребенок сам умер, может, родился хилым и его придушил шаман. Никто из родни не плакал, не рыдал. А какое огорчение может быть? Ребенок ушел к предкам, его следовало хорошо проводить. В спутники умершему и предназначались пленники. И те не выказывали страха. Может, они даже думали, что им повезло. Конечно, попали в такое богатое погребение, вот-вот уйдут в замечательную страну предков, где сытая и спокойная жизнь, которая не кончается никогда.

Косатый жестом приказал двум пленникам встать на колени и резкими ударами боевого топорика прикончил обоих. Воины стащили тела в яму и уложили с двух сторон сруба, вложив в руку каждого боевой лук. Это охрана.

Богатырь вновь жестом приказывает подвести пленных. Тела под сосной смешались в один клубок. Попасть к предкам в таком роскошном погребении хотел каждый. Воины отобрали пятерых и подвели к богатырю. Становят на колени. К ним от сосны, растолкав соплеменников, выскочил еще один пленный. Он очень хочет прямо сейчас попасть к предкам. Ему уже немало лет. Он опасается, что его просто вышвырнут обратно в лес, и ни на какое погребение он не попадет, а будет душа его вечно скитаться по лесным чащам. Воины пинками отгоняют его обратно.

Эльдэнэ понял, что его жизнь тут особо никому не нужна. Попасть в такую замечательную яму и без него полно желающих. С другой стороны, на сосне его могли заметить и, как все непонятное, без долгих раздумий пронзить стрелой насквозь. Поэтому он сполз с сосны и пристроился в задних рядах пленных.

Тени, блики метались по мертвым и живым. Пятерых или шестерых ждала такая же мгновенная смерть, но затем тела их расчленили и останками изладили в яме что-то вроде забора. Оставшиеся в живых с сожалением поняли, что для них места в яме больше нет. Придется служить покуда в рабстве. Если племя не потеряет могущества, может быть, достанется место в следующем погребении, столь же богатом. И тогда на веки вечные — безбедное существование в сытой стране предков.

Эльдэнэ, полузакрыв глаза, сидит в задних рядах пленников, прислонясь к сосне. Всех, кого было нужно, уже взяли, можно немного передохнуть. Но косатый богатырь решил подарить счастье еще одному пленному, он был щедрым человеком. Он не нисходил до того, чтобы разговаривать словами. Жестом он указал на пленных. Воинам, ловившим глазами каждый его жест, показалось, что перст богатыря указывает на Эльдэнэ. И они, раскидывая прочих желавших, метнулись к нему. В положении Эльдэнэ сопротивляться, убежать было совершенно невозможно: сзади — сосна, со всех сторон тела пленных. Но к ногам воинов, завывая, визжа и облизывая грязь с меховых сапог, кинулся тот, кого мгновением раньше оттерли. Тела вновь смешались в один клубок. Воины схватили кого-то, уже не разбирая. И это был не наш герой.

Косатый вновь обернулся лицом к костру, помедлил. Тишина легла на поляну. Вдруг он резко взметнул вверх обе руки:

«Х-хэ-эй!» В руке богатыря болтался кусок заскорузлой кожи с волосами. «Х-хэ-эй» — дружным воплем ответила ему поляна, и эхо речное далеко разнесло крик. Еще бы! Богатырь добыл душу шамана, именно она безошибочно доведет погребенных до страны предков. Великий богатырь, из великих великий! Косатый подошел к яме и разжал пальцы. Кусок волосатой кожи упал к изголовью. Все.

Вогуглы заложили яму жердями, старательно насыпали земляной холм. Погребение готово. Все сделано правильно. Предки примут всех посланных и дадут им хорошую новую жизнь в богатой своей стране. Народ разбрелался по землянкам, на новых рабов никто не глядел. А чего на них глядеть-то? Пусть сами устраиваются. Одну ночь переночевали прямо на поляне возле погребения. Потом нашли опустевшую землянку (хозяин построил новое жилище) и кое-как натолкались туда. Работой их не слишком-то нагружали: все то же углубление землянок, заготовка валежника для костров и очагов. Почистили и укрепили палками подземный лаз от землянки шамана к речному берегу. Узкий и извилистый лаз выходил к самой воде, этот выход с реки укрывала падавшая с подмытых корней ольха.

ДУХ ВЕТРА

Семейство, в которое угодил Эльдэнэ, тоже было не из самых богатых. Можно даже сказать, неважно шли дела. Близилась осень, косатый Асыка предпринимал попытки расширить угодыя к зимней охоте, отбив земли у других таких же семейств. В лесу



непрерывно шла более или менее активная война за то, кто будет этой зимой владеть местами обитания дорогого зверя. Отряды лесных воинов человек по десять-двадцать сновали по лесу, пытаясь выследить друг друга и напасть. Здесь не вели длительных кровопролитных сражений. Если удалось подойти незамеченным к противнику на расстояние убойного полета стрелы — считай, что победил. Здесь стрелы мимо не летают. Но если незаметно подойти не удалось или встречено яростное сопротивление — нападавшие растворяются в лесной чаще.

Мечтой Асыки было выбить соседнюю семью за старицу и полностью владеть правым берегом: владения, в которых много высокого речного берега, очень ценились в этих краях. Ранним утром в начале осени он с дюжиной воинов переправился по сваленной елке через ручей и попытался подойти к сторожевому чуму соседей. Перед ними на траву легли стрелы противника, означавшие, что их видят. Несолоно хлебавши, вояки поздним вечером воротились домой.

На другой день весь маленький лесной народец с самого утра пришел в оживление. Рабам было велено таскать валежник для костра и очищать поляну. На одной стороне поляны поставили походный чум косатого богатыря, на другой полукругом настлали старые вытертые шкуры. Тут будут сидеть. Вечером темное небо над поляной разрезал огонь костра. Один из воинов косатого вел рассказ о вчерашнем походе. Сам косатый, полужакрыв глаза, величественно сидел рядом, время от времени прерывая основного сказителя. Было заметно, что сказитель лишь повторяет слышанное и заученное, тогда как добавления косатого всегда были чем-то новым.

Эльдэнэ услышал, что вовсе не по сваленной елке через ручей переправились отважные воины, а пересекли семь бурных рек. И были там речные коварные девки и лесные девки. И шли воины семь дней и семь ночей, и победили неисчислимо сколько разнообразных богатырей, и те скрылись, посрамленные.

Асыка, прервав сказителя, добавил, что он попросил свою прародительницу, великую Лосиху, дать ему детей ее в помощь. И великая Лосиха детей дала. И пошли вперед боевые лоси, навводя страх. Вот так! — косатый вскочил, его собратья воочию увидели гордую и ужасную поступь боевых лосей, услышали их трубный рев. Многие тоже повскакали с земли, глаза их горели, и крик «Х-хэй-й!!!» разносился далеко окрест. Но, — продолжил сказитель, — пока богатыри шли, духи предков все как один говорили им: ой, не ходите, не ходите, плохо будет! Но воины не хотели отступать, все шли и шли. И лишь рогатая щука остановила их, говоря, что этот поход не принесет добра племени. И тогда богатырь повернул войско назад, потому что он не только великий, но и мудрый богатырь. И его воины совершили множество великих подвигов и еще много совершат!

—Х-хэй — х-хэй-й — х-хэй-й!

Не в силах сдерживать волнение, воины вскочили с земли. Их танец был полон дикой силы и радости жизни. Полуприсев и широко раздвинув колени, они перескакивали с ноги на ногу под дружные единые возгласы: х-хэй — х-хэй-й — х-хэй-й!!! Движения становились все быстрее, и глаза танцующих выкатывались. Наконец самый оглушительный крик «Х-хэй-й!!!» потряс окрестности в последний раз, и все разом повалились на землю.

Догорал костер, лесные люди разбрелись по своим землянкам, довольные и походом, и рассказом о нем.

Через несколько дней Асыка наткнулся в лесу на отряд московитов числом до полусотни. Большую часть перебили, человек до десяти притащили в лагерь. Участь этих людей, посланных неизвестно зачем в глухие леса, была поистине ужасна. Они никому не были нужны как рабы, поскольку ничего не умели, а даром здесь никого не кормят. Поэтому двоих употребили на неотложные нужды — принесли в жертву духам предков. Эльдэнэ не был жалостлив, но дикий визг людей, с головы которых сдирали волосистую кожу... Остальных быстренько распродали незадорого соседним семействам, где их ждал тот же конец. Московский князь один за другим слал отряды с приказом взять дань. Отряды уходили в лес, как под воду. Какая дань? Надежды уцелеть — и то не было. Об этой победе в лесах никто не рассказывал никаких преданий и не устраивал праздников. Это ж был не противник. Шли какие-то, на весь лес шумели и воняли страхом. Их взять — все равно, что горсть ягод мимоходом в рот кинуть. И забыть.

Потому что готовилось великое состязание богатырей за невесту. У косатого была одна жена, но он был таким могучим и великим богатырем, что пора было добывать другую. Шаставший по лесам тутошний торговец невестами известил окрестных великих богатырей, что невеста есть. Прекрасная медноволосая красавица. Глядеть на невесту никто из богатырей не пошел, а в женихи вызвалось сразу несколько. Однако торговец запросил так много соболя, что в желающих остались только косатый и тот богатырь, чье семейство держало сторожевой чум возле берега

старицы. Состязание произошло на высоком речном берегу возле дозорного костра. Зрителей набежало множество, важное дело-то, что и говорить! На поляне расположились помирившиеся по такому случаю лесные люди. (К слову сказать, они друг с другом и не враждовали, просто охота есть охота.) Поставили не-большой нарядный чум с предметом спора, красавицей-невестой. Чум был до поры закрыт пологом.

— Я, великий богатырь, я победил многих богатырей!! — так начал поединок противник косатого.

— А—ах-х!! — это зрители.

— А я ходил походами за семь бурных рек, я попадал в ко-мара, сидящего на вершине высокой сосны!! — отбил удар косатый.

— А — ах-х!! — с каждым разом все громче.

— А я говорю с духами предков! — это удар с той стороны.

— А — ах-х!!

— А я — с рогатой шукой, и так я велик, что стада боевых лосей служат мне!! — Неотразимый удар косатого.

— А — ах-х!!

Косатый был сильнее, это все видели ясно. Раз уж у него есть боевые лоси! И дружный рев «х-хэй-й!» возвестил, что победа осталась за ним.

Зрители вскочили, чтобы увидеть завоеванную невесту. Полог сняли, стало ясно, что битва велась не зря. Прекрасная медноволосая дева сидела в чуме на шкурах рыси. Опять танцы радости и счастья до полного изнеможения.

Эльдэнэ очень удивился, когда сняли полог с чума невесты. Рыжая веснушчатая девчушка, очень похоже, происходила из тан-цующих!

Когда витязь ушел в следующий поход, Эльдэнэ улучил момент и спросил рыжую на языке танцующих, откуда она. Та очень удивилась не тому, что услышала родной язык, а тому, что к ней как ни в чем не бывало обратился раб! Но все же столь высокое положение над людьми она занимала еще не так давно, и это не успело ее совсем испортить. Энэ — рыжая и веснушчатая. Вогулы, темноглазые и темноволосые, от нее без ума. Стоит ей появиться возле землянки — множество лесных людей собирается и лицезреет красавицу, разинув рот. Ей это очень нравится. Кроме того, Эльдэнэ был любезен и льстив...

Энэ только и ждала расспросов и с удовольствием все поведала, и спела, и станцевала. Что дома ее звали Италмаз, то есть цветок. Что слухи о ее замечательной красоте достигли всех краев земли. И семь рыцарей леса, самых храбрых и замечательных, бились за нее, золотоволосую красавицу. (У лесных людей так считают: один — пара — семь — несчетно.) И победил самый могучий — ее теперешний муж. И увез. Прямо в наш осенний праздник и увез.

— А что это за осенний праздник?

Вопрос у Эльдэнэ случился просто так. Лесному люду нечего праздновать осенью. Готовят припасы да очищают землянки, к зиме готовясь. Основное дело — охота и торговля — в лесу именно зимой. Осенью празднуют люди поля, собравшие урожай. Им есть чему радоваться. А танцующим-то чего праздновать? Ответ же показался ему примечательным:

— Мы встречаем дух ветра.

Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее!

О, сколько хотите подробностей!

— Дух ветра рождается осенью в священном доме из бревен, в котором еще один дом из глины. Туда заходят только один раз в году, в день священного праздника. Слуги духа ветра приносят священные сосуды, и многие женщины зажигают огонь в домах из глины. И не спит та женщина три ночи и три дня, ожидая рождения духа ветра. Он может родиться, а может и не родиться. Если он родится, то, враждуя с духом белой воды, зажигает ее. И тогда все радуются. Дух воздуха всего один день гостит у танцующих, а потом слуги его уносят. Пока он в гостях — все поют и пляшут, а когда он уходит — лежат и плачут от горя.

Что-то тут есть, чувствует Эльдэнэ. Не все выдумки. Какая-то изба с печью, горшки. Откуда избы у танцующих? Сроду не было.

— А где твоя земля, где земля родителей твоих, прекрасная жена могучего богатыря?

И это — пожалуйста! Везли ее, прекрасную и желанную золотоволосую Энэ, через семь бурных рек и семь высоких гор. И не было видно берегов у тех рек, и рогатая щука показывала, куда плыть. Вершины гор исчезали в далекой вышине. И семижды семь раз вставало солнце и вновь садилось — вот как долго вез ее богатырь.

— На чем же вез он тебя, прекрасная Энэ?

Н-ну-у, на чем вез... На чем? Да на могучих лосях, данных предками его, лосями, желавшими, чтобы их потомок женился на такой красивой Энэ. Как ветер, мчались те лоси через леса и горы. Вот так на лосях и вез меня богатырь.

И далее — все семь верст до небес, и все лесом, и без единой остановки. Про битвы богатыря с другими могучими богатырями, девок водяных и земных и духов всех предков.

И ничего из этой мутной водички Эльдэнэ больше не выгудил. В дальнейшем повествования Энэ и вовсе потеряли малейшую связь с реальностью, а сама она перестала смотреть вниз, где был он, ничтожный раб.

За красавицу жену Асыка должен будет отдать много соболя, а его надо добыть будущей зимой. Угодья надо расширять. Поэтому, собрав воинов, на рассвете следующего дня он опять пошел за семь бурных рек, то есть перелез через ручей по сваленной елке. Очень может быть, что воодушевление от победы коса-того над соперником добавило отваги и наглости его воинам. А воины проигравшего утратили какую-то малую часть боевого духа. В соперничестве равных такие вещи играют очень важную роль.

Во всяком случае, вечером войско вернулось с богатой добычей. Чум противника был разгромлен. Двоих-троих его защитников растерзали на куски и разбросали на месте. Остальных привели в селение. Радость от долгожданной победы была столь велика, что празднество устроили в тот же вечер возле святилища Ялпус-ойка.

Пламя костра выхватывало из темноты фигуру громадного идола, грубо вырубленную из ствола поваленной и переломленной ветром сосны. Повествование о походе по очереди вели сказитель и косатый. И опять трубили боевые лоси и вещала рогатая шука. Но на сей раз и духи предков, и шука предрекали победу. И победа была! Клич «Х-хэй — х-хэй-й!» огласил и лес, и реку, и заречные темные дали. И пришли воины с богатой добычей, и благодарят Ялпус-ойка за поддержку и помощь.

Два воина вывели давешнего проигравшего богатыря. Вот, оказывается, какая важная добыча! Проигравший вел себя, как

ни странно, самым жалким образом. Он извивался в руках воинов и умолял пощадить его. Зрители затаили дыхание. Проигравший богатырь был поставлен спиной к костру.

Далее действие вел вышедший из чума шаман. Из большой серебряной чаши в маленькую он отлил немного воды, белеватой на вид, жестом приказал подать ему из костра горящую головню. Вытянув руку с чашей, он поднес к ней головню — и вода вспыхнула! Прямо-таки стон восхищенного изумления пронесся над поляной:

— Х-ха-а-ах!!!

Шаман выпил остаток из большой чаши. Казалось, он принял в себя некоего демона, налившего силой его руки и ноги, а взгляду давшего блеск и власть. Он кружил у костра, и всякому лесному человеку было ясно, что шаман ведет разговор с самим Ялпус-ойка, и тот понимает его. Наконец, получив от Ялпус-ойка ответ на какой-то, видимо, самый важный вопрос, он протянул руку к воину, стоявшему возле чума. И в эту руку была вложена сверкающая сабля. Шаман показал саблю Ялпус-ойка, и тот, видимо, тоже одобрил такую замечательную сверкающую саблю. Эльдэнэ знал, что лесные люди толком не умеют обращаться с саблей в бою. Сражение с противником в ближнем бою им вообще чуждо. Но здесь противник бессилен, видимо, шаман этой саблей и намерен его прикончить.

Но что удивляло, так это жалкий вид приговоренного. На взгляд лесного человека, думавшего, что сразу после правильно устроенной смерти он попадет к предкам, в такой кончине пред ликом самого Ялпус-ойка не было ничего такого уж страшного. И они обычно относились к смерти с полнейшим

хладнокровием. А этот был переполнен ужасом, визжал и висел на своих охранниках, как жалкая тряпка. Шаман подошел к жертве, и сабля взвилась. Эльдэнэ прикрыл глаза.

Вопль восторга и ужаса взлетел над поляной, и веки Эльдэнэ раскрылись сами собой. В одной руке шамана была сабля, а в другой — отрубленная... коса проигравшего богатыря. Сам же он распростерся перед Ялпус-ойка без признаков сознания. То, что произошло с ним, было хуже смерти. У него отняли его косу, его дух. Теперь он был даже не раб, а просто не человек. Просто грязь, как червь земляной. И шаман подтвердил это, помочившись на него.

Лесные люди расходились от идола притихшие. Конечно, поход был удачный, принесена замечательная жертва Ялпус-ойке, расширены уголья, что очень важно перед наступающей зимней охотой. Но все же в человеческих душах жестокость всегда вызывает некое сочувствие к жертве. Может быть, и поверженный богатырь вызвал сочувствие, думал Эльдэнэ. А, может быть, воины просто устали, так как целый день воевали и праздновали победу, а уже глубокая ночь.

Воодушевленные победой воины продолжали походы, но большой удачи так и не выпадало, и духи предков, как сговорившись, советовали повернуть обратно. Уже кончалась осень, начинались первые крепкие заморозки, падал снег. Из одного такого похода принесли пронзенного стрелой воина. Кем-то он, видимо, приходился косатому, не то родным братом, не то сводным, не то двоюродным. Косатый считался для нескольких воинов старшим братом, а кем был на самом деле, Эльдэнэ еще не понял. Однако понял, что погребение такого родовитого воина

не обойдется без сопровождающих его покойников. Для этого, собственно, рабов и держали. Дабы не угодить в погребальную яму, Эльдэнэ придется бежать, а это означало, что все его дело пойдет насмарку.

СВЯЩЕННОЕ БЛЮДО

Трудно сказать, чем бы дело кончилось, но тут неожиданно занемог шаман. Он почти все время лежал в своей землянке, стоял, без конца пил воду, заедая ее клюквой. Темное лицо его опухло и потемнело еще больше, руки тряслись. Эльдэнэ пристроился ухаживать за шаманом, и почетное место в погребальной яме досталось не ему, а другому счастливцу. Шаман ослабел настолько, что сам не мог и штанов спустить. Эльдэнэ приходилось, как с малого дитяти, снимать меховые штаны, сажать на поваленный и ошкуренный ствол, свешивая голый зад, и держать за руки-ноги.

Каждое утро шаман подползал к пологу, закрывавшему вход. Выглядывал наружу и с надеждой глядел на небо. Зима в том году пришла рано. Ударили крепкие морозы, река стала. Один из воинов по приказу шамана зажег костер на сигнальной горе, и тот костер горел днем и ночью. Сторожевые менялись, а таскать валежник шаман посылал Эльдэнэ. Беспокойство шамана росло с каждым днем. Иногда он велел вытаскивать себя на сигнальную гору и долго взглядывался в снежные дали верховьев реки. Он явно кого-то ждал. И те, кого он ждал, наконец, показались.

Сани летели по гладкой заледеневшей реке. Одни... другие... еще пара... Костер был замечен. Шаман кубарем скатился

с сигнальной горы, а в землянку был доставлен волоком тем же Эльдэнэ. Там шаман повелел ему убираться и упал ничком на меховой ковер. Эльдэнэ скользнул за меховой полог и нырнул в зеву подземного хода.

В землянку, согнувшись, стремительно зашел, как нырнул, высоченный мужик в тулупе. Хоть он и снял шапку, землянка была ему по росту мала, он вообще заполнил ее всю своим громадным телом. И сомневаться было нечего: новгородец. Шаман, как ни странно, привскочил и весь ожил. Пришедший распахнул тулуп. И в полумраке землянки Эльдэнэ разглядел, что он весь был увешан плоскими кожаными кошельями. Шаман протянул трясущиеся руки к этим кошелям, но мужик руки отвел, развернул кожаный же мешок чуть не с его, шамана, рост.

Мгновенно развернувшись, шаман нырнул за полог и начал одно за другим подавать новгородцу серебряные блюда. Тот каждое взвешивал на руке и кидал в мешок, а шаману отдавал небольшую круглую палочку. Когда мешок был набит и тщательно завязан, пришедший отцепил несколько кошельей по счету палочек, отдал шаману. И вышел.

Шаман ухватил кошельи, утащил их за полог и возился там, видимо, тщательно запрятывая. Выполз на коленях, развязал кошель и начал... жадно пить из него. Сделал несколько глотков, перевел дыхание, глотнул еще. Завязал кошель самым старательным образом и спрятал за полог. Эльдэнэ моргать забыл, глядя на невиданный торг. Так вот как уходит серебро в Новгород! Вот за это, за то, что шаман сейчас так жадно пьет! Похоже, это и есть горячая вода. И она столь

мила шаману, что он жить без нее не может. Отдает серебро. За пяток кошельей — мешок серебра! Вот это товарец! И доставляют этот товарец именно новгородцы.

Горячая вода произвела на шамана самое живительное действие. Он выпрямился, лицо его разгладилось, он покружился в тесном своем жилище, что-то радостно бормоча.

В землянку заглянул еще один из приезжих, ростом пониже. Если первый не обменялся с шаманом ни единым словом (тут понимали без слов), этот сколько-то знал вогульскую речь, и разговор шел уже совсем о другом. Асыку звали выехать к старым солонцам. Где это и зачем туда ехать Асыке? Ответа Эльдэнэ не слышал, но тон беседы был самый мирный, да и велась она, видно, не первый раз, тут было только подтверждение. Мол, о чем раньше договаривались, вот оно будет там, возле солонцов.

По уходе переговорщика шаман свалился на меха и заснул. Эльдэнэ выполз из-за завеси. Что-то беспокоило его, но он и сам не мог понять, что. Да, вот что, точно! Запах! Резкий, совершенно не знакомый ему запах, перебивающий звериную вонь шкур в жилище шамана. Он выглянул из землянки. Поблизости никого не было. Он подполз к спящему шаману и принюхался. Вонь, несомненно, исходила от шамана. Значит, это запах неведомой горячей воды. Что за зелье такое изобрели новгородцы?!

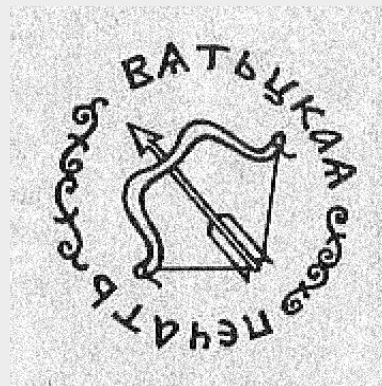
Внезапно запнувшись, Эльдэнэ нагнулся. В полумраке землянки тускло мелькнуло большое узорчатое серебряное блюдо. Видимо, шаман выронил его, когда укладывал серебро в мешки новгородца. Эльдэнэ поднял блюдо. Неведомый

мастер с замечательной живостью изобразил на нем сцену охоты. Яростный лев бросается на всадника, тот в мигучем развороте стреляет прямо в морду зверя из мощного, двумя дугами выгнутого лука. Как замороженный, любовался Эльдэнэ на зверя невиданного и на диковинного всадника. Неведомый человек каких-то дальних земель. Но что-то кажется ему, Эльдэнэ, хорошо знакомым... А что тут можно увидеть знакомого? Так ничего и не поняв, Эльдэнэ спрятал блюдо в своей роге. А шаман пропажи и не хватился.

Всю зиму Эльдэнэ торчал возле шамана. Тот бдительно охранял свое сокровище и пил только в одиночестве. Велел Эльдэнэ притаскивать воды в горшке, разводил принесенный гостем напиток, каждая капля которого почиталась им за драгоценность.

Между тем в лесном поселении кипела бурная зимняя жизнь. Настала пора охоты, и почти все воины с утра уходили на промысел. Стало ясно, почему косатый так стремился занять место у реки. Лесной народец стал подтягиваться к реке, устанавливать походные чумы и вывешивать на вкопанных еще летом шестах шкуру за хвост. Совершенно очевидно, что это был заметный издали сигнал торговцам, которые явиться не замедлили.

Бессчетных в лесу не было, и за проход к реке, и за место чума следовало отдать владельцам земли неплохую, видимо, плату. Поэтому все знаемые тропки были под приглядом, весь лесной народец мужеска полу, включая малых детей, был занят по горло. Что уж тут кому доставалось, Эльдэнэ было сложно судить, но косатый, судя по всему, не оставался внакладе.



Вятская печать

В землянку шамана он не заходил, зимой было не до праздников. Свою любимую супругу он, по-видимому, обвесил бусами и ожерельями из монет, потому что все женщины селенья постоянно туда бегали глядеть.

А для Эльдэнэ зима прошла довольно скучно. Он прочно занял место возле шамана и наблюдал за ним. А тот по большей части спал. С утра, еле раскрыв опухшие глаза, жадно пил воду и ел клюкву. Потом доставал драгоценный кошель, разводил напиток водой, потом уже не разводил, потом в беспмятстве сваливался на шкуры.

Весной, как снег сошел, шаман перестал есть и спать. Ночью он то и дело страшно кричал, колотил в большое серебряное блюдо. Иногда выскакивал из землянки и бегал вокруг селенья, все так же колотя в блюдо и страшно крича. Соплеменники ничуть этому не удивлялись: на то и шаман, он видит грозных

и злых лесных мовси, которые вечно вредят людям. Шаман спасает племя, это хороший шаман.

Эльдэнэ понимал, что ему пора уходить. Он увидел то, что ему было нужно. Хотя пока не понял, что же он увидел. Шаман пил нечто, похожее на вино, мутно-белое такое вино. Но это вино пьянит гораздо сильнее, чем все то, что пьянит. И у шамана трясутся руки, и порой он просто как горячечный, то есть сумасшедший. Вот такое оно сильное и злобное, это белое вино. И тот, кто стал его рабом, отдаст ради него все.

На землях московских, владимирских, тверских и новгородских к тому времени уже давно ставили хмельные браги. Случались и большие попойки. И войску княжескому с военачальником во главе случилось в речке утонуть, было дело. Ту речку Пьяной назвали. Но для того, чтобы так упиться, нужно было примерно ведро выпить! В животе и места столь нету. Трудно было напиться-то тогда! А шаман сваливался от одного-двух глотков! Нешто из-за морей наловчились новгородцы сие вино белое возить? А почему тогда Энэ рассказывает, что дух ветра, зажигающий воду, рождается в доме из бревен? Ро-жда-ет-ся он там! Где? Где??

Мучительно размышлял Эльдэнэ и не находил ответа. Иногда он доставал из тайника серебряное блюдо, задумчиво скользил глазом по линиям львиной спины, торса могучего всадника, по причудливому изгибу лука... Лук... Лук почему-то ему кажется смутно знакомым. Где-то он видел его, лук такой. Нет, у татар лук не такой, у новгородцев тоже не такой...

А вот тут такой! Вот где он видел такой лук, двумя-то дугами изогнутый?

Вспомнил! Печати вятские! Много где бывал Эльдэнэ, бывал в новгородских землях. Цепляла память неясное, невнятное. Доводилось видеть деньгу не деньгу, тамгу не тамгу, а лук такой там был! Может, и делают воду эту горящую где-то там, возле Вятки?

Близко тут Вятка. Очень близко. Туда и следует
путь держать. Что знали о Хлынове
современники Эльдэнэ?



Матушка-Вятка

МЫ ШЛИ...

«**М**ы шли. У ручья стали. Тутока и станём жить», — вот так мне от предков была передана история появления деревни Малое Турово на пермской земле. Не так уж мало. «Мы» — это, скорее всего, означает, что шла семья. Малое Турово — деревня действительно маленькая, а выходцев из нее и по сю пору отличает внешнее сходство. Они не плыли по реке, не преодолевали каких-то серьезных преград, а просто шли. Их никто не вел, не гнал, место для жилья они выбрали сами. И переход был не такой уж большой, без зимовок. На карте соседней с нами Вятской губернии возле Нолинска обнаружилась деревня Малые Туры. Более того, рядом деревня Большие Туры. А возле пермского Малого Турова есть деревня Большое Турово. Парные деревни расположены на одной широте на расстоянии 200—250 километров. Никаких естественных преград для перехода, действительно, нет, расстояние вполне преодолимое. Значит, мои предки в Прикамье отсюда и пришли, с вятской земли.



Вятка (пока город Киров) — ближайший сосед Перми. Еще Даль указывал, что Оханский уезд Пермской губернии, который в девятнадцатом веке включал весь запад нынешнего Пермского края вплоть до Камы, по народу вполне принадлежит губернии Вятской. В Перми едва ли не каждый второй житель имеет вятское происхождение.

А что мы знаем о старой матушке Вятке, о ее роли в истории Прикамья, России? Почти ни-че-го.

«В нашей истории нет ничего темнее истории Вятки», — отмечал Карамзин.

«...Утвердясь в стране Вятской, россияне основали новый город близ устья реки Хлыновицы, назвали его Хлыновым и, с удовольствием приняв к себе многих двинских жителей, составили маленькую республику, особенную, независимую в течение двухсот семидесяти осьми лет, наблюдая обычаи новгородские, повинуюсь сановникам избираемым и духовенству.

...Новгородцы также времени от времени старались делать зло хлыновским поселенцам, именовали их своими беглецами, рабами и не могли простить им того, что они хотели жить независимо.

...сия народная держава сохранила свои древние уставы гражданской вольности*.

Вятской общиной на некоторых исторических картах названа территория между реками Вяткой и Чепцой. На ее западной границе стоит старинный городок Котельнич, названный так новгородцами в начале XII века.

* Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 3. Гл. 1.



Современники давали Вятской земле XVI века самые лестные отзывы, считали ее краем изобилия. Ходили буквально легенды: «В земле той поля великие, и зело преизобильные и гобзующие на всякие плоды... хлеб же всяких такое там множество, аки бы на подобие множество звезд небесных, тако же и скотов различных стад бесчисленное множество, и корыстей драгоценных, наипаче от различных зверей в той земле бывающих... не вем, где бы под солнцем больше было».

Вятские земли уже в XVI веке считались житницей и имели избыток зерна. Тоже не случайно. Здесь неплохая для северных широт земля и хорошие условия для земледелия: с севера вятскую землю прикрывают Северные увалы, а река Вятка и ее притоки текут с юга, принося драгоценное тепло. Ушкуйники нашли прямо-таки климатический оазис!

В городах Вятской земли существовали постоянные торговые заведения — лавки, ларьки, палатки, а также «торги» (рынки). Хлынов уже во второй половине XV века был крупным торговым и ремесленным центром, входившим в число пятнадцати крупнейших русских городов. Зажиточная была страна. Страна загадочная и совершенно необычная, верно что особенная для своего времени. Княжил ли там кто-то? Неизвестно, община и есть община — народная держава, ни много ни мало. Вообще без князей обходились. Доходили до Москвы имена воевод, предводителей разбойничьих — и только. Знаться Вятка ни с кем не зналась, а уж к себе не допускала никого. Выборными были все, вплоть до священства. По-моему, это единственный пример в истории подлинного народного самоуправления. И — процветания!

На чем могла «подняться» средневековая Вятка? Версия первая, наиболее известная, — грабеж. Вятка — разбойничье гнездо.

РЕЧНАЯ ВОЙНА

Быстро исчезает след на воде...

Вятка (Хлынов) была основана речными разбойниками. Так гласит Вятская летопись. В московских летописях упоминания о вятичах часто нелицеприятны. Разбойники-де они, безверные и самоуправные. Особо порицали вятских ушкуйников, называемых речными разбойниками. Ужас наводили ушкуйники на все речные пространства, стремительно подлетая к берегу на больших плоскодонных лодках — ушкуях.

Когда начались походы новгородской вольницы — ушкуйников? Разные есть сведения. От века XI до XIII. Большой поход датируется 1320 годом во время войны Господина Великого Новгорода со шведами. Дружина Луки Варфоломеевича на морских ушкуях прошла Северной Двиной, вышла в Белое море, а затем в Северный Ледовитый океан и razорила область Финмарнен, располагавшуюся между южным берегом Варангер-Фьорда и городом Тромсе. В 1323 году, пройдя тот же путь, ушкуйники напали на соседнюю с Финмарненом северонорвежскую область Халогаланд. Эти набеги внесли свою лепту в войну, и шведы заключили с Новгородом компромиссный Ореховецкий мир. Однако в 1348 году они вновь напали на Новгородскую республику. Король Магнус обманом захватил крепость Орешек.

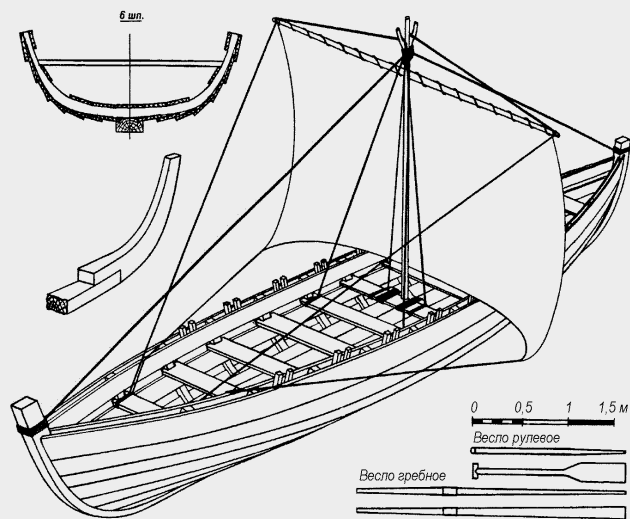
В ответ на следующий год последовал морской поход ушкуйников к берегам той же провинции Халогаланд, в ходе которого был взят сильно укрепленный замок Бьаркей.

Ушкуй как новый тип корабля был создан на новгородчине. Название, возможно, произошло от наименования полярного медведя — ушкуя. Это название существовало у поморов до XIX века. Часто ушкуи украшались головами медведей. Так, в новгородской былине в описании корабля Соловья Будимировича сказано: «На том было соколе-корабле два медведя белые заморские». Речные и морские суда называли еще стругами. Энтузиасты воссоздают облик ушкуя на основании обрывочных сведений археологов, анализа других судов Северо-Запада России, собственного опыта конструирования и фантазии. Ушкуй — легкая и простая в изготовлении весельная плоскодонная лодка на 20—30 человек. Не использовались никакие металлические детали, только дерево. Отсюда — полная потаенность места создания ушкуев: послал мужиков-плотников с топорами — и все! Нос и корма ушкуя имели одну и ту же форму, поэтому его было легко втащить на берег, а при необходимости — умчаться с места событий без разворота.

«Ушкуй строился из сосны, причем использовался лес с естественным изгибом. Киль его вытесывался из одного ствола и представлял собой брус, поверх которого накладывалась широкая доска, служившая основанием для поясов наружной обшивки. Она скреплялась с килем деревянными стержнями (гвоздями), концы которых расклинивались. Балки, образующие носовую и кормовую оконечности корабля, делались прямыми и устанавливались вертикально или с небольшим накло-

ном наружу, причем носовая была выше кормовой. Они соединялись с килем кницами (угольниками для жесткого соединения элементов набора корпуса судна, примыкающих друг к другу под углом), вырезанными из ствола дерева с отходящей под углом толстой ветвью. С наружной обшивкой и первыми шпангоутами штевни скреплялись горизонтальными кницами, причем верхняя одновременно служила опорой для палубного настила, а нижняя размещалась на уровне ватерлинии или чуть выше. Опруги (шпангоуты) состояли из «штук» (деталей) — толстых веток естественной погиби, стесанных по поверхности прилегания к обшивке, со слегка снятой кромкой на стороне. В средней части судна опруги состояли из трех частей, а в оконечностях — из двух. Морские ушкуи (в отличие от речных) имели плоскую палубу только на носу и корме. Средняя часть судна (около трети длины) оставалась открытой. Грузоподъемность их составляла 4—4,5 тонны. На внутреннюю обшивку опирались шесть или восемь скамей для гребцов. Благодаря малой осадке (около 0,5 м) и большому соотношению длины и ширины (5:1) судно обладало сравнительно большой скоростью плавания. Как морские, так и речные ушкуи несли единственную съемную мачту, располагавшуюся в центральной части корпуса, с одним косым или прямым парусом. Навесных рулей на ушкуи не ставили, их заменяли кормовые рулевые весла.

Киль был широким и плоским. Одинаково изогнутые носовая и кормовая балки соединялись с килем деревянными гвоздями или в потайной шип. Корпус набирался из тесаных досок. Первый пояс обшивки крепился к килю такими же гвоздями, остальные сшивались между собой ивовыми прутьями с креплением



Ушкуй (реконструкция)

к штевням нагелями. Верхний пояс обшивки был толще остальных примерно в полтора раза. Цельногнутые опруги монтировались в уже готовый корпус и прибивались к наружной обшивке только деревянными гвоздями. Внутренняя обшивка не была сплошной: по днищу в виде елани свободно лежали доски, чуть выше скулы шел внутренний пояс (толщиной, как и наружная обшивка), на который опирались скамьи для гребцов, а верхний пояс находился на уровне последнего наружного и крепился к опругам гвоздями. Толщины внутреннего и верхнего поясов были равными с соответствующими наружными. Планширь (деревянный брус с гнездами

для уключин, идущий вдоль борта лодки и прикрывающий верхние концы шпангоутов) отсутствовал. В зазор между обшивками вставляли клинья-кочеты, которые служили опорами для весел. Утолщенные последние пояса наружной и внутренней обшивок обеспечивали достаточную прочность борта при возможном abordage или при перетаскивании ушкуя через переволоку.

Речной ушкой имел длину 12—14 метров, ширину около 2,5 метра, осадку 0,4—0,6 метра и высоту борта до 1 метра. Грузоподъемность достигала 4—4,5 тонны. Укрытий ни в носу, ни в корме на нем не было. Благодаря симметричным образованиям носа и кормы ушкой мог, не разворачиваясь, моментально отойти от берега, что приходилось часто делать при набегах. При попутном ветре ставили мачту-однодревку с прямым парусом на рее. Для его подъема верхушка мачты снабжалась нашечинами. Простейший, без блоков, такелаж крепился за скамьи, а носовая и кормовая растяжки — на соответствующих оконечностях.

С ушкуйниками ходили лучшие новгородские воеводы. В летописях, легендах и народной памяти остался предводитель ушкуйников — Анфал Никитин. Ему приписывают организацию грандиозных походов на сотнях ушкуев в начале XIV века. В 1363 году ушкуйники с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Ляпой во главе вышли к реке Оби. Здесь рать разделилась: одна часть пошла воевать вниз по Оби до самого Ледовитого океана (Студеного моря), а другая — гулять по верховьям Оби на стыке границ Золотой Орды, Чагатайского улуса и Китая. По масштабам их путешествия не уступят путешествиям Афанасия Никитина и Марко Поло. Жаль, остались незаписанными!

В 1366 году новгородские бояре Осип Варфоломеевич, Василий Федорович и Александр Абакунович громили караваны на Итиле. Ордынские войска опять оказались бессильными перед ушкуйниками, и хан Золотой Орды обратился за помощью к своему подданному московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому). Дмитрий шлет грозную грамоту в Новгород. Отвечают: «Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман».

Ушкуйники имели первоклассное вооружение, это были профессиональные бойцы. Они имели панцири — чаще всего кольчуги из рубленых из стального листа колец (байраны, или боданы), делали и комбинированные панцири (бахтерцы), в которых между колец вплетались стальные пластины.

Не правда ли, история речных войн — некая другая, совсем другая история России, чем та, что известна нам со школьных времен? В учебниках истории нашей страны ушкуйники, если и упоминаются, то только как разбойники. Почему это они разбойники? Воеводы ушкуйников — успешные военачальники, которые не усевали поля костями русских людей, а побеждали неприятеля малой да удалой силой. Они должны быть когда-нибудь отмечены благодарной памятью потомков! Ушкуйники — военный флот Великого Новгорода, который с XII века вел с Ордой успешную и даже доходную речную войну!

Естественная мысль: если речь идет о систематических походах на большом количестве ушкуев, значит, эти походы шли не из Новгорода. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, сколь длинен и труден путь от Ильмена до Камы. Флотилия даже

из нескольких десятков ушкуев растянется по многочисленным волокам на много верст. О ее перемещении узнает даже самый ленивый. Ушкуйники лишаются главного преимущества — неожиданности. Нужна была промежуточная база для строительства ушкуев, обеспечения продовольствием и людьми. Такая база была нужна, и она была создана. И место для нее было выбрано без промаха, в непосредственной близости от театра военных действий. Как будто природа специально для этого создала вятскую землю.

Вятка — город Хлынов, — конечно же, была поставлена ушкуйниками не случайно. Здесь в лесном краю, можно было строить корабли, запастись продовольствием и набирать команду. Расположенная в верховьях притока Волги, реки Вятки, такая база имела исключительное выгодное стратегическое положение. Отсюда вниз по течению и неслась лавина ушкуев, нанося неожиданный и неотразимый удар. Действительно, грозное разбойничье гнездо.

Только ли разбоем наживалась Вятка? Версия вторая: основой благосостояния Вятки было так называемое «пермское серебро». В легендах остался некий Анфаловский городок в Перми Великой, где якобы был зарыт серебряный клад Анфала, так никем и не найденный...

СЕРЕБРО ПЕРМСКОЕ

Кроме южной «руки» — речки Вятки, у Хлынова была еще и северная «рука» — верховья Камы. Большой петлей Кама охватывает пермские леса, населенные в средние века вогулами

(манси). Историкам известно, что Вятка активно торговала слесными людьми, и нигде не упоминается о каких-либо стычках. Более того, проникновению Москвы в Прикамье они противостояли совместно. Однако предмет торговли неизвестен. Никакого сколько-нибудь значительного товарного потока в наши северные джунгли не шло. Мех, обычный товар северян, почти не присутствовал на вятских рынках. А из леса в Новгород веками шел драгоценный поток «пермского серебра».

Точно сказать, сколько было вывезено драгоценного металла, сейчас невозможно, но представление о размерах вывоза дает хотя бы такой факт. От нашествия Литвы новгородцы время от времени откупались данью. Так, в 1431 году литовский князь Витовт налагает на Новгород контрибуцию в 55 пудов литого серебра (новгородский пуд — берковец — равен 163 кг). Иначе говоря, речь шла о 8965 килограммах литого высокопробного серебра. Новгород уплатил эту сумму в течение пяти месяцев.

Новгород даже начал собственное денежное производство в 1420 году, и оно продолжалось непрерывно в течение 58 лет до падения новгородской независимости и присоединения к Москве в 1478 году. Серебряная монета «новгородка» была вдвое тяжелее московской монеты, «московки».

В 1332 году Иван Калита «возверже гнев на Новгород прося у них серебро закамское». Каким образом и где добывалось это серебро, предприимчивые торгаши тщательно скрывали, в Москве и Орде считали, что есть некие таинственные рудники, их долго и безуспешно искали потом на Урале. Никто не догадывался,

что «серебро закамское» — это те запасы древнеиранской посуды и монет, которые на протяжении многих столетий копились на святилищах уральских народов.

Современный нам автор пишет об этом так.

Множество кладов серебряной утвари впоследствии было обнаружено только в Верхнем Прикамье и Западной Сибири. Обе территории представлялись буквально кладовыми, где на древних святилищах веками сохранялись блюда с изображениями сасанидских царей, согдийские кружки, кувшины с растительными орнаментами и фигурами персонажей зороастрийского пантеона, исламские серебряные бутылки и подносы с благопожелательными надписями, византийские и западноевропейские чаши со сложными литературными сюжетами и готическим орнаментом. На материалах находок серебра из Прикамья и Зауралья вышли прекрасные книги, посвященные сасанидскому художественному металлу, искусству Византии, согдийскому серебру. Из них же создавались соответствующие экспозиции музеев, в том числе Эрмитажа, и временных выставок, как в России, так и за рубежом.

В прошлом веке восточные сокровища находили на Русском Севере не просто в больших, а в огромных количествах. То, что уцелело, находится в великолепной коллекции иранских (главным образом) ювелирных изделий эпохи Сасанидов (III—VII вв. н.э., так называемое сасанидское серебро), хранящейся и экспонируемой ныне в Государственном Эрмитаже: старинные блюда и кувшины, бокалы и геммы с их неповторимыми узорами и высокохудожественными изображениями. Из дворцов персидских царей и вельмож древними торговыми путями они

попали сначала на Русский Север на берега Оби, Вишеры, Колвы, Камы и даже Ледовитого океана.

Именно иранское серебро, так сказать, ханты-мансийского происхождения и составило когда-то основу личной коллекции Строгановых, которая в конечном итоге незадолго до революции поступила в Эрмитаж. До этого будущие музейные экспонаты находились на частной вилле в Италии, и владельцы опасались, что разразившаяся Первая мировая война отрезет им путь в Россию. Но и строгановские сокровища — всего лишь малая толика того, что в разное время было обнаружено в приполярных областях. И коллекция Строгановых — когда-то некоронованных королей этих краев — отнюдь не была самой большой. Сибирские и уральские древности собирали все кому не лень, ибо попадались они повсюду. Среди местных любителей старины особенно славилось собрание одного из чердынских купцов по фамилии Алин. Как истинный коллекционер, одержимый навязчивой идеей, смекалистый купчина скупал и выменивал восточное серебро, где только мог, не жалея никаких денег. Полюбоваться восточными сокровищами стекались обыватели со всей округи, тем более что это доставляло удовольствие тщеславному хозяину. Но в самом начале XX века случился в Чердыни пожар, и дом купца Алина сгорел вместе со всем добром. От баснословного богатства остались одно пепелище. Сгорело все, кроме серебра, но, увы, оно расплавилось и превратилось в слитки металла общим весом 16 пудов!

Новгородцы на протяжении нескольких столетий везли серебряные изделия из пределов пермских (закамских) земель,



Блюдо «Охота шахиншаха Шапура II на львов». IV век.
Серебро, позолота; диаметр 23 см. Из коллекции Эрмитажа

а также начинали получать серебро от зауральских народов. Это был очень серьезный вывоз, обеспечивающий валютную независимость Новгорода, и дело должно было быть обставлено тоже очень серьезно.

На речке Колве, притоке Камы, стояли новгородские укрепленные поселения: Искор и Покча. Путь серебра лежал через Колву — Вычегду — Северную Двину на Архангельск —

Новгород. Этот путь в пермские земли называют новгородским путем. Каким путем шло взятое серебро — хорошо известно. Как его брали — непонятно до сих пор. Версия, собственно, существует только одна: грабеж. Или частный и случайный (разбойники-ушкуйники) или системный и государственный — взимание дани. Как новгородцы берут серебро, в те времена очень (очень!) сильно волновало многих. Потому что брать-то бы многие хотели — во Владимире, например. Куда ближе вроде бы находится Владимир к пермским землям, чем Новгород. Если брать дань так просто — иди да бери! Так ведь сроду не хаживали.

Тайна серебра перемского осталась тайной на четыре века.

Находки пермского серебра на Вятке были.

Это великолепное серебряное блюдо найдено в 1927 году в Вятской губернии и сейчас является украшением коллекции Эрмитажа*.

Виртуозно исполненное в технике литья, чеканки и гравировки с использованием накладных пластин и снятием фона, блюдо является одним из лучших образцов ранней сасанидской торевтики (IV в.). Изображение охоты на львов шахиншаха Шапура II — не только предмет пиршественной посуды, но и произведение официального искусства, прославляющего монарха. Динамичная сцена, блестяще вписанная в круг, монументальна и выразительна. Вероятно, портретен облик шаха,

скачущего на стремительном коне и стреляющего во вздыбившегося хищника. Достоверность в передаче царских регалий — короны, шейного ожерелья, костюма — позволяет при сравнении с изображением на монетах точно определить имя персонажа.

Имел ли Хлынов, крупнейший восточный анклав Новгорода, какое-то отношение к серебряному следу?



* Официальный сайт Эрмитажа http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_5_4a.html

БАЗА ОГНЕННЫЙ

АНФАА И РАГГОЛА

Эльдэнэ в драной меховой одежде, пыльный и грязный, заросший по уши, объявился возле Хлынова. Сколько раз он погибал в таких попытках — Бог весть. Но Московии нужно было знать, какие дела творятся на Вятке, жизненно необходимо было знать! И извечник оживал и вновь шел.

Хлынов с умом поставлен был: с одной стороны река, с другой — глубокий овраг.

Возле городских ворот сторожка, в ней два парня. Охрана. Будка с собакой, у охраны еще одна избенка с огородом, где виднеются сараюшка с банькой. Эльдэнэ не приметили, поскольку на человека он уже не походил и одежда его схожа была по виду с дорожной грязью в канаве, куда он закатился. Почему Эльдэнэ поступил так, как он поступил в дальнейшем, понять трудно. Такие люди, как он, и тогда, и сейчас умеют предугадывать.

Один из охранников вынес в миске еду для собаки и, поставив миску возле канавы над самой головой Эльдэнэ, пошел к будке. Собаку, видно, хотел на время отвязать. Эльдэнэ метнулся к миске и начал с жадностью поедать кашу с мясом. Сторож хотел

было спустить собаку на него, но второй схватил его за руку. Могли бы разорвать собакой, но не разорвали!

Эльдэнэ дали доесть, попытались заговорить. Немой он, Эльдэнэ, вот что! Мычит, башкой мотает. Немой, а вроде не бестолочь, может, сбежал от кого. Велели раздеться. Мужичок крепкий, нестарый. Ну, живи пока.

Стражники коротко переговорили, один ушел в огородец, а второй сходил в избу, принес нож. Быстро развел костерок возле канавы, одежду велел бросить в костер. Посадил Эльдэнэ на чурбак, закатав рукава, ловко обстриг волосы ножом наголо. Достал из костра обгоревшую головню, показал жестом: уши загни! И головней-то по башке проехался. Вши, принесенные Эльдэнэ из лесных землянок, с треском полопались, уши вздулись. Тем временем пришел второй, они опять переговорили. Через короткое время мотнули головами: пошли, мол!

Эльдэнэ не мог поверить своим глазам: в баню вели, в баню! Пришлось поупираться, но блаженный миг все же настал. Его кинули на полок, отходили как следует веником, ошпарили щелоком, чуть не крутым кипятком. Один из охранников, здоровенный парень с пудовыми кулаками, напоследок лишил Эльдэнэ жизни. Совсем. Эльдэнэ казалось, что мясо у него отделяется от костей. Что-то внутри трещало, и он орал нечеловеческим голосом. Не обращая на вопли истязуемого никакого внимания, парень измял Эльдэнэ своими могучими ручищами с головы до ног. Из бани Эльдэнэ, засунутого в залатанные, но чистые порты и рубаху, тот же истязатель унес на одной руке и бросил в чулан на грудь половиков. Поживи-ка годик в землянке, кормя вшей, изваляйся-ка в грязи, проползая



грязными канавами — тогда ты будешь спать так, как спал наш герой!

Наутро давешний истязатель, Василий Тур, спал после бессонной ночи, а второй, пониже и побойчее, звавшийся Ряпой, повел Эльдэнэ в город. Город, он и есть город, огороженный то есть. С большим интересом разглядывал Эльдэнэ гнездо знаменитых на Руси речных разбойников — вятских ушкуйников.

Городище, как видел Эльдэнэ, было небольшое, обнесённое двумя рядами врытых в землю и стоящих торчком бревен. В этот тихий летний день являло собой разбойничье гнездо вполне мирную картину, на траве между бревенчатыми стенами паслись козы и овцы. Внутри бревенчатые избы да площадь небольшая, вот и весь Хлынов. На площади людская толкотня, все мужики молодые, вида весьма примечательного. У кого глаза нет, кто без уха. Парчовый кафтан на ином, а снизу пестряденные порты. В одном месте бой кулачный, в другом народ сгрудился возле играющих в зернь. Сидят прямо на земле, на кону кучи барахла — награбленного, видно. И те кучи, не трогаясь с места, переходят из рук в руки. Только что ходивший в парчовом кафтане уже до портов разделся, а кафтан натянул рябой мужик, и кафтан треснул.

Ряпа спрашивал, не видел ли кто Дробилу одноглазого. Видели, — отвечают и показывают один направо, другой налево. Дробила, однако ж, нашелся и оказался действительно одноглазым и без двух передних зубов. Купить Эльдэнэ отказался:

— На сто он мне? Была бы девка, взял бы. Слушай, надоело телку драть. Тутока собираются на серемисов, послы на серемисов? Сказывают, разведали у хана ихнего богатое становиссё. Девоч привезем, серемисок. Послы?

— Я туда с Анфалом одинова только и хаживал. А потом на Нижний Город Анфал сбежать хотел, под зиму. Потом, говорит, опять на Булгар двинем. И где теперя Анфал? Как в воду канул с запрошлого лета...

— Сказывают, его по баске стукнули и в полон к хану взяли.

— Бздят! Он сам хоть кого по башке-то!

— Слушай, на сто тебе Анфал? Сё ты все: Анфал-Анфал?! Это рассохинские ребята его по баске стукнули и ханским отдали. Сумел много. Сумный был парень.

— Я бы этому Рассохе самому башку снес бы за Анфала! Да, поди, и снесу еще...

— Не суми, а про Анфала забудь, пока своя баска целая. Переветник он, Анфал, на Московию переметнулся, сказывали так. Послы на серемисов-то?

Ряпа на черемисов идти согласился и тут же уселся на землю играть в зернь, забыв про Эльдэнэ. Разговор про Анфала на этом закончился. А жаль, думает Эльдэнэ, очень примечательный разговор. Тогда шумел Анфал и впрямь сильно, это и в Московии было хорошо известно. Имя коновода вятских ушкуйников наводило страх и на Нижний, и на Кострому, и на Булгар, и на Сарай. А тут, оказывается, смена власти, нет Анфала! А где он?

Эльдэнэ потихоньку отодвинулся от играющих и обошел городок. Лавки, кухня летняя дымит прямо на улице, видны большие котлы. Избы стоят, склады. Баб мало. Девоч вовсе нет. Мальчишки уже режутся в карты и кости или сходятся на кулачки. Как-то все тут у них интересно устроено: купцы рядом с разбойниками, ездят к ним. Не боятся. А те их, тутошних, не трогают, бегают грабить низовых татар или вовсе далеко на реку



Сухону, там тоже не дети сидят, Гляден — городок укрепленный. Подумалось Эльдэнэ: вообще не слышно, чтобы ушкуйники обижали собственных новгородских купцов.

Не видать, однако, нигде места, где мог бы гнездиться дух воздуха, зажигающий воду. Да и не слышать как-то, чтобы речь шла про земли пермские. Вятка, да Итиль, да Устюг. Где ушкуи стоят, не видать, самих разбойничков тоже не видать. Ничего не видно. Тут только крепость с небольшой охраной.

Обратно к городским воротам Ряпа и Эльдэнэ пришли уже под вечер. Никто у Ряпы невольника не купил, зато сам он крепко проигрался, причем, похоже, продул общее с напарником добро, отчего вздыхал и чесал затылок.

Тур сидел возле костра, глядя на изгиб реки. Ряпа, опасаясь могучих кулаков товарища, сел поодаль и сразу завел разговоры про черемисов с богатым становищем и осенний поход на Устюг. Но Тур, не глядя на него, сказал медленно и твердо:

— Ухожу я, Ряпа. Не глянется мне с Рассохой дела иметь. Ничё ни к чему, одне в лес, други по дрова. Даве от татаровей еле ушли. Как без Анфала остались, никакого прибитка, а сколь народу полегло.

— Сказывают, это рассохинские тада Анфала ханским сдали ...

— Рассоха-то, как калега: охота калеге башкой быть, да уши не выросли. Приходили тутока ко мне от Рассохи. Айда, мол, Анфала из перми выманивать, ты, мол, с им ходил, знает он тебя. Будто живой Анфал, убежал из Сарая на Каму, где-то в перми городок поставил. Купцов перехватывают. Вовсе переветник стал, против своих пошел.

— Может, и брешут?

— Может, и не брешут. Озлился мужик, да и переметнулся. Он мне не одинаво сказывал, что со слободской головкой не в ладах. Ну как, он поболе нас с тобой во всем толковал. Много тайного знал, чего нам и знать ни к чему. Шибко у него ругань в Слободском бывала. Мол, надо какот серебряный след из перми на Вятку заворачивать. Хватит, мол, богатство мимо рта в Новой Город возить, кто, мол, оне нам? Устюг перекрыть грозился. Ну, те, видно, Рассоху и натравили. Кому охота богатство-то упускать?! Рассоху, гниду, раздавил бы!

Тур замолчал, все так же глядя на темнеющий речной поворот. Язык Ряпы продолжал чесаться:

— С Анфалом-то ты на Сарай ходил?

— Но-о, запрошлым летом.

— Хорошо сбегали, говорят.

— Дак если все по уму, вот оно и хорошо. Весело сбегали. По уму-то. Струги с зимы еще были наделаны, да стояли потаенно. Плоты, припасы на дорогу. Дружина знала: как Анфал объявится, даст сигнал — так и идем. А где Анфал — и не ведал никто. Тысяцкой я у его был... эх, да чё говорить!

Тур опять замолчал. Потрескивал в тишине костер, и искры улетали к звездам.

— Много чё привезли из Сарая-то, говорят?

— Чтобы много привезти, на плечах-то башка должна быть, как у Анфала, а не калега, как у Рассохи! Анфал реку всю знал, каждый поворот и пережат. И про Сарай все было известно: где лавки богатые, где казна. Сколь охраны — все выведал! Только и осталось весело сбегать! Э-эх, как мы из воды-то выскочили, да засвистали!

— Откудова?!

— Да из воды, говорю, из реки! Мы ночью подошли прямо мехонько напротив города и стали. И сколь времени под водой сидели, через камышины дышали. А как ободняло, мы как выскочим, да засвишем! Анфал придумал из бересты рожи всякие понаделать, да рога, да хвосты привязали. Хоть кого страх возьмет! Татарове все побросали, убежали. Оне воды боятся, оне только в степи хозяева, а на реке никто. Тут еще наши подошли на ушкуях, плоты подогнали. Палево подняли высокое, чтобы далеко видно было... Весь день плоты нагружали, их мужики волоком увели до Хлынова. А мы к ночи — во голова-то у Анфала! — не вверх пошли, а вниз, в протоке засели. Татарове побежали было плоты догонять, а мы имя опять в городе палево подняли. И опять в протоку. А потом ушли в Хлынов. Весело сбежали, да...

Тур снова замолчал. Потрескивал костерок, тишину безлунной ночи нарушал только еле слышный плеск прибрежной речной волны. Тяжкая виноватая досада прерывала молчание:

— Пошто я с имя тогда не пошел? Анфал ведь спрашивал меня, пойду, нет. Он тамока протоку одну хотел посмотреть: протока али глухая старица. Ушли-то всего на двух стругах. Ну, дак и чё, ждали их, видно, тамока. И ведь как-то Рассоха вывернулся? Анфала взяли, а этот домой пришел! Гнида!

...В этот предутренний час совсем неподалеку, в Раздерихинском овраге, заканчивался земной путь легендарного Анфала. Тускло чадил смоляной факел, прикрываемый полой кафтана, плохо поддавалась земля, сплошь продернутая корнями ивняка. Яму велели вырыть глубокую, чтобы не раскопали бродячие псы и не размыли весенние паводки. Рогожа, в которую было

обернуто тело, из-за неловкости дрожавших рук развернулась. Громадный костистый Анфал лег на сырую землю, блаженно вытянулся и прильнул к ней. Выкаченные в смертной муке глаза подернулись тенью и тихо закрылись. Казалось, только сейчас Анфал облегченно испустил последнее дыхание, и душа, как легкий туман, покинула его... Не стало на земле Анфала, и след его последнего пристанища был старательно затоптан и завален подрытой старой ветлой.

...Небо на востоке начинало светлеть. Давно ушел спать Ряпа, а Тур все сидел возле костерка, пошевеливал угли, подкладывал невеликие палочки. Как ждал кого-то. Как чувствовал... Какой-то небольшой мужичок выскочил из темной тени кустов:

— Тур, слышь-ко, Тур, нету Анфала, нету Анфала боле!

— Как знашь? Видал чё?

— Чё тебе, как знашь! Уж знаю. Нету делов без следов...

— Кто наследил-то? Рассоха?!

— Сам думай. А я и не сказывал тебе ничё, это тебе ветром надуло.

Мужичок исчез в кустах, как не был. Как будто и впрямь пролетавший временами северный ветерок, предвестник осени, нашептал в уши то, что не могло, ни за что не могло быть реальностью. Эльдэнэ старательно «спал». Тур тяжело поднялся, медленно зашагал вдоль крепостной стены, уже освещенной первыми лучами еще не видного глазам солнца.

...Рассоха принял смерть без страха и протеста. Орлиный взгляд Анфала, которому он привык мгновенно подчиняться, взгляд уже совсем потухших синих глаз, уже с той стороны, из смерти, вдруг налился ненавидящей силой и расколол голову-

калегу. Слепыми безумными глазами, не моргая, убивец Анфала глядел на восходящее солнце. Ни крика не было, ни шума никакого, только первый солнечный отблеск на востром разбойничьем ноже...

И снова тихий костерок на речном берегу возле крепостной стены. Уже и Ряпа проснулся:

— Слышь-ко, Тур, а чё мужики сказывают, Анфала вчерась зарезали?! Это чё? Брешут али чё?!

— Кто сказывал, с тех и спроси. А Рассоху точно зарезали.

Костерок догорел, угольки подернулись легким серым пеплом.

— Уйду я, Ряпа. Не глянется мне все это. Давеча мужик проезжал, мельник из-под Слободы. К себе зовет, девку свою, сказывал, за меня отдаст. Справный мужик. У его в дому девок много народилося, кому мельницу держать? Иди, говорит, ко мне. Уйду я. Сказывал, брашно он мелет, да брагу ставит, вотякам возит. Ему купцы слободские шибко выгодно расчет дают. И товаром, и деньгой-новгородкой. А уж скоро жито начнут сжинать, да брашно делать. Робить, мол, некому. Вот я к ему и пойду. Жениться охота да и жить, как люди. Набегался. Немца нашего с собой возьму в работники. А ежели про меня кто спросит, сказывай, мол, и не знал такого никогда. На вот печатку мою, в Котельнице мой струг возьмешь.

В Котельнице, в Котельнице... Вот где струги-то ладят да прячут до поры. А и то: Котельнич много ниже по реке, течение там крутое, быстрое, торопится Вятка к сестрице Каме.

Судя по разговору, в хлыновской шайке произошли бурные события. Легендарный Анфал то ли впрямь переметнулся,

то ли пал жертвой оговора. И что с Рассохой? Это важно. Прикинуть бы, каковы сейчас у них силы-то, у свирепых вятских защитников. В Котельнич бы, на ушкуи глянуть — вон они где запрятаны! Время ли в глушь деревенскую забираться? Уйти от своих владельцев Эльдэнэ мог в любой момент, они про него на другой же момент забыли бы. Но хороший соглядатай не должен в глаза бросаться, он должен быть частью той жизни, которую наблюдает. Как бы вот сейчас не сбегать до Котельнича! Но только сунься в Котельнич — точно пришибут. А чтобы не пришибли, надо быть частью незаметной, неброской. И такой частью в вятских землях он уже стал. Пока все складывается неплохо. Купцы, значит, к мельнику заходят? Или он к купцам? А на какой ляд вотякам столько браги? И почему за вотяков расчет дают купцы?

Ладно, для начала идем к мельнику.

ЖЁНКИ УСТЮЖАНСКИЕ

Но быстро уйти не удалось. Мельник приехал на ярмарку. Три дни кипела и бурлила ярмарка на широком лугу возле крепостных стен. Эльдэнэ знал: для того чтобы про страну что-то понять и выведать, не надо околачиваться в господских покоях. Люди в таких покоях одеты в заморское, еда у них своя-особая, и правды никто не молвит. Иди на рынок, к простонародью. Увидишь, чем народец занят, что сеет, что ест. А при желании все узнаешь и про господ. На каждого господина — сотня-две прислуги. У прислуги родня, у родни еще тоже родственники.

Вся подноготная господ была простонародью прекрасно известна. Может, только насчет внешней политики мало что говорили, да и то потому, что не шибко интересовались. Много где бывал Эльдэнэ — это правило его никогда не подводило.

Богатая ярмарка в Хлынове! Привезены и хлеб-соль, и мясо, и сало, и мед, и воск на свечи, шерсть овечья всякая — чесаная, пряденая и в носки-варежки связанная, овчины и тулупы овчинные, щетина, дичь, рыба, лен пряденый и в холсты тканый, сукно, обувка всякая — и кожаная, и лапти, топоры и иной плотницкий припас, косы, цепи, сохи, корчаги большие и малые, хомуты-уздечки, ложки деревянные и черпаки, сундуки расписные, сундучки малые искусной резьбой изукрашенные, прялки большие и малые тоже все в росписи и резьбе, сани-телеги и всяческий скот. Мычали коровы, у коновязей помахивали хвостами вятские кобылки. Против скакунов арабских неказиста вятская кобылка: и собой невеличка, и лохматенька. А резва в тройке, сильна и к морозам привычна. И норов у нее спокойный и добрый. С хорошим хозяином в работе старательна. А умна! Куда бы хозяин ни заехал, она помнит дорогу к своей конюшне и домой придет всегда.

Некогда было нашему мужику все время на рынке торговать, придумали по большим праздникам съезжаться и расторгивываться. Поэтому русская ярмарка — веселое дело, шумное, голосистое.

А тут еще и подарок к ярмарке, дорогой и долгожданный: жёнки устюжанские! Приметно было, что в Хлынове баб да девок маловато. В дружины-то собирались одни мужики. Вот устюжанки-хитрованки и удумали тоже собираться дружинами,

да и наезжать в Хлынов — в жены к тамошним молодцам. Разбойный Хлынов сдавался такой дружине безо всякого сопротивления, даже, наоборот, с огромным удовольствием! Да и свои вятские мужики тоже на ярмарку невест везли — телегами!

Девки и хороводы водят, и песни поют, парни силой меряются — гуляет народ, аж и про торговлю иной забудет. К вечеру третьева дни венчанья начались. Видно стало, что не с пустыми руками устюжанки приехали: шали богатые, сарафаны каёмчатые, каждая икону несет в богатом окладе. Пригляделся изветчик: оклады-то серебряны! Да так мастеровито изукрашены, все-то мастер ладил, нигде рука промашки не дала. Сканию тонкой узоры выложены, цветы райские и травы. Вот куда серебряный следок уходит! Вот сюда он и уходит: к устюжским мастерам. Из блюд басурманских ладят оклады икон, да церковную утварь! Товар — дороже дорогого, таково мастерство. А монастыри-то да храмы строят по всем княжествам русским: и в Твери, и в Рязани, и во Владимире, тут, пожалуй, и повыгоднее дело, чем монету чеканить!

Вот так-то, князюшка. Где-то писано, что принадлежит Устюг князьям владими́ро-суздальским и даже уж сыновьям не раз завещан! Писать можно, пергамент терпелив, что ни напишешь — все снесет. Только вот эта девка устюжанская, несущая венчальную икону в серебряном окладе, она все это написанное перечеркивает, не ведая того. Не было на Устюге власти ни московской, ни владимирской. Никто тут до серебряных тайн никого лишнего не допускал.

Мастерство устюжских ювелиров прославится на всю Россию: скань серебряная, чернение, тончайшие эмали. А узоры

все те же: травы да цветы райские, такие же, как на расписных прялках, печках и сундуках. Не потеряется следок серебряный, не исчезнет! А устюжанки не забудут свой славный промысел, несколько веков такими же дружинами будут уезжать в жены покорителям Сибири и Дальнего Востока.

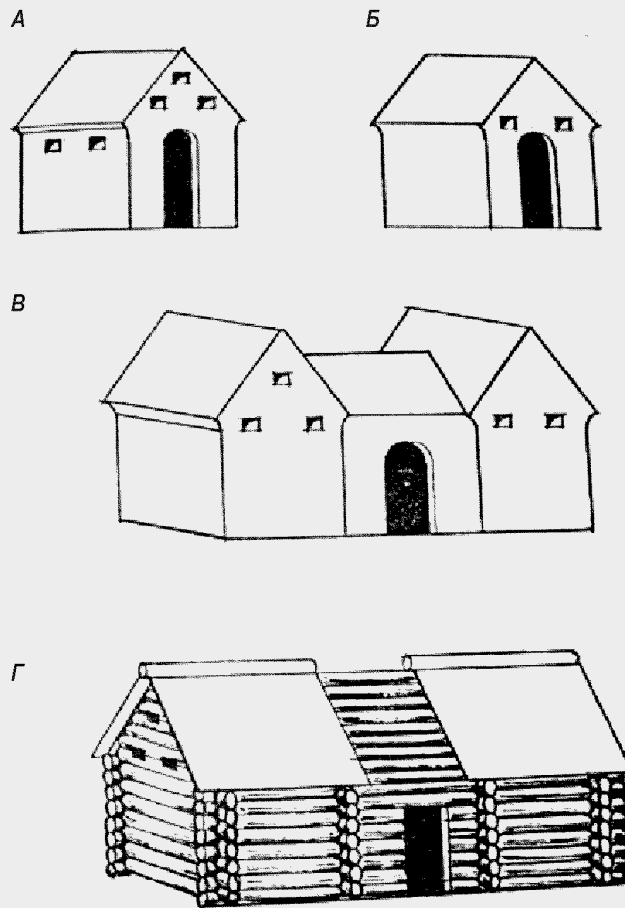
Поет-гуляет ярмарка...

Мельник обошел чуть не все ряды, все поглядел, попробовал мед в каждой бочке, перебрал и в руках помял каждую уздечку. И девкам в хороводе подпевал, и на службах-венчаниях подтягивал. Но Тур, по-прежнему мрачный и сосредоточенный, заторопился уезжать. Эльдэнэ, не мысля ничего для себя интересного увидеть в поселении смердов, потянулся за ним.

ВЫПУГАЛИ ГОЛОВЬЯ ИЗ КУСТА...

Поселение вятских мужиков, небольшая деревня на пяток дворов. Поставлено одной улицей на южном склоне пологого угора по-над прудом. На угоре, видная издаля, небольшая церковь поставлена, ровно свечечка затеплена. Избы вольно стоят, друг от друга подале.

Изба сама по себе огромная для мужичьего жилища, на две половины — зимнюю и летнюю, на высоком подклете. Возле избы сараи да конюшни рубленые под тесом топорным. Все хозяйство — как буквица П, и огорожено, ровно крепость. На плотине мельница, на угоре позади деревни еще одна — ветрянка,



Образец вятского жилища.
А — изба, Б — клеть, В и Г — жилая связка «изба—сени—клеть»

крыльями крутит. Богато смерд живет, однако. А где хозяева у смерда? Кто им владеет, вот этим мельником, и женой его, и детьми, и прудом, и мельницами? Где он? Вблизи не видать. В Хлынове вообще ни одного княжеского или боярского дома нет, нет и самого князя или боярина. Как-то народ живет сам собой, да и все.

Этому народу, который впоследствии назовут кержаками, история отвела лет 600—700, от зарождения на Вятке в XII или XIII веке до гибели в сталинскую коллективизацию в 1920—1930-х годах. Этот народ никогда не признавал господина над своей головой. «Народная держава», новгородская Америка.

Семья у мельника: сам, сама, сын Денис женатый да две девки, старшая Оня и младшая Сина. Еще один сын отселен в починок, да две девки выданы замуж в деревню Кленовку. Где-то на дальней пасеке живет мельников тятя, старый уже. А хозяйства-то, хозяйства!

Позже узнал Эльдэнэ еще одного мельникова сына. Про него сказывали так: Федул где-то мельнично колесо катит. Тутока за деревней Сосновой горушка есть, Гляделка называется, далеко с ее видать. Тамока камень жерновой, в горушке-то. Мужики даве сбегали, жернов вырубил, а Федул катит его сюда. Чё, мол, ему, Федулу! Федул через несколько дней объявился вместе с мельничным жерновом. Стоял на угоре возле ветрянки, сам ростом чуть не с мельницу и гулко хохотал. Федул был дурак. И так он был доволен, что прикатил колесо, пришел домой! От этой самой радости турнул колесо с угора на деревню. Бог миловал, — крестился потом мельник. Громадное каменное колесо со свистом пронеслось по улице, вдребезги расшибло баньку, только бревна во все стороны взлетели, и шлепнулось в пруд у берега. Федул

зрелищем был очень доволен, гулкий хохот его разносился далеко окрест.

Как ни зол был мельник, а дураку сказал: «Молодец, Федул, волокни теперя колесо обратно в гору. Мельницу тамока ставить будем, ветрянку. Как мельнице без жернова?»

Федула-дурака обязательно надо было хвалить, и он ворочал за пятерых. Иной раз и пахали, и сено возили на ём. Не обижали насмешкой, как всех прочих. Тут ведь разговора нет без подковырки. Бабам поминают: «У нашей Фроси опеть не блины, а табаны!» То есть вотяцкие толстые блины. А уж ежели когда мужик банный угол кривовато выведет, так до седьмого колена память пойдет, будут подковыривать и внука, что дед его оплошал. Хвалили только дурака Федула, и тот был уверен, что он всегда лучше всех, и ворочал изо всей своей мочи неопикуемой.

Недалеко под горкой увидел другую деревню. Так говорили: «Вотяки тамока, под горкой. Не проста гора-то у их. Молельна гора у вотяков. Чё с их возьмешь, люди лесные. Пню молятся. На горе ихние-те пни стоят. Никакого лесу нет на горе, только пенья ете. А внизу, под горой, молельна поляна. Оне тамока скотину по своим праздникам режут. Такой порядок. Как овечку зарежут, мясо сварят, съедят, а колдун-от ихний на кишки глядит, визнает, чё у кого будет вскорости. Вот еть грех какой! Сказано в Писании: «Не должен находиться у тебя... вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». Мерзок, во как! Поглядят на ете кишки и вверх волокут, к пеньям. Кто волокет, просит, чтобы от беды его ослобонило. А остатне в кружок станут, песню свою затянут и пляшут. Такой у их праздник. Чё имя, вотякам!»

А деревня вотяцкая, ну, обычная для лесных людей первая еще деревня: домишки маленькие, косые. Лесные люди по первости больших домов боятся. В тесноте они обкликивать жить, в землянке. Да и не под силу им такие хоромы городить, кои новгородцы воздвигают. И обычай стирать одежду — тоже удивителен людям леса. И мыться они по первости не толкуют. Но, что удивительно, дорога к той вотяцкой деревне проложена и даже мостик через речку кинут.

— На дороги ете шибко много ране-то робили. Лес вырубить, пенья выворотить, землю где насыпать, дресву. Наших по деревням наймовали, не одинова. Тятя-то мой с братьевьями ездил. С лошадьями, с телегами — выгодно было.

Тот мостик Тур был послан проверить и поправить. Мельник ругал вотяков:

— Был уговор, вместе дорогу подсыпать и мостик ладить, а оне не делают ничё! Как брагу к имя везти? Горшки-те поломам! Вот нажалуюсь купцу али ватаману, чтобы у их ссяку не брали!

Что-что не брали? И переспросить нельзя. Он же тут немец, немко, немой, вроде дурачка. Зачем все же вотякам брага? А кому и зачем нужна вотяцкая ссяка?! Не удивительно только, что вотяки не толкуют поправлять дорогу и мостики. Вот это совсем не удивительно, нисколько. Самим лесным людям пока что это в большую диковинку — и дороги, и мостики. Все получается так себе, неважно, а никто не любит делать то, что выходит плохо.

Мельник — мужик могучий, уже в годах. Девоч наплодил — не сосчитать. Троих уж замуж выдал, старшая, Оня, теперь за Тура пойдет. А чего не пойти, Тур парень хоть куда. Тятя дом сулитися возле ветрянки-мельницы поставить, да и мельницу хочет отдать,

смотря как справляться будут. Здоровенная грудастая Оня уже доняла отца просьбами выдать ее замуж, а тот все отговаривался: «Как мешок станешь подымать, выдам». Мешок Оня еще прошлым летом вздымала — легко. Но мельник, отвергая сватов, все мечтал привести в дом зятя работника. И теперь все до единого были довольны. Оня с Васильем, столкнувшись где случайно или нарочно, стояли, как громом пораженные, не в силах сдвинуться с места, пожирая друг друга глазами. И, стоило мельнику отвернуться, мчались на сеновал.

Тем не менее, с самого с утра Оня принялась истошно голосить, умоляя тятеньку и мамоньку не отдавать ее во чужой дом, во чужие люди.

Ой-да с кем вы, кормилец батюшка
И родимая матушка,
Думали думу крепкую —
Что отдать меня во чужие люди.
Насльвуся я, молодешенька,
И ленивая, и сомливая,
Незаботлива, неработлива! *

Вопль стоял на всю деревню, потому что голосила Оня во дворе — специально, чтобы люди слышали. И бабы деревенские находили заделье, чтобы мимо мельниковой избы пройти и послушать Онькино горестное голошение. Мало девка будет голосить, мало реветь — народ осудит. Отцу, наконец-то разрешившему замужество, Оня вопила:

* Примечание: здесь и далее см.: Чердынская свадьба / Сост. И.В. Зырянов. — Пермь, 1998.

Неужли я тебе, кормилец-батюшка,
Не работница была, не заботница,
Твоему дому не рачительница?

После обеда к Онькиному горькому плачу присоединилась мать и залилась горячими слезами пуще дочери. Обе истошно выли и колотились головой об лавки дома и во дворе. Если бы кто проезжал тогда мимо деревни, подумал бы, что случилось в доме необычайное горе. Не переставая голосить, мать вытопила баню. К вечеру пришли онькины подружки, косу расплели, в баню мыть повели. Онька вопила, не переставая.

Вам спасибо, мои голубушки,
Навестили меня, горемычную,
Что при этом при злодей-горе, при великием.
Вы красуйтесь, мои подруженьки,
Вы красуйтесь, мои голубушки,
В красе-то вы в девичьей,
А я-то, молодешенька,
Открасовалась в красных девушках,
Относила алые ленточки.

Объявилась старшая Онькина сестра Сина (Ксенья), давно и вовсе небедно жившая своим домом за громадным спокойным мужиком и уже наплодившая кучу ребят. Завыла с порога:

Ой-да сестра моя милая,
Ты не спрашивай, я сама скажу,
Каково жить во чужих людях,
Как упаковать, унравливать
На злодейских-то на чужих людей!

Поутру ты вставай ранехонько,
Ввечеру ложись позднехонько;
Наслывешься ты, моя милая сестра,
И сонливая, и лживая,
Незаботлива, неработлива.
Ты натерпишься, моя милая сестра,
И холоду, и голоду.

Какой холод-голод, какие чужие люди, если жить Оня оставалась все у того же тяти? Так лесные люди злых духов заговаривают, думалось иной раз Эльдэнэ. У всякого народа свои обычаи, и многие кажутся странными, на чужой глаз.

Эти парни и девки, родившиеся здесь, каждый в свой срок положенный, здесь же и упокоятся, и будут в колоде унесены на кладбище за гребнем угора. Они ничего не видели и не увидят, кроме своей деревни. А песни про батюшку Новгород...

Три кораблика плавали,
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!
Все с купцами да боярами,
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!
Да с богатыми товарами.
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!
Ходит молодой купец по городу,
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!
Ходит молодец по Новгороду.
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!
Ты пойди ли за меня, красна девица,
Ой, цветочек мой, да розовой-малиновой!

И молодой купец новгородский — не сиделец в лавке!
Это воин-купец. С лихими дружинами ходит он в далекие края,
на пермь и югру, жизнь его — игра молодецкая!

Конца у песен не было, про «ой да ты, цветочек» можно было петь целый вечер, тут тоже кто-то только повторял, а кто-то и придумывал. Родни у Тура не было, поэтому продолжалась свадьба не неделю, а всего дня три.

Деревенские девки и парни целые игрища устроили, прятали невесту и заставляли тысяцкого ее выкупать:

Тысяцкой, ты честной человек,
Ой, тысяцкой, ой, выдымайся, ой, выдымайся,
Ты за свой-от карман ухватайся, ой, ухватайся.
Во кармане казна шевелица, ой, шевелица,
На рёбрушки становица, ой, становица,
На подарочки норовица, ой, норовица,
А что нас-то певиц подарити, ой, подарити,
И шо нас-то певиц да немножко, ой, да немножко,
И шо сорок певиц со певицей, ой, со певицей.

Тысяцкой тут есть, примечает Эльдэнэ, вот этот тысяцкой и собирает мужиков и струги ладить, и в поход. И расчет через него, казна у него.

Опевала сестрину свадьбу младшая сестра Оньки, Милитина*.
Голосочком чистым и ясным выводила Милитина:

Не было ветров — вдруг навинуло,
Не было гостей — вдруг наехало,

* Милитина (фамилия неизвестна) в одной из вятских деревень «опевала» свадьбы в 1920—30-х гг.

Полный двор вороных коней,
Полный дом молодых гостей...
Выпугали соловья из куста...

Когда молодая деревенская поросль собралась вместе, особенно заметно было, какие они рослые. И парни, и девки — кровь с молоком, сила и молодая радость жизни бурлила в них. Венчал молодых на вольной воле выборный священник, молодые крест поцеловали, деревне да родителям поклонились. Теперь перед Богом и людьми будут друг для друга муж да жена. И закончилось все свадебными пирогами и брагой.

АНЬТӘ

Хуже собаки хозяйской жил Эльдэнэ, да и такая жизнь грозила оборваться в любое мгновение.

— На чё он нам? Ватаман придет, и нас выгонит вместе с им. Али бабы соседские нашепчут, мо, он с бесами, нечунай ентот. Да и спалят избу-то вместе с нами со всемя.

Выручала Эльдэнэ материна заветная котомочка из заношенной и вытершейся кожи. Давным-давно привезенная ей кем-то из далеких степей. Растертые в пыль степные травки и мошки пахли неведомыми полынными краями, забытыми уже руками матери. Эльдэнэ натирал этой невесомой пылью раны и ссадины, все затягивалось... целительной ли степной силой или неисчезающей материнской любовью — кто знает? У хозяйской лошадки загнойлся и разболелся укус слепня на лопатке. Недоглядели, растерли шлеей. Эльдэнэ сыпнул щепоточку своей

заветной пыли, попросил мысленно: подсоби, матушка... Гной на лошадке исчез, болячка в один день стала подергиваться розовой голой кожей. Ну, насупился мельник, живи тогда... покуда... Но дальше крыльца и ступить не могли.

Деревня меж тем гудела, как пчелиный рой.

— Онфимовы-те, девку видала нонеча, чирьями все изошли. На вечерки Марья чё, думаю, не ходит, а ей и показаться нельзя теперя, нос-от провалится, гляди-ко чё!

— Это имя Аньтя-вотянка беса притащила. С Онфимом самим путалася, так сказывают. Кода ноне вотку оне варили. Он как корчаги привез, дак она его в сараё затащила. Бес-от помогал. У их чё, у вотяков-то, креста на их нету, грязи полно, тамока бесам роздольё. Оне, бесы грязные, тамока и на лавках, и под лавками, один на однём. И под титьками, и под подолом у етой Аньти-вотянки бес-от и сидел. Вокурат тамока, в самой ейной дырке. А мужику уж никакого спасенья тада и нет. Бес-от и в глазах у ей, только глянула — и мужик пропал. И всё. Сгниет. Бес-от всю семью и сгубит.

— У их теперя одно бесовье в доме-то. Я даве иду — так прямо видно, из окошек скалятся. Кишмя, как блохи на псу шелудивом.

Аньтя-вотянка, рыжая и патлатая баба из вотяцкой деревни, и впрямь часто шаталась у околицы, бесстыже задирая подол. На нее спускали собак, она, сверкая пятками, убегала. Бабы вслед ей грозили кулаками, мужики отводили взгляд... Кто-то из них и впрямь имал Аньтю тайком, кто-то слышал, что шибко сладка грязнопузая вотянка, дак может, это бес гнойный тебе гоило-то лижёт, а ты и не знашь.

Шумели-гудели бабы, избы чистили, до дюжины раз перемывали порты и рубахи. Уже ни единой глазом видной сориночки не было во дворах, ни пятнышка крошечного во всей громадной избе ни у кого. Видно, очень голодными и злыми стали гнойные бесы, поскольку еще в одном доме за одну ночь глаза у мужика загноились, а на щеке вздулась синюшная язва. Взывли бабы, царапая лица, кинулись к иконам.

Соседи разговаривали друг с другом не иначе, как через забор. Трижды осеняя крестом.

— Аньтя-вотянка ему в гоины-те беса посадила, ейные дела опеть! Мужик как телок идет, бес его за гоило-то схватит, лижет да ведет, бес-от, которой у Аньки под титьками сидит. И все, нету мужика. Сам сгниет, и семья вся сгниет, всех бесовье изведет. Ничё мужик против Аньти не может, ничё.

Уже две избы стояли с запертыми изнутри и подпертыми снаружи воротами. Ребятам наказали стеречь, не вышел бы кто оттуда. Вышедшего, жердями толкая в спину, загоняли за ограду. Бабы выли.

Аньтя баб деревенских боялась смертельно. Ее не раз пытались изловить, но она, завидев бабий подол, скрывалась в лесу. И бес из-под ее подола заманивал все новые жертвы.

— Ну, давай, натягивай порты-те, ете вот возьми. Подвяжи, вот лямка... нет, порвалась, вот поясок витой. Вожжи, погодика, достану, крепкие для стерьвы, чтоб не вырвалась. Шапку суконную на, да косу-то прячь, заталкивай. Да тихонько идите, не борзя... Господи, прости и оборони.

Она с соседской девкой, здоровенной Настасьей, переделались в мужицкое, благословились у баушки и вывели за ворота

лошадку, запряженную в волокушу. В лес, мо, по веники. В лесу пришлось и веников нарубить, и ягод собирать, чё, не даром же в небо глядеть. Уже под вечер стороживший возле деревни Иванов мальчонка прибежал и сказал, что идите, мол. Тамока она, опеть заголяется.

Аньтю подманили, сбили с ног, оглушили поленом. Голые грязные ноги привязали к двум гибким сильным березам. Отвернулись, пали на колени и отпустили вожжи, пригибавшие вершины берез. Со свистом-шелестом взвились березы... Не успели Аньтю в жены вогулу сосватать, а то и жизнь бы прожила в уважении, почете, разодетая в рысиные шкуры и увешанная серебряными монетами. Девки, не оглядываясь на разорванную надвое Аньтю и беспрерывно крестясь, побрели в деревню.

Солнце уходило за темные елки, падало за белые березы. И тихо-то так было в лесу, ни шумочка, ни ветерочка... Только лошадка всхрапнет иной раз.

— Оня, чё за дым-от над деревнёй?

Полетели без ума, глаз не сводя с дымового столба, вздымавшегося над логом, в котором пряталась-укрывалась деревня.

Давно сюда русские люди пришли из Новгорода. Чтобы землю пахать, хлеб растить для мужичков, которые лиственницу рубили по Вишере-реке, в дальних землях на восходе. Которые плоты гоняли вниз по Каме и которые обороняли плотогонов. Которые шли торговыми обозами. Исть-то всем надо. Пришли и крешенные, и те, на ком креста не было. И болели, и поумирали многие.

Народ свежий пришел, нахватался вотяцких болячек. Вотяки-то с ними сжились, с болячками своими, эти застарелые яды

были давно уже уравновешены и обезврежены разными вотяцкими снадобьями. Были у местного народа старинные моленные болота, на которые они ходили, в грязи купались, молились, очищаясь от корост. Лишенные противовесов, рассчитанных именно на них, болезни на пришельцах вдруг получили свою первоначальную вредность и молниеносно уничтожали людей. До костей иные прогнивали, мясо у их с рук свешивалось, и дух исходил смрадный.

—А-а-а!У-у-у! — треск пожарища. Дым, взметнувшийся к небу. Одна изба уже занялась костром, из-под крыши другой валил дым белесый, с черными и огненными струями.

— Гнойных палят, палят! О-ё-ё! От бесов спасают!

СПАСЕНИЕ ОГНЕННОЕ

В вере токо и спаслся, — так старики потом долго сказывали. Пришел старец, странник, которому дано было бесов видеть. Как ровно свечку в темноте зажег, таково мудро сказывал. Про Бога истинного и Сатану. Про Антихриста, который в миру между людей живет. Про бесов, слуг его. «Отриньте антихристов мир, огородитесь от бесов мирских, так спасётесь».

Народ с иконами высыпал на улицу. Единая многоголосая молитва, моление о спасеньи, возносилась к небу.

И таково грозно старец глядел на иных в язвах, грозные речи держал. Блудом, мо, ты наказан. За игрища бесовския. Во как. Не носи мира в дом свой, бо грязен мир, опоганен бесовской породой. Очищай, мо, и тело, и душу, и одежду, и посуду твою

очищай от скверны. Молись! И беса ни в чем не допущай. С язычником есть рядом не садися, за руку не держися, ни в чем его не касайся, бо попран бесами всякий язычник. А кто не станёт себя от бесов ограждать, тот страшной смертью умрет. Ад ему бесы на земле сделают. И бесы от их на других напрыгают, язвой люди покроются, вонью изойдут. Вот какие смрадные зловредные бесы. И того, кто с язычником хоть бы рукой касается, ни разговора, ни дружбы не веди, ни родства.

И уверовали все, спасаться стали. Взятых бесом велел странник огненным спасеньем спасать, очищать, давать жизнь небесную вместо вечных мук. Горели избы, иной и сам в срубе сжигался, завидя язвы на теле своем и страшась заживо гнить. Учил странник плоть унимать, блуда бояться.

И про жизнь много сказывал, котора после нас на земле станёт. Мо, Антихрист шибко много силы заберет. Вовсе людям на шею сядёт. И ради антихристовых утех всё-то всё люди отдадут, нажитое и накопленное. И детей продавать станут, таково сладок станёт имя антихрист. А тот, изверг рода человеческого, на всю-то землю сеть накинёт. И под сетью люди жить станут. И тада настанёт конец дней и Божий Суд.

Суров был, суров, царствие ему небесное. Изгнал вотянок, взятых в жены, как нехристи оне и все бесом попранные. Из конца в конец деревню обошел не одинова. Все бесовье видел, и на теле, и в душе. Кто веру праведную принял, стал хрестьянин, тот спасся. Остальные поумирави — все. Все как есть на грязь изошли.

— Сказывал, страшитесь злобы в сердце своем. По злому-то языку бес, как ровно по дорожке, прямо в сердце уходит

и тамока и живет. Изгоняйте тово беса, молитесь, розно и купно.

Громадными свечами, молением о спасеньи полыхали избы с гнойными, бесом попранными. Все стройнее, мощнее звучала возносимая к Спасителю молитва.

Наказывал старец, чтобы каждый бесов на другом выглядывал. Сам-от человек, мо, не видит. Дак многие видеть наловчились. Спаситись захочешь — наловчишься. И на онфимовых девках бесов разглядели все до единого.

Оня с Настасьей без сил повалились на землю. Просили у Бога спасения и очищения и для упокоенных, и для себя, и для детей своих, и еще за семь колен тех, кто вслед идет.

Прожив долгую жизнь, Оня сказывала внучкам: «Тятя наш с соседом Иваном из-за земли возле Березовки-речки не поладили. Один говорит: ты на мое заступил, другой говорит: ты. Дак на Николу майского така гроза пришла, така гроза, матушка моя, царица небесная! Такова гроза ночью была, таково ливень лил, мы такова ливеня не видали. И всю ихну землю, об которой был промеж их такой лай, всю-то всю смыло! Как ровно ножом вырезало. Мы к им подступили, мол, из-за лаю вашего всю деревню смоёт. Оне часовню построили и тамока три дни пели согласно и молилися. И мама сказывала, на утро третьёва дня ихные бесы из их выскочили, упали возле часовни, да и издохли, да и усохли, вовсё в пыль. Во как!».

Минует ли их самих, их детей такое спасенье — а огненный ужас из глаз в глаза перейдет далеким потомкам, незнамо чем передадут, незнамо как... И ужас перед мирской грязью, и надежность веры, только их веры, единственно спасительной,

от которой нельзя ни на шаг отступить, ни на миг отказаться. Тут же бес схватит и погрузит в ад земной. Это все из глаз в глаза, в глубину душ, на многие-многие века...

Вот так в каждой маленькой деревне история творила величайший и жесточайший отбор — шаг второй. Смертельная опасность общения с язычниками. Мужики вятские-новгородские, прекрасные вояки, не пошли путем уничтожения язычников. Выбор людей — коллективный разум, самосовершенствование и огненное самоочищение. Принятие православия как спасения. Создание нового образа жизни. Спасенье огненное — тот плавильный котел, в котором выплавлялся новый народ.

ЖАТВА

...Дымком тянуло вдоль улиц, смертной пахло тоской... Вотяки попрятались, иные и вовсе съехали в дальние деревни. Гарей в деревне было несколько. Иные свежи, а иные уже затынулись травой козелком да воздушными венчиками пиканов.

Но довлеет дневи злоба его... В семье мельника между тем опять случился прибыльок. Привел глава семейства еще одного зятя. Младшей дочери было лет с десяток, не боле. Но мужик-работник нужен был отцу ее, хоть тресни. Еще одного парня из ушкуйников сманил. Ну и чё, мол, что девка малолетка. Еще через лета три уже баба. А покуда телку попользуешь, чё тебе, али привыкать? Но, видно, телка меньше привлекала нового зятя, чем свояченица, жена Тура. И одинова попытался он зажать в темном углу свою новую родственницу. Онька и сама не слаба,

и орать мастерица. Ну, что, прибежал Василей, звезданул свояку в ухо, а жену потаскал за косу. Мельник в молодые дела не лез. Баба поорала, ну дак муж жену учит, так и положено, что тут особенного? Новому зятю изладили домовину, отпели и зарыли. Делов-то. Тут рожь подошла!

— Рожь? — удивляется Эльдэнэ. Сходил на поле. Картина поспевающей ржи покорила его сердце, так же точно ржаное поле сотни лет будет пленять поэтов и художников. От легкого теплого ветерка шли по полю золотисто-зеленые с сизым отливом волны, лениво плыла легкая облачная тень.

Поспела в лесах малина, значит, пора рожь жать. Пошла жатва. К жатве тут подготовились, как хорошее войско к битве. В работе все до единого. Погода стояла добрая, жара, но с ветерочком. Как стебель пожелтел, иссоломился, тут рожь в снопы, да свозят на ригу, сушат в продувном сарае и молотят. Первый же умолот хозяин пустил на брашно. Мужики ушли пахать, после ржи они еще репу сеяли. А бабы забегали вовсю. Поскольку от Эльдэнэ прока на пашне не было никакого, отправили к бабам.

В громадном сарае стопой до потолка стояли неглубокие дощаные лотки. На дне лотков доски положены неплотно, с широкими щелями. Рожь на ночь водой замочили, в лотках постелили чистое полотно. Сыпали на него рожь слоем в ладонь, сверху еще полотно мокрое застелили, половиками закрыли. Лотками весь сарай заставили и закрыли дверь. Сарай без окон, отметил Эльдэнэ. Его приставили ночью сарай отворять и сидеть караулить. Хозяйка приходила, тряпки собирала, носила на ключик мочить. Застилала снова. Поутру сарай запырили.

Через недельку вся рожь проросла белесыми нитками побегов и корней. Хозяин с хозяйкой попробовали эту дернину, одобрили. Куснул и Эльдэнэ. Сладко. Эльдэнэ приставили к бабам дернину растеребивать и в корчаги складывать. Корчаги волокли и уставляли в вытопленной печи. Ночь так простояло, на горячую печку вывалили сушить. Опять пробуем. Еще слаше стало. Коричневое стало.

Поехали на пасеку за медом. Время у мельника выдалось, надо Туню пасеку показать. Зачем взяли и Эльдэнэ, он вначале не понял. Поехали в телеге. Пока дорога шла маленько под горку, хозяин-мельник неторопливо, как все, что он делал, вел с новым зятем разговор. Надо ж как-то человека жить учить в семье. То делай, этого не делай, обыкновенная такая речь. А отец-то у него, у мельника, старый уже совсем, оказалось. Нет, с пчелами управляется, но умом, видно, того, тронулся от старости.

— Говорит даве: «Чудь ко мне ходит». — «Кака така чудь?» — «А вот ведется, говорят, тутока в лесах мелкой такой народец, нам дак по колено. Чудные таке, смешные, ну дак и зовут их — чудь». — «Да это все вотяцкие рассказы. Их только слушай, оне наговорят!» А тятя далее сказыват так: «Сел, мо, я на пенек на краю пасеки, на другой пенек кусок хлеба с медом положил. Вдруг у меня за спиной медведь как заревет! Я вскинулся — а тамока никого. И, слушай, хлеба не стало. И не одинова так-то». И он теперя етем чудам по краю-то пасеки куски хлеба с медом раскладывает, оне берут.

— Да, может, медведь берет!

— Медведь, коли придет, он всю пасеку возьмет, с тобой вместе. Дак от его самого, от медведя-то, сказыват, тятю теперя

чуды обороняют. Медведище, мол, попер одинова, вовсе уж на пасеку пришел. А у его за спиной раненый заяц будто заплакал. И тот убрел. А заяц все дальше ревет да стонет. Медведь за им, за зайцем-то — и убрел от пасеки. Вот чё сказыват. Не знаю, правда, не знаю, нет. Может, уж от старости тронулся, кто вот знат. Немца оставим, пусть приглядит. Прибежит, если чё.

Дорога вышла на длинный тягун. Жалея лошадку, мельник с телеги слез, остальные за ним. Разговор на том закончился. Нисколько не мечтал Эльдэнэ оставаться на глухой лесной пасеке. Его из деревни-то тянуло в Котельнич сбежать, но вот чего не случилось — того не случилось. А насчет пасеки — поглядим, он ведь тут человек свободный.

Старик, седой, громадный, встретил приветливо. Эльдэнэ уже перестал удивляться старикам. В те времена век человеческий заканчивался годам к сорока. Старцы только по монастырям были известны. Жившие дольше других, они помнили то, чего не помнил никто, и почитаемы были уже за одно за это. В деревнях Вятской общины старики были в каждой избе. Они, что удивительно, не робили, как все, на пахоте или косьбе — нет! Они учили грамоте малолеток. Они нагружали телеги громадными книгами и ехали в соседнюю деревню, где их встречали такими же объемами книжной премудрости. «Пря о вере» — вот что это было. В начале лета, в теплые, долгие дни раннего лета. А в короткие летние ночи — ну, что сказать, иной раз и грех творили долгобородые. Радость желания не покидала их до конца дней, на ее огонек, как на свет свечи, слетались вдовье бабоньки, зачиная и рожая. Святых в той земле не было, а и не может быть ничего безгрешного на грешной земле...

Благодаря Богу, уже свежий мед нагнал нынче, взяток хороший. Пошли грузить липовые бочки с мёдом. Эльдэнэ помахал рукавами перед одним ульем. Пчелы свое дело сделали, морда опухла, Эльдэнэ завопил. Ну, как его оставишь? Пришлось обратно взять. Он плелся позади груженной телеги, скулил. Мельник шел, держа лошадь под уздцы, крепко недовольный. Не нужен был ему Эльдэнэ. Ничё ни к чему. Неработь какая-то. Тут ведь робят все, в полную силу, от темна до темна. «Чертоломают оне», — так говорят про это вотяки. У Эльдэнэ уже язык на плече, а толку от него — нисколь.

У мельника уж и брашно готово: и высушили, и смололи. Успели допреж всех. Потянулись возы с соложённым зерном на мельницу. Мешками народ волокет. Да всё мужики громадные, двужилные. И Василей привез свои мешки, бегом таскал по два.

После тяжелой работы на мельнице Тур сказал, что надо «насаду сымать». Баню выгопили, сам хозяин пошел первый. Под кулаками зятя он орал так, что прибежали из вотяцкой деревни, спросить, что такое, своих духов злых, «чомор», вы гоняете, что ли. Так и повелось это название: «чомор драть». На другое утро мельник зятя хвалил, другие мужики напрашиваться начали.

Хозяйка в том же сарае в корчагах брагу медовую завела-заквасила. Весь сарай горшками устала. И вотяки в соседней деревне забегали, дрова таскают, праздник у их готовится. Неужто всю брагу им? За просто так, что ли?

Недели за две брага поспела. Ее и впрямь повезли к вотякам. Хозяин вел под уздцы смиренную кобылку, а Эльдэнэ было велено идти сзади и глядеть.

— Небольша у их деревня. Сёпож, так называется. Все вотяки. А спросишь: ты, мол, вотяк али нет, дак говорят — нет, мол, русский. А мы дак знаем, что оне вотяки. Оне, слышко, одёжу стирать не толкуют, нашто, мол? Вотяк Кузяка Мышин сын Ветышева с сыном Кузянком, Кузянко женат. Русску девку взял, из погорелых. Имя молоньёй дом-от чисто весь розбило, мужики ушли в слободы скорняжить, бабка умерла, а девок в вотяцки деревни замуж с ревом да роздали. Им, вотякам-то, наших девок шибко надо. Чем девка ростом больше, тем имя краше. И наша девка не гулят, робит. Ихные вотянки шибко гулящи. Вон там подале вотяк Занбека с братом с Келдычком. Истобна деревня, так оне сказывают. Оне в шалашах жили ране-то, под корой да дерниной. Избам-то удивляются ишо. Сам-от Кузин слепородый, а брат — тот однем глазом видит. И сестра ишо есть. Робят у ей четвёро, незнамо от кого. Кто придет, тот ей и муж. Оне все так ране-то жили, сказывают. Только на вотке разжилися, изоб настроили. Рядом вотяк Еречива Гандов с детьми с Тутайтом да Тутайком, молодые ишо парни, неженатыё.

Привезли в деревню, подъехали к избе особенной — на отшибе изба. Печь в той избе — в пол-избы. Брагу отдали просто так. Горшки с брагой поставили и ушли. Ничего не взяли с вотяков. Принимала горшки баба-вотянка, сказывала своим мужикам, как в печь ставить. Потом полезла в печь сама, давай тамока возиться, что-то закрывая.

— У ей всегда вотка хорошая выходит. Пьяная, зельё бесовскоё. Ейные братовья сразу как хлебнут, так свалятся. И потом спят на завалинке. А она песни поет и пляшет, бес в ей гуляёт, радуётся. Чё имя, вотякам. Нехристи. Оне беса своёго етой

воткой тешат. Напьются, дак у беса настоящее игришѐ. Пляшет, хохочѐт, это ему глянется, бесу-то. Кому ведь чѐ. Ее, вотку, сказывали нам, куда-то шибко далеко увозят, к таким жѐ, как вотяки, к нехристям, оне тоже всяки бесовски игрища творят. А наше дело како? Кому чѐ.

Через пару дней вотяцкая деревня праздновала. Вотка удалась на славу, мужики, хлебнув глоток-другой, принимались плясать и петь песни. Пели и слепые, и зрячие, плясали и на двух ногах, и на одной, махая порой короткими огузками вместо пальцев.

Но самое удивительное, что на вотяцкий праздник приехали купцы. По виду — новгородцы. Ходили от избы к избе, глядели внимательно. Подлетели телеги, глянь, на них грузят узкогорлые кувшины, крышкой накрытые, край воском залеплен, да — не шуточное дело — печатью каждый кувшин запечатали. Вотякам ничего не дали. А им и не надо: вся деревня поет и пляшет. Мельник снял шапку и перекрестился. Слава тебе, господи, сработали вотку, теперя можно и дух перевести.

Эльдэнэ, наклоняясь, понюхал лежавшего уже в сонном забытьи вотяцкого мужика. Тот же резкий, ни на что другое не походивший запах, что и у шамана! Нашел же он, нашел место, где рождается дух ветра, зажигающий воду. То, за что шаманы отдают серебро, — вотка. Здесь это зовется так. Новгородцы называют это воткой, то есть вотяцким напитком. А вотяки не любили само слово «вотяк», обижались, когда их так называли. То ли это как-то по-ихнему обидно звучало, то ли что. И вотку они называли по-своему. Осенний праздник у них именовался коомышь. Они и вотку называли так — коомышь (кумышка).

Лихо устроено! Наши мужики вотку ладить не толкуют. А вотяков обучили вотку гнать, пробовать ее для проверки, получилось ли то, что надо. Но вотяки не умеют делать брашно и не умеют брагу ставить. Брагу получили, вотку изладили, попробовали — и все.

— А к нам хлыновцы сюда и не пушают никого, — пояснял мельник. По Вятке-реке охрана. А на чѐ нам чужие-те? Ни татьбы у нас нету, ни воровства никакого, никакого лихого человека не хаживало. Все друг друга знам. И раз не велено про вотку сказывать, дак мы и не сказывам.

Одинова, мол, приходили люди от самого князя московского. Слух, мол, прошел, здесь люди делают каку-то вотку. Мол, воняет шибко отвратно, а пьянит — сильно. Князь московский знать желает, что за вотка и как ее ладят. Ну, посол, ну, и хитрован нашелся! Шатер богатый раскинул, велел позвать мужиков почище и потолковее. Мельник пришел, крест на том целовал, что вотку сроду не дельвал, а как она делается, не знает. А раз вотка — вотка, вотяцкая то есть, то и спрашивать надо у вотяков. Притащили мужика от вотяков. Слушай, вотяк, расскажи-ка-нам, как вы вотку делаете. Ну, тот себя и представил, ну и назагилбал ... Семь верст до небес, короче говоря, в самом ярком своем виде. И духи предков все как один, и шука рогатая, и дух ветра, зажигающий воду. Но никакую вотку он знать не знает. И вообще он — не вотяк!

Ну, ладно, спросим хитро: а за что купцы товару разного вам дают, а? Принеси это!

Вотяк притащил корчагу квашеной ссяки. Гости понюхали — действительно, воняет так, что с души воротит. С тем и уехали. Уж кто ее там пробовал и что сказал, осталось неизвестно...

Доложили, видно, так, что все про вотку — выдумки.

Приметил Эльдэнэ, однако, что при таком устройстве жизни мужики лесные, охотники, рыболовы, хитрецы и сочинители, как-то себя потеряли. Ну, что... Вотку-то делали бабы-вотянки. Обидно им, мужикам-то, может, было, что баба главнее мужика стала в доме. Она кумышку варит, она ссяку собирает и заквашивает. От нее достаток в доме. Кроме того, вотяцкие девки, рыжие и конопатые, почитались за первых красавиц в вогульских лесах. Чем черёмнее, тем краше. Так что вотянки были нужны и тут, и там. А мужик, получалось, ни тут, ни там. Конечно, теперь вотяки жили гораздо богаче, чем в лесу: избы есть, много красивой одежды. Но рядом стоят избы гораздо больше... Раньше он, мужик-то лесной, сколь ему надо для самоуважения, столь подвигов и насочиняет. А тут что насочиняешь, коли глазом все видеть...

Кому из мужиков это казалось обидным, уходили в лес, и получились из них немирные вотяки, и даже, сказывали в деревне, были от них набег. Набегов вотяцких не очень боялись, поскольку вояки из танцующих были — никакие. И крестителя-странника вовсе не они убили. Не все ведь так было-то, как людям в деревнях сказывали. Те, кто сказывал, тоже свой умысел имел.

— Чё отец Дементей творит?! Давай вотяков спасать! Две деревни покрестил. Те вотку варить не стали, мо, бесов тешить не станём. Нам на чё таки вотяки? Его сколь просили: к вотякам не лезь! Одно свое, идет спасать, и все. Мужики все хрестьяне теперя, дак это делу не во вред, оне как пахали, так и пашут. Живые зато. А вотяки нам надобны такие, как есть. Хоть бы и с бесами. Одне сгнут, други придут. Нам чё? Из Новгорода его изгнали, дак и тутока с им никакого сладу нету.

— Выгнали из Новгорода, да, может, и сана лишили, да и был ли сан? Мало ли чё сказывать! Он ишо сказыват, мол, Бог-от неведомо када на землю придет. А, мол, Анчихрист-от ране его пришел. Полную, мо, власть имат. Везде, мо, этот Анчихрист и слуги его, бесовья-те. И надо, мо, от мира огораживаться, от бесов обороняться. И сам бесов етех видел везде, и других учил.

— Из Хлынова-то он ведь как ушел? Грех, мо, бесовское зелье варить, язычникам возить, ихные блюда — басурманские, и все тако протчее. Все тутока бегал, кричал, мо, греховные у вас тутока прибыля. Бесом добытые. Ему и наказали: иди, мо, отче, и далеко иди. Пушай мужикам наказыват про то, что зельё бесовское. Дак он, вишь чё, за вотяков взялся.

Где сгинул странник и кто к этому причастен, неведомо. Может, даже и хлыновцы пришибли где, чтобы вотяков не крестил. Но за пролитую кровь христианскую на вотяков указали, и в веках еще неоднократно укажут.

Так, значит, размышляет Эльдэнэ, на все про все ушло сколько времени: недели две на уборку и прорашивание. Месяц на брагу, дня три на изготовление вотки. Все. Конец лета, вода в реках мелкая, никто сюда не подойдет. Вотку собрали, сейчас до зимы Камой вполне успеют развезти. И знакомый Эльдэнэ шаман получит вот эту самую вотку. И отдаст серебро.

Тур пахал целыми днями, вздымал пашню могучей сохой. Лошадей менял: уставали лошадки. Поля небольшие, взяты под пашню южные склоны, но подобрано так, чтобы было некруто: вода скатится. После ржина то же поле еще и репу посеяли! Эльдэнэ послали кидать семена, поскольку больше он ни на что не годился. Ни один мешок, легко вздымаемый Онькой, он

не мог даже пошевелить. Мельник еле успевал поворачиваться на мельнице. Онька ворочала мешки наравне с мужиками. Народ тащил и тащил рожь на мельницу.

Дивился Эльдэнэ этому народу мужицкому. Много он где бывал, везде люди разные. Есть и крупный мужик, есть и мелкий, есть побогаче, есть и голытьба. А тут такие все, будто их сквозь сито сеяли и отобрали самый крупняк. Мужики здоровенные, как ровно столбы, бабы такие же. Не иначе как набрали их хитрованы новгородские, насулили жизни хорошей. Про то, откуда пришли, все помалкивали, а кто и забыл, а многие и не знали, как их земли назывались. Если князь какой сидит и называет земли своими, так это еще не значит, что простые смерды ведали, что их земля называется такое-то княжество. Как реки, речки, озера и деревни называются — это помнили, порой переносили с собой сюда. А так, чтобы князя своего помнить — да на что он им сдался, князь-то? Хоть что он себе думай.

Мельников тятя, сказывали, сюда уж вовсе под зиму пришел. А зима ранняя пала в тот год, да сразу с морозом. Так он медвежью берлогу нашел, заколол ли копьём медведя, руками ли придушил, токо в этой берлоге и зимовал, шкурой укрываясь. Сколь-то сухари были, да медвежье мясо. Вот такие мужички тут живали. Но что интересно, никуда тот мужик даже ночевать проситься не стал. Тут никто никого чужого Христа ради не пустит. Нищих да убогих не видать. Не жалостливый народец, нет. И его, Эльдэнэ, турнут по осени взашей. Ну, вроде как, иди, парень, нам тебя зиму не прокормить. Ты корму не оправдывашь! Так мельник и ворчал время от времени. Пора было уходить.

ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИТСЯ?

Вопрос: куда уходить? Тут, в деревне, он много понял, нашел самое главное: кто вотку делает, кто ее берет. Где-то должно быть такое поселение купеческое, где вся ихняя головка. Где все это собирают, отправляют и расчет ведут. Уж раз он тут оказался, надобно до самого основания все разузнать. До зимы далеко, кое-что успеем. А под зиму в Москву бы надо отправляться. Тоже еще вопрос: как? Ну, Бог даст день, даст и пищу. Уйти? В колебаниях Эльдэнэ провел несколько дней, но тут опять случай подвернулся прямо под ногу.

Рожь посеяли, Тур решил заглянуть в Слободской посад, чё тамока ноне деется, какой расклад. А заодно подороже продать хорошего жеребчика. В деревенском деле трудно с жеребчиком: норовист, горяч. Нужны смиренные кобылки да меринь. Жеребец нужен был только кобылу обгулять. За лето в ночных кобылки обгулялись, жеребчика лишнего можно и продать. В Слободах, мол, именно жеребчиков ценят. За резвость. В тройки запрягать. Так говорили промеж собой Тур и мельник. Эльдэнэ Тур забрал с собой. Проку от него в деревне все равно никакого, чем тут проедаться, пусть в слободах поробит. А и там толку не окажется — да и ну его! Пусть к Ряпе идет, если тот живой еще.

Уже совсем было и ехать собрались, да задержка вышла. Прибежала соседка Федосья с криками и плачем. Вотяк, мол, на ихних воротах повесился, мужики, помогите, ворота надо срубить и утащить. Тунь выдупился недоуменно, мельник сплюнул со злости, но пошел. Сено завозили, ворота стояли настезь, вотяк уловил момент, прибежал и на перекладине

повесился. Чё повесился — кто его, вотяка, знат. Вотяк, если на наших обидится, придет и на воротах повесится, чтобы обидчику навредить. Он ведь как думает, вотяк-то? Раз меня обидели, повешуся, стану заложной покойник. Не живой, не мертвой. Буду возле вас бродить невидимо. Вот уж тогда наплачетесь, уж я вам покажу!

Никто из соседей не помнил, какое слово и кому из вотяков обидным показалось. У нас така речь, у их друга, иной раз вовсё ничё ни к чему пообидятся, озлятся. Может, кто чё и сказанул: Вотяш, чё хромаш — глаз болит?, — дак мы и про себя чё только не сказывам, и чё, разе кто на воротах повесился, как етот вотяк? И кода успел, ворота сроду поло не дярживали... Ворота пришлось срубить, четвёро мужиков перкладину вместе с болтающимся на ней худеньким вотяцким мужичком уволокли к его деревне и поставили возле.

Тронулись в Слободу. Мельник поехал вместе с ними, говорит, зайдём тут по делам в Караулы. По дороге заехали в татарскую деревню Караулы. И хоть бы тебе чего, выбежали татарские мужики, одетые, как наши, только рожи татарские. Вытащили тюки чего-то, набросали на телегу, рядом закрыли. Мельник ушел в юрту, стоящую рядом с избой. Тунь не снисходил до разговоров со своим никудышным помощником.

Эльдэнэ недоумевал: что такое могли давать русским татары? Везде и всюду на русских землях они только брали. Уж он приглядывался-приглядывался — ничего понять невозможно. Похоже на сапоги из кошмы, татарские сапоги. Так стопой и сложены. Но где подошва видна — огромная подошва-то, на кого такие сапоги ладят? Накидали еще в рогожном куле солонины —

ободранные туши бараньи. Мельник вышел из юрты, никто из татар его не схватил, никто кланяться не заставлял. Татарове ему до подмышки. Зашел поговорить, поговорил и вышел. Татарчонок привел за рога упирающегося барана. Накинул мельник барану веревку на рога и пошел себе обратно, наказав Туню на телегу не садиться, а идти рядом. Ноги-те не сомнешь!

Два дни так и шли. Дорога торная везде, мостки излажены крепкие. Деревни попадаютя справные, нищих не видать. Все по-над прудом стоит деревня. Под северным угором. Дома большие, с хозяйством. Поля — где уж озими всходят, где репа зеленеет, после ржи посеяна. Два урожая, видно, снимут! И нигде никакого княжеского указчика, ни усадьбы господской. Невиданная удивительная земля...

А вот пошли посадки Слободы. Татарскую кошму велено было Эльдэнэ оттащить в сарай, мужичок товар принял, сразу же развязал и крикнул помощника. Тунь коротко переговорил с мужичком, тот кивнул. Так Тунь отделался от Эльдэнэ и сделал это с видимым облегчением. Он и не подумал как-либо его известить о дальнейшей участи. Взял вожжи в руки и неторопливо пошел за телегой.

Легкого хлеба Эльдэнэ у нового хозяина не заработал. По целым дням пришлось одну за другой топить печи. В те громадные мягкие сапоги из кошмы, которые привезли от татарина, нужно было засунуть деревянные колодки, загнуть голенища, потом в горячей воде намочить да намять и поставить в жаркую печь. Как печь остынет, доставай, колодку вынимай, ставь рядом. Кошма сселась, стал сапог твердый, зовется — валенец! Самые мягкие, тонкие валенцы называются чесанцы. Их-то

и предпочитали татары. Они сами делали войлочную основу из мягкой шерсти ягнят, а уж допаривали в печах — русские. Татары этому так и не научились. Эльдэнэ дивился вятской придумке, теплой, прочной и удобной. Но не для того он сюда пришел, чтобы по целым дням гнуть спину у проклятущих печей.

Через несколько дней мельник явился снова. Заглянул в сарай, спросил хозяина. Катель ополоснул и вытер руки, подошел с вежливым поклоном. Тут вообще все делалось спокойно. Такой народ. И башку снесут — спокойно. Катель отдал мельнику валенцы, тот примерил, ногой потопал, развязал кошель. Как в деревне пели:

Во кармане казна шевелица, ой, шевелица,
На рёбрушки становица, ой, становица...

Расчет велся, как издали приметил Эльдэнэ, чем-то вроде ордынской кожаной деньги, но больше величиною. Мелькнул рисунок. Лук натянутый со стрелой. Деньга не ордынская.

Потом мельник о чем-то спросил каталя, тот задрал бородавку и почесал под ней. У русских это обозначает крайнюю степень задумчивости, причем деловой задумчивости. Если случается неожиданная неприятность — русский чешет затылок. Если соображает, не дурят ли его, чешет висок. Если дурит сам, трет под носом. Если не знает ответа, теребит ухо. Глаз у Эльдэнэ был на это дело наметан. Катель получил деловое предложение. Показал мельнику три пальца. Теперь уже тот начал чесать под бородой. Потом показал два. Значит, мельник что-то покупал.

Разговор выдался долгий. То один, то другой чесал висок, ухо теребил, а то и тер под носом. Наконец, ударили по рукам, мельник развязал кошель. Но все еще было непонятно, что он приобрел. Отсчитал несколько серебряных монеток. Катель подошел к бойкому мужичку-помощнику, коротко переговорил с ним, и тот ушел с мельником. Ну, дело ясное. Мастера он взял. За науку нужно платить. Видно, станет этот мужичок приймаком у мельника. Нет, не рабом. Для догляда за рабами время нужно, некому тут за рабами доглядать. Выгода шибче кнута. Тут единственный кнут — выгода. Так себе объяснил Эльдэнэ все виденное.

Собственно говоря, все, зачем его посылали, Эльдэнэ узнал. Да-а, вот тебе и медвежий угол! Было зачем хитрованам новгородским ставить Котельнич и Хлынов. Было зачем страх наводить на соседей — и владимирцев, и устюжан, и ордынцев. Пуше зеницы ока берегли здесь житницу, вятское междуречье, где делали брашно, где ладили вотку. Здесь отсиживались, здесь отлеживались, отъедались и запасались в дорогу. Речная ли дорога али пешая, исть все хотят.

Головка этого дела — в вятских Слободах, но где и кто — неизвестно. Будешь узнавать — башку точно потеряешь. Жизнь в Слободах кипит бурная, народу бегают множество, шагом тут не ходят. Стоит громадный ям, с обширными конюшнями, избами ямщицкими окружен. И нет тем ямщикам простою. Телеги с поклажей тройками запрягают. Тракт на Кай-городок, дорога торная. Во-от, где вотку везут, на Кай. Ну, точно же! Кай стоит на Каме! И, делая огромную петлю, Кама обходит все вогульские земли.

Вот этим путем серебро собирается, а потом с воинскими отрядами через Искор уходит Колвой, потом через волок небольшой заворачивает на Устюг! И мастерами устюжанскими серебро в цене даже прибывает!

А возле Кая, кстати, издавна всем известные выходы соли, старинные солончаки. Не туда ли и зазывали Асыку? Кто зазывал и зачем теперь Эльдэнэ почти понятно. Поднять Асыку, оборудовать — и будет собственная внутренняя охрана для пермских земель. Эльдэнэ не суждено было узнать, что косатый вогульский богатырь Асыка угодит в русскую историю и оставит в ней длинный кровавый след. При поддержке Вятки Асыка не один десяток лет будет воевать с отрядами московских князей. Его войско осадило Чердынь, сожгло Покчу и разорило окрестности. Летописи полны сообщениями о том, как «безвернии вогуличи и хищные вятичи» напали на Пермь Великую и убили пермского епископа Питирима, пришедшего «крестити ко святой вере чердынцев».

«Микаила» попытаются сделать московским противником Асыке, в историю он войдет под именем Михаила Великопермского. Ему случалось переметываться на сторону сородичей, путаным был его исторический путь, вогульский дух «Микаила» то и дело протестовал против его же деяний. В сражении у Покчи он погибнет. Уничтожив Асыку, Москва неоднократно пыталась найти надежного правителя Перми среди местного населения, но это были неудачные попытки.

В общем, не повезло вогулам, самым сильным, метким и богатым жителям Великого Леса. Так уж получилось, что

никто не смог им сказать Слово. Их пытались насильственно крестить, их грабили, и они нападали дерзко и жестоко на городки русских первопоселенцев. С ними долго воевали, и к теперешнему времени вогулы в наших местах почти совсем перевелись.

В Раздерихинском овраге близ Вятки нашел свой конец лихой ушкуйник Анфал Никитин. Устюг, Вятка, Сарай, Пермь, опять Вятка — Раздерихинский овраг... Он остался в истории оболганным как многократный переветник. Свой внутренний сепаратизм новгородцы победили, но такие победы называют пирровыми. Ослабив Вятку, они впоследствии потеряли ее.

И земли Вятской общины Эльдэнэ прошел. Нужно возвращаться в Москву. Здесь он никому не нужен. Здесь все мастера — от каталя до разбойника. Он, мастер-соглядатай, тут никому не был нужен, даже неинтересен.

И так захотелось ему жить своим домом в деревне понад прудом, землю вздымать сохою, рожь сеять, ставить избы, ладить пруды и мельницы, изробриться и умереть на широкой лавке. И никакого на тебя, ёшкин корень, хозяина нету, только Бог.

Или можно к вотякам податься, гнать кумышку, плясать и петь во всю пьяную мочь веселые песни. Хорошо пляшут вотячки, и собой, черёмные, сладки.

А нето к купцам пойти. Зимой мчаться на санях по заледенелой и заснеженной реке, выглядывая врага за ближайшим поворотом. Проскочить-пролететь к Двине на шибких вятских тройках!

Скорее всего, извечник пойдет в Москву. Дойдет ли? Не этот, так другой дойдет. Кое-что Москва явно будет знать, но многое, очень многое останется неизвестным. Вятка во многом легла белым пятном в истории России. Главным богатством Вятки был ее удивительный народ. Вятка после московского нашествия взорвалась, как громадной мощи сверхновая звезда, о существовании которой судят по следам этого взрыва...



Блава на земах

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ

Думаю, что именно матушка наша Вятка в средние века была столицей пермских «колоний» Великого Новгорода, военно-административным центром и продовольственной базой.

После того как пала Вятка, очевидно, прекратился обмен кумышки на серебро, и Новгород испытал «серебряный голод». Пермские городки Искор и Покча были взяты относительно небольшим московским отрядом, пришедшим с Устюга по Весляне.

Лишенный серебряного тыла Новгород Великий был разгромлен тем же Василием III в 1478 году.

Конечно, после падения Вятки жизнь всех, населяющих вятские земли, должна была резко измениться. Ушкуйники были изгнаны. Они ушли по Вятке на Волгу, с Волги старым путем на Дон, там возникло донское казачество (гребенцовские казаки), удивительным образом сочетавшее воинственность с хозяйственностью. Это о них — и толстовские «Казаки», и шолоховский «Тихий Дон».

Историческая основа говора гребенцов — северная, в их языке присутствуют севернорусские черты и отсутствуют южнорусские. На Кавказ они пришли с оканьем (хоровод, помочи и пр.), в позднесредневековых склепах Ингушетии Е.И. Крупновым были обнаружены «вятические» подвески. У казаков эталоном настоящего мужчины был отважный, гордый и свободный духом, независимый человек, ощущавший свою особость и превосходство над соседним земледельческим населением. Ни гребенцы, ни кержаки с пришедшими позднее крестьянами практически не роднились. Конец XV века — такова глубина исторической памяти гребенцов, что согласуется с предложенными здесь причинами «исхода» их из вятских земель.

Русский историк и этнограф Евгений Савельев уже в начале XX века отмечал в лексике донских казаков наличие многих слов, несомненно имеющих древненовгородское происхождение. По мнению Савельева, «при движении на Дон новгородцы спустились вниз по этой реке до самого Азова, смешались с другими казацкими общинами и таким образом положили основание Всевеликому Войску Донскому, с его древним вечевым управлением. Казаки-новгородцы на Дону — самый предприимчивый, стойкий в своих убеждениях, даже до упрямства, храбрый и домовитый народ. Казаки этого типа высоки на ногах, рослы, с широкой могучей грудью, белым лицом, большим, прямым хрящеватым носом, с круглым и малым подбородком, с круглой головой и высоким лбом. Волосы на голове от темно-русых до черных; на усах и бороде светлее, волнистые. Казаки этого типа идут в гвардию и артиллерию.

Говор современных новгородцев, в особенности коренных древних поселений, во многом сходен с донским, жителей Первого и Второго Донских округов. Как те, так и другие звук щ не выговаривают, а заменяют его двойным ш, например: ишшо, ишшобы, пешшаный, пешшинка, што (что), пишша и пишта (пища) и проч. Вместо жд всегда почти употребляют ж: Рожество, одежа, надежа (надежда), дож и проч. Вместо к — всегда х, например в словах хрешшение, дохтур и др. Также: скусно, свиток и твиток (цветок), сумлеваться, сусед, укунуться, анагдась, глыбоко, быдто, кружовник, ослобонить, некрут, антиллерия, дака (дай-ка), ухи, польга (польза), слухать, верх и верхи (верхом), молонья (молния), женьшина, болесь, ужась, жись, скупердай, панафида (панихида), трухмал, лясы точить, ну те к ляду, сиверка, сивер, исть (есть) и др.»*.

Новгородцы лучше, чем москвичи, знали древние сказания о начале Руси и ее славных витязях-богатырях. Язык их деловых бумаг, как и у старых донских казаков, чище московского и отличается от последнего как чистотой, так и разнообразием выражений. Новгородцы также занесли на Дон названия: атаман, стан, ватага, ильмень (общее название большого чистого озера) и др. Кроме того, многие донские станицы и хутора носят чисто новгородские названия: Ярыженская (от ярыжки, ярыга — наемные люди и бездельники);

* См.: Савельев Е. Типы донских казаков и особенности их говора. — 1908; Соловьев В. Ф. Особенности говора Новгородского уезда Новгородской губернии. — СПб., 1904.

Багаевская (одноименные села по пути движения древних новгородцев в губерниях Казанской, Вятской и др.); Ведерниковская, ныне переименованная вместе с Бабской в Константиновскую (в губерниях: Вятской, Пермской, Нижегородской, Смоленской и др.); Михалевская, ныне Николаевская, станица (в Псковской губернии 21 селение и 3 деревни); Каргальская — Каргалы на Каме; Гундоровская — села в Архангельской, Вятской и Самарской губ. Хутора и фамилия Черевков — село Черевково Сольвычегодского уезда на Северной Двине, древнее поселение новгородцев-ушкуйников; жители, не знавшие никогда крепостного права, отличаются предприимчивым и энергичным характером. Древний новгородский погост Ягриш Архангельской губернии, близ погоста Верхотоимского, отличается самыми жгучими брюнетками севера. Погост этот упоминается еще в завещании Ивана III. Станица Раздорская, древняя столица донского казачества, также отзывается чем-то новгородским: слово «раздорь» — излюбленное выражение во всех новгородских актах, там постоянные жалобы на «раздоры», т.е. несогласия*.

На ресурсе www.kazarla.ru также цитируют дореволюционных историков. «Казачи-русы в описываемое время заносили Христианство в инородческие пределы путём колонизации и преуспели во всех её видах — вольной, военной, торговой и монастырской. Они контролировали все сколько-нибудь значимые участки русского торгового пути из варяг в греки и его различные ответвления».

* Источник http://www.passion-don.org/history_2/history_2_4.html

Говоря о новгородских казаках, нельзя не упомянуть о хлыновцах. В 1174 году отважные новгородские казаки повольники, или ушкуйники, или самовластцы, пришли на реку Вятку и построили град Хлынов и начали обожительствовать самовластно. Из Хлынова (ныне город Вятка) предпринимали они свои торговые путешествия и военные набеги во все стороны света. В 1361 году они проникли в столицу Золотой Орды Сарайчик и разграбили её, а в 1365 году — за Уральский хребет на берега реки Оби. Предводители этих ватаг именовались ватманами. Основанные повольниками общины по примеру Новгорода управлялись кругом — вечем, где каждый повольник имел равный голос со всеми. Имел город Хлынов и свой вечевой колокол. После разгрома Хлынова в 1489 году Иваном III большая часть его граждан, жаждавших независимости, ушла на Северную Двину, на Каму и вниз по Волге, где обосновались казаки-хлыновцы в районе Жигулёвских гор. Общность новгородских казаков, включая хлыновских ушкуйников, имеет очень много сходств с донскими.

Так, например, духовенство Хлынова, избираемое вечем, как и донское Духовенство, избираемое кругом, было совершенно независимым и от Москвы, и от Новгорода. Московский митрополит Геронтий, современник Ивана III, писал в 1471 году, что он не знает даже, кто там духовенство и где оно рукополагается. Эта особенность духовной жизни народа — выдвижение из своей среды достойных кандидатов в священники — свойственна лишь новгородцам и хлыновцам, донцам, уральцам и терцам. Новгородцы вынудили князя согласиться выбирать архиереев и священников из местных

жителей на вече. В 1360 году сам архиепископ новгородский Евфимий II не подчиняется московскому митрополиту и разрывает на двадцать лет связь с митрополией. В 1384 году новгородцы постановили на вече не подчиняться московскому митрополиту и дела по духовной части решать гражданским вечевым судом. Такова же традиция у донских казаков. В «Заветах Игната» сказано, что священников, не выполнивших волю круга, считать еретиками и изгонять, а за богохульство даже казнить смертью. За хулу на Бога казаки убивали всякого, не считаясь с его чинами, должностями или прежними заслугами. «Заветы Игната» есть свод законов обычного общеказачьего права, соблюдавшегося у всех казаков до времён окончательного вытеснения его законами, данными из Москвы. Кроме того, казачий закон регламентировал возраст поставления в попы. Священником не мог быть человек моложе 50 лет. В духовные отцы казаки избирали человека из своей среды, который прожил уже большую часть своей жизни, причём на виду у соседей-станичников. Избирали для поставления того, кто показал себя храбрым воином, мудрым военачальником, рачительным нестяжательным хозяином, примерным семьянином, уже вырастившие и воспитавшие собственных детей. Если собственные дети его удались, значит, будет добрым наставником для всех. Если сам был храбр в бою, значит, может просить о мужестве своих духовных чад и благословить их «жизнь свою положить за други своя». Если был мудрым заботливым отцом-командиром, к его умному слову с почтением прислушается всякий казак. Если был добрым молитвенником, значит, служба не захиреет, не запустеет

храм. Жаль, что такая замечательная традиция духовной жизни сегодня утрачена русским народом.

Разбойничать на реках казаки-ушкуйники не прекратили, окончательно доконав ордынское население по берегам Итиля. Берега реки стали заселяться русским народом, река Итиль стала великой русской рекой Волгой. Степан Разин, казак, известный наш разбойничек, почему-то остался любимым героем народных сказаний. Он будил в памяти людей что-то забытое, далекое — ту волю вольную, парус над узконосым ушкуем, радость побед...

Вот такая у нас, вятских-пермских людей, замечательная историческая родня.

РОЖЬ, ВОДКА И... КОШКА

Сколько ни искала, не нашла пока ответа на вопрос: была ли на Вятке кошка? На мой взгляд, ответ на такой вопрос важнее отыскания иного великокняжеского договора. Боюсь, что без кошки земледелие в наших местах попросту невозможно из-за огромного количества грызунов. Дом без кошки при первых признаках похолодания населяется мышами от подпола до крыши.

Ответ на этот вопрос могла бы дать... сама кошка. Наш деревенский короткошерстный полосатик не в чести у тех, кто разводит всяческих экзотов. Однако, заглянув в кошачьи энциклопедии, с удивлением угадываешь в деревенском плебее облик древнейшей породы — нубийской кошки! Единственный

вид кошки, которую удалось одомашнить древним египтянам. Даже деревенская архитектура зависит от того, есть кошка или нет. Египетские земледельцы так почитали кошку, что даже обожествили ее. Много веков только нубийская кошка жила с людьми. Торговые корабли развозили ее по миру, но вплоть до XVIII века кошка оставалась дорогим и экзотическим существом.

Могла ли такая кошка попасть на Вятку в средние века? С новгородскими корабелями — могла. На моей памяти деревенская кошка была совершенно диким существом. Она обитала на сеновалах, плодилась, как хотела, сколь добывала корма. Это ведь страшный хищник, и дневной и ночной, универсальный на всякую живую мелочь: мыши, кроты, воробьи, дрозды. Кошки буквально зачищали дом, двор и огород.

Наша нубийская кошка — это тоже исторический след. Привычное — нас не удивляет и значимым не считается.

Не удивительно ли ржаное поле! Ну, а что тут удивительного для современного читателя? Ну, рожь и рожь. Вроде, всегда она была, рожь-то? В том-то и дело, что не всегда.

Рожь — один из четырех великих злаков: пшеница, рис, кукуруза и рожь. Великой рожь именуют за то, что позволила она освоить северные территории, ржаной хлеб кормил строителей уральских и сибирских заводов. Три из великих злаков были окультурены в незапамятные времена, никто не знает их создателей. Создатели культурной озимой ржи и паровой системы земледелия — наши предки, новгородско-вятские крестьяне.

Рожь — плебейка по происхождению, длительное время считавшаяся сорной примесью пшеницы. Рожь выживала в самые неблагоприятные годы, когда основной посев погибал. И черный ржаной хлеб считался хлебом неурожая. В русских государствах рожь сеяли только в новгородских землях, самых холодных, где пшеница зачастую просто не вызревала.

Новгород, всегда обращавший неудобницы природы себе на благо, отличился и тут. Именно на возделывании ржи и вырос великий северный крестьянин — новгородский крестьянин, раньше всех других освоивший так называемую паровую систему земледелия и озимые культуры. В московских землях выращивали только яровые до конца XV века.

Сеемая в середине августа, рожь подымается на осенних дождях и кидает свои корни на глубину до метра, ей уже никакие сорняки нипочем. Рожь справляется даже с таким злодеем полей и огородов, как пырей. Единственный сорняк, который кое-как гнездится на обочине ржаного поля, — это василек. Наверно, захотели бы наши предки известить василек — что-нибудь придумали бы и обязательно бы извели. Но не извели: уж так хороши ржаные поля в васильковом уборе, что издавна прощали васильку его сорнячество и злодеем не считали. А, может, и в васильке была некая польза, неизвестная нами теперь?

Таким образом, рожь является просто идеальной культурой для посева на вновь возделываемых землях. Современные агрономы говорят, что рожь улучшает, окультуривает землю. После ржи хорошо растут овощи, чем пользовались наши предки

уже давным-давно, сея после убранной ржи репу, основную овощную культуру тех времен. Репой питались сами, репой кормили скот. В союзе с рожью репа не занимает дополнительной площади, вырастает как бы между делом.

Рожь, способная расти даже на самых бедных и, что очень важно, закисленных почвах, очень резко увеличивает урожай при внесении навоза. Хочешь иметь хороший урожай — держи скот.

Рожь резко увеличивает урожайность, если посеяна именно тогда, когда нужно. Не раньше и не после. Умирать готовься, а рожь сей — так мужики говорили.

Собрать все зерно до единого зернышка — тоже ума требует. Поскольку рожь в спелом состоянии быстро осыпается, жнут ее в состоянии восковой, т.е. неполной спелости. Если сжать раньше, чем нужно, зерно получится тощее, урожай ниже, всхожесть хуже. Если запоздать — зерно осыплется. Поэтому крепостной крестьянин, отвлекаемый на господскую работу и свое поле обрабатывавший урывками, никогда и не мог взять на ржи хорошего урожая. Убогим, тощим становилось его поле. Что уж говорить про колхозника, вынужденного сев и уборку начинать по команде из райкома партии! Рожь — она для свободного крестьянина. Получать на ржи высокий урожай мог только работающий мастеровитый экономически свободный мужик. Многие секреты возделывания ржи так и оказались утраченными. Например, в современных условиях никто не пытается так собрать рожь, чтобы можно было сеять нынешними семенами — не умеют! Не дает всхожести ржица

крестьянская, да и все. Приходится сеять рожью прошлого года. То есть деньги тратить на хранение семян, оплачивать недоумство свое.

И хлеб ржаной требовал большого мастерства. Клейковина зерна у ржи менее прочная по сравнению с пшеницей, выпечь ржаной хлеб гораздо тяжелее, чем пшеничный. И сейчас хлеб только из ржаной муки не пекут совсем, обязательно добавляют пшеничную. Ржаной хлеб тяжелее переваривается, чем пшеничный, и вкус его многим кажется грубоватым. Но! Не многие продукты развивают у человека столь стойкое привыкание, как ржаной хлеб. Даже если человек ел ржаной хлеб нечасто, изредка. Тоска именно по ржаному хлебу — очень сильный компонент пищевой ностальгии за рубежами России. Ржаной хлеб в иные времена мог быть для человека единственным продуктом питания, он в принципе-то самодостаточен, чего о пшеничном хлебе не скажешь. Пустоватым кажется пшеничный хлеб рядом со ржаным. То, что мы сейчас едим — вообще не хлеб. Это обман зрения и слуха. Современные мельницы бомбят зерно в пыль — чем мельче, тем лучше. А крестьянский хлеб пекли из муки с крестьянской мельницы — зернотерки, лучше сохранявшей в муке исходные биологические структуры. Поэтому в ржаной квашне, видимо, частично происходили те же биохимические процессы, что и в прорастающем зерне ржи. Настоящий ржаной хлеб, биологически активный продукт, сейчас в принципе никто не делает, просто не может. Что-то в этом деле уже изучено (на западе, кстати, не у нас), но, видимо, многое еще предстоит понять.

Рожь, казалось бы, прорастить несложно: она культура озимая, собрал — и знай прорасивай. Вот пшеницу сразу после уборки прорастить невозможно, требуется яровизация, т.е. обработка холодом. Она ж весной всходить должна, пшеницато, а не осенью! (Поэтому и хлеб пшеничный по определению беднее ржаного.) Рожь в этом смысле просто вне конкуренции. Но и тут все не просто. Для того чтобы всхожесть была не через зерно, а полная, нужно рожь парить, т.е. выдержать на солнце несколько дней, а если погода не позволяет, то прогреть на печи. И только потом сей или размачивай и расти на здоровье. И еще, конечно, много чего знали наши предки про это удивительное растение, что уже сейчас забыто.

Так что рожь требует от крестьянина мастерства, ответственности и огромного, поколениями копимого опыта. И определенной зажиточности. Бедняк, не имеющий справногo хозяйства, никогда хорошего урожая не получит.

Роща — это слой пророщенной в темноте ржи, образованный переплетенными корнями и ростками. Будучи высушенной и размолотой, является признанным лучшим сырьем для производства самогона (хлебного вина). Изобретатели водки считали ее языческим, бесовским напитком, использовали только в меновой торговле. Кержаки, презиравшие водку, никогда не пили ее потому, что имели исторический опыт наблюдения за последствиями. Не их вина, что после разгона Вятки водка «ушла в народ», русский народ Центральной России, такого опыта не имевший.

Роща использовалась для изготовления основного крестьянского напитка — кваса, а также употреблялась в пищу, особенно

детьми. Прорастающее зерно, его ростки и корни обогащены биологически активными веществами, современной наукой настоятельно рекомендуются для детского питания, а также для восстановительных диет. Исторический патент на квас из ржаной рощи также принадлежит нашим предкам — крестьянам вятского междуречья. Неблагодарной оказалась человеческая память. Колоссальные достижения вятских крестьян не удивляют нас, кажутся обычными. Наша традиционная крестьянская культура — в небрежении и забвении.

КЕРЖАКИ

А князю московскому удивительно и необходимы были мужики вятские. Настолько необходимы, что после падения Хлынова Василий III множество народу из Вятки переселил под Москву. В результате паровая система земледелия пришла в Подмосковье, резко поднялась урожайность, в целом вятичи принесли оживление сельской жизни. (Эти исторические факты отмечены в трудах В. Похлебкина.)

Был издан ряд указов, касающихся устройства Вятки. Было разрешено свободное заселение вятских земель, началось активное монастырское строительство. И самому крупному монастырю — впоследствии Свято-Трифоновскому — были отданы именно те самые земли, земли вятского междуречья.

Трифон Вятский — основатель монастыря — был деятельным миссионером и активно искоренял язычество во вверенных



Федоровская церковь в г. Вятке (Кирове)

ему землях. Крестьяне стали собственностью монастыря, на них легли основные труды по его строительству.

Следует сказать, что сведений и документов о начальном периоде строительства монастыря крайне мало. Поэтому здесь можно руководствоваться только косвенной информацией. В 30—50-х годах XVI века в вятских городах произошли народные волнения, вызванные непомерными поборами и злоупотреблениями московских наместников. Москва пошла на уступки. Города получили «губные грамоты», устанавливавшие выборное управление. Первую «губную грамоту» получил город Слободской в 1540 году. Остальные города Вятской земли получили их через два года. В 1557 году вместо наместнического правления окончательно была введена земская система. Местное население вновь, как во времена Вятской общины, стало выбирать земских старост, слободчиков, губных голов, таможенных целовальников, сельских старост, сотских и др. Выборные городовые приказчики осуществляли полицейское руководство в городах. Вятка еще долго сохраняла черты средневековой «новгородской Америки».

Прекрасны вятские храмы, не забудем же и неисчислимый труд, вложенный в их строительство. Из песни слов не выкинешь: понуждение к этому труду стало причиной того, что вятские земли после присоединения к Москве на века стали бунташным краем, землей исхода.

Известны указы, касающиеся беглецов с вятских земель. «Бил мне челом игумен Спиридон, что из их сел из монастырских вышли крестьяне сей зимой. И я, князь великий, дал пристава... И где пристав мой их найдет в моих селах

или в слободах, или в боярских селах и слободках, и пристав мой тех их крестьян монастырских опять выведет в их села, да посадит их по старым местам, где кто жил» (Указ Ивана III, 1467—1474, марта 23).

Беглецов велено было сыскивать повсеместно и «принуждать к сельскому труду». Куда бежали? Пустынные тогда пермские края, будущий Оханский уезд Пермской губернии — под боком.

Неуёмные созидатели, они начали искать новые места для поселений. И куда такой мужик ни придет, моментально плотинка насыпана, пруд накоплен. На плотинке — мельница, на пруду — гуси. Изба стоит, коровы с овцами пасутся. И рожь засеяна, и ребята наделаны. Ранее безлюдные или малонаселенные места стали наполняться народом, начали возникать новые житницы. Это юг Вятской губернии за Вяткой-рекой, юг Новгородской губернии, будущий Оханский уезд и земли по реке Ирень в будущем Кунгурском уезде будущей Пермской губернии.

История начертала им путь — тяжелейший. Впереди были триста лет раскола. Века странной тайны, темная пора страшных костров, гонений, яростная полемика, упорное противостояние. Раскол называют великой загадкой русской истории. Петр I с неописуемой яростью преследовал древлеправославие, видя в нем опасность распада государства по линии Москва—Новгород. Император не был религиозным фанатиком, а вот фанатиком сохранения единства православных русских земель он был. Петр I «рубил окно в Европу», на запад. Ненавидевшее «воплощенного Антихриста» старообрядческое крестьянство хлынуло на восток, дойдя до Тихого океана. Непримиримые враги: великий Реформатор

и великий Крестьянин, — повернувшись спиной друг к другу, в неистовом порыве движения развернули Московское княжество до размеров нынешней России.

Из Вятки на восток пошла не просто толпа беглецов. Это была прекрасно оснащенная мирная армия, спаянная внутренним единством. Великим крестьянином одарила история Россию. Крестьянин создал рожь вместе с паровой системой земледелия, вывел породы скота, жилище создал, сохранявшее семью в самые жестокие морозы. Устройство семьи, основы веры как спасенья — крепче цемента связывало людей воедино, делало неуязвимыми перед угрозами внешнего сурового северного мира. Самостояние свое мужик оберегал самым тщательным образом, не допуская крепостного ярма. Именно этот великий крестьянин и освоил Сибирь, научился хозяйствовать там, где раньше плуг не касался земли. Если бы не было сибирского хлеба, не было бы русской Сибири.

Неисчислимы исторические богатства оставили вятские мужики своим наследникам. Вот только видеть и ценить это богатство нас отучили. Все живут люди с головами, отвернутыми на Запад. Там-де и есть все самое ценное. Там-де и живут люди так, как следует жить. Свое-то, свое-то — вот оно, пока есть, а то уж и исчезло с лица земли, непознанным, неоцененным... Обернись, обернись, руку протяни!

Именно кержаки первыми проложили борозду на суровой земле Урала и Сибири, разведали дороги, дали хлеб строителям городов. Сибирь называет их «старожильческим населением», пришедшим в незапамятные времена. Русские крестьяне-первопроходцы нашли места,

пригодные для сельскохозяйственного освоения, продемонстрировали способность выживать в самых тяжелых условиях. И не только выживать, но и «плодиться и размножаться». Уральские и сибирские просторы были заполнены народом.

На всех просторах, занятых старOVERческой диаспорой, соблюдали строжайшую чистоплотность, не допускали чужого в дом, тщательно охраняли источники воды, исключали контакт с грызунами, понимали опасность случайных сексуальных связей. Именно этот карантинный комплекс позволил избежать распространения инфекций при контактах с разнообразными народами, населявшими уральские и сибирские леса. Этот мудрый народ не расчищал себе жизненное пространство уничтожением иноплеменных! Он пошел по пути самосовершенствования.

Этот образ жизни был для кержака естественен, как дыхание, и столь же свят, как образа на божничке. По большей части протонародье одно от другого и не отличало: «Вера наша така», вот и все понимание. Отступление хоть на шагок единый вызывало в душе раскольника некий генетический ужас, предвидение неопишуемой беды, немедленной гибели.

Нам, потомкам кержаков, нужно понять, что ни одна деталь образа жизни этих удивительных крестьян не была случайной, кем-то навязанной. Все родилось в темной глубине веков, все появилось спасения ради, в жесточайших исторических реалиях. Думаю, что там и кроются ответы на загадки старообрядчества, там сокрыта тайна старой мужицкой веры.

Казалось бы, как зеницу ока надо беречь такого крестьянина, трудолюбивого, плодovitого, грамотного, честного. Однако весь исторический путь кержаков — путь гонений. Их образ жизни, их вера, явившаяся для них спасеньем огненным, были оплотом существования, единственно возможным и не подлежащим ни малейшему изменению. Вот их впоследствии и назвали кержаками. Триста лет до раскола выплавлялся кержацкий характер... Все, чем так знаменит раскол, сложилось задолго до раскола. И не в Москве, а в Перми Великой и Вятке.

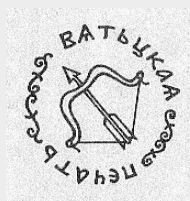
«Первостроителями и первыми жителями Перми были бежавшие с вятских земель крестьяне-старOVERы». Это писал архимандрит Палладий в книге «Обозрение Пермского раскола», вышедшей в 1863 году в Санкт-Петербурге. Никаких симпатий к старOVERам архимандрит Палладий не испытывал, более того, он был видным церковным деятелем, гонителем раскола. Просто в те времена никому в голову не приходило отрицать кровное родство Перми и Вятки, как это делается сейчас.

Расплескался народ вятской общины по всему Поволжью, Уралу и Сибири, таков был исторический процесс. Разные люди выбрали для себя разные дороги. Ушкуйники умчались в гребенские казаки. Часть крестьян пошла осваивать новые земли, сохранив в упрямом кержачестве вятскую вольность. А те, что остались, возвели прекрасные храмы. Основой жизни и тех, кто ушел, и тех, кто остался, стала православная вера — она вошла в их плоть и кровь, в ней они видели свое спасенье.

Удивления достойно то, сколь значимого исторического смысла полны их деяния. Какой мощный след в истории России оставила Вятская «народная держава». Наша древняя столица все там же, что и в средние века. Матушка-Вятка все так же обнимает Прикамье руками-реками... Вятский след на земле — неуничтожим. ...А на Международном фестивале исторических парусников бороздили волну Финского

залива вятские ушкуи

«Анфал» и «Тур»...



СЛЕЗЫ АНШТВЕННИЦЫ

Срубленная лиственница долго-долго,
годами, исторгает из своего тяжелого,
каменно-твердого тела длинную медлен-
ную смолу. Говорят: лиственница плачет...

Смотри, Господи, — вот мы...
Мы уходим на дно памяти.
Научи нас дышать...

Б. Гребенчиков «Русский альбом»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ШТОФИК С ЯДОМ И ТЕЛИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Р Пермской губернии водку не пьют. В Пермской губернии пьют кумышку. Вот во Франции есть коньяк, а в Перми — кумышка. И точно так же, как есть плохой коньяк, бывает и дрянная кумышка. Более того, в деревнях (на свадьбе особенно) можно глотнуть (и одного раза хватит!) кумышку с добавлением и табака, и мухоморов, и даже сушеного куриного помета. Это для экономии, чтоб гостям скорее в голову шибануло. Но если вы попробуете кумышку, очищенную на березовых углях, выдержанную в лиственничном бочонке, настоящую на травах и кедровых орехах, вы скажете: «Ну и пусть во Франции пьют коньяк! У нас есть кумышка!»

Господин Пьер Дюро, оханский уездный пристав, опрокинул стопку кумышки, совсем уж по-русски крякнул и заел впечатление соленым рыжиком.

— Выхлебат, сколь ни поставь. Обык он уже, Дуро-то. А не поставишь — ничё будто не понимает, глядит. Чё ему — немец.

— Не немец. Хранцуз.

— Да все одно — немец.

Как многие обрусевшие иностранцы, Дюро считал, что смотреть на Россию трезвыми глазами невозможно. Оказавшись двадцати лет от роду в русском плену, он, Пьер Дюро, дворянчик с юга Франции, жил в России уже тридцать лет.

Границу России, дабы одержать победу над ее древним деспотизмом, он переступил в должности батальонного командира наполеоновской армии. За ним следовали семнадцать повозок (добыча в Апеннинах), три кареты и две любовницы.

Он знал, что император Наполеон обещал даровать народам России конституцию и благо народа здесь отныне станет высшим законом. Конечно, война есть война, и привычный для народов уклад жизни теперь нарушен, но следующие поколения будут в тысячу раз более счастливыми. Ведь у них будет свобода!

При этом Пьер Дюро и другие французы считали, что за это благодеяние нужно платить хлебом, мясом, фуражом и что это невысокая плата. Но русские крестьяне так не считали. Они ничего не хотели платить за свою свободу, более того, сами охотно грабили богатые армейские обозы. В результате оказалось, что Наполеон покусился как на собственность крестьян (мясо, хлеб, фураж), так и на собственность помещиков, желая этих самых крестьян освободить. И тем, как ни парадоксально, сплотил противника.

Правда, какие-то московские староверы поднесли Наполеону хлеб-соль, мечтая получить равноправие в вере своей, какое он уже даровал протестантам Франции. Но взамен те же староверы вовсе не собирались давать ни мясо, ни хлеб и отбивались от фуражиров точно так же, как и вся прочая Россия.

Под Можайском батальон Дюро наскочил на засаду. Какие-то дикие, лохматые с визгом выскочили из леса, отряд переколотили, захватив все добро. Пьер Дюро лишился и повозок, и карет, и даже любовниц. Слава Богу, жив остался, увидел древнюю столицу Московии. В плен Дюро сдался сам. Когда он мысленным взором обернулся из Москвы назад, ужас объял его. Не помогли и воспоминания о славных битвах под Каиром, у пирамид, при Абукире. Простая, грубая смерть — вот что виделось французам в этом неопишемом пространстве, которое они так быстро оставили за спиной, когда шли к Москве. Наполеон, подобно ящерице, отрывающей хвост, бросил войско, предоставив русским самим решить, что делать с голодной и замерзающей толпой. За свою военную карьеру он это проделывал неоднократно, и хвост неоднократно отрастал.

Пьер Дюро знал, что русские убивают не всех пленных, что выжить можно, а там как знать... Быть может, император еще вернется.

Жительство ему определили в губернском городе с варварским именем Перм. Так в Москве сказали: Перм. В Перми он просидел в губернской канцелярии Министерства внутренних дел до самого указа, даровавшего ему свободу идти на все четыре стороны. У господина Дюро, обремененного к тому времени семьей, в кармане практически не было ни гроша. Ну, куда он тронется

на склоне лет?! Постепенно пришло сознание, что Францию он уже не увидит. Дюро стал попивать. Для выхода в отставку по выслуге его отправили в уездный Оханск приставом. Чего только не бывает в жизни: в Оханске, кондовом староверческом краю, уездный пристав — француз!

Идеалы свободы позвали Дюро в далекую Россию: «колосс на глиняных ногах, народы которого только ждут нашего сигнала». А теперь он жандарм в самом, наверное, медвежьем углу этой России. Даже в Перми ему не было так трудно, как здесь. В Перми он хотя бы думал, что уже знает русский язык... Одно только и примиряло с действительностью: в деревнях возле Оханска жили старухи, мастерицы кумышку гнать. Примешь — и взгляд правильный. Взгляд на все. Ездить ему пришлось по деревням уезда. Обыски проводить. Надо же как-то описать, где был, что видел. Вот и пишет, как народ сказал: «Крестьянин Осип Усталов. Однодворный починок возле села Дебёсы. Изба еловая, облая, перед избой сенцы и клеть на подклете из заплоти. Крыша на самцах с охлупнем, причелины зашиты топорным тесом. Им же в одну тесицу крыта изба, а двор крыт скальем». Ну? Правильно, хлебнешь кумышки и все понятно. Еловая изба, облая. А какой ей еще быть-то?!

На Осипа Усталова приходил с жалобой житель соседней деревни Дебёсы Евсей Прокопьев. Уж по осени дело было. Заявил на Осипа, что тот сожительствовал с его, Евсея, телицею и что есть он, Осип, мерзопакостный греховодник. Все лето так творил этот страм, в чем есть свидетели — братовья Евсея. Осип греха не отрицал.

— Робят много, кормить нечем. Своя корова отелилась бычком. Куды пойдёшь? Но телицу я ничем не забижал, а даже иной раз кормил. А платить мне нечем.

Оная телица легкого поведения, осмотренная приставом, твердо стояла на всех ногах и глядела на Осипа кокетливо. Вреда никакого не усматривалось. За что платить?

— Пользовал Осип мою телицу все лето — пусть платит, — заявлял лапотный сутенер.

У бедолаги Осипа Усталова, и верно, изба была бедная, всего одна лошадь да одна корова, а малых ребят трое. Пришлось ему вынести церковную епитимью да сколь-то колотушек от Евсеевых братьев, разозленных тем, что все лето попусту время тратили на их с телицей шашни. Раздобревшую на греховном промысле телицу легкого поведения продали на ярмарке в Оханском, а дело, содержавшее два обыска и три допроса, Дюро закрыл. Вот такая тут, в деревне, служба.

Когда Пьер Дюро в первый раз заехал к староверам, он подумал было, что попал в другую страну. В Перми его сильно пугали этими знаменитыми русскими фанатиками. Он ожидал увидеть тут, ну-у, кого-то..., увидишь — мороз по коже. Зашел он в деревню Верхние Кизели. Небольшая деревня на берегу пруда, опрятна неописуемо. Мельницы: водяная на плотине и ветрянка крыльями крутит. Маленькая, теплая, хорошо устроенная вселенная в зеленой раме высоченного елового леса, прилепившаяся к подножию угора. Дома огромные, в домах чистота просто уже свирепая, все выскоблено и вычищено. Пьяных нет ни одного, никто не курит. Народ степенный, знай себе, робит. Попробовал Дюро осторожно выяснять в Оханске, в чем же тут проблема

с этими староверами, но так ничего и не понял. Сложно это все, с двоеперстием, алилуией, сложно, да и не в этом дело. Не признают они официальную церковь, не платят за все крещения-венчания-отпевания, убыток от них? Какой убыток, если на них подать двойная, а недоимок нет.

Все до единого в Оханске знали, что покупать на ярмарке мед или муку лучше у этих самых раскольников. Мед уж точно будет без крахмала, а мука — без песка.

Непьющие, работающие, честные эти раскольники, а вот раздражают — и все! Не кланяются они, кроме Бога, никому, это раздражает. Еще то раздражает, что староверы — упертые законники. Ему полиция — в морду, а он ей — в закон. Очень раздражает. Да. И так сильно раздражает, что лучше никого не спрашивать. Дюро и сам заметил: спина у этих староверов прямая, как будто доска сзади приколочена. В присутствии такой зайдет, шапку съмет, а чтоб в пояс — никогда. Старовера, как белый гриб в лесу, ежели увидишь — уж ни с кем не спутаешь.

Соблюдать старинный русский обычай: не кланяешься — в рожу, — на трезвую голову Дюро так и не наловчился. После кумышки мог. А на трезвую голову никак.

Ездить-то приходилось частенько. Учителей, например, велели выловить. Поскольку был указ святейшего Синода: запретить крестьянам-староверам учить детей грамоте. На трезвую голову понять трудно: в XIX веке запрещать крестьянам учить детей?! Да за свой счет?! Остается только принять кумышки. Ну, ловят-ловят, поймают какого-нибудь мужика бородатого. Так у него на бороде-то не написано, что он учитель. А староверы — им же хоть кол на голове теши, как учили ребят, так

и учат. Только сказывать им велят, что-де самоукой грамоту освоили.

Кстати, о бороде. Недоимки надо было собирать со староверов по налогу на бороду. На что, на что? Да на бороду! Со староверов брали налог на бороду еще с петровских времен. Почему с одного бородатого мужика налог берем, а с другого нет — это трезвому можно объяснить?

Но Пьер Дюро не склонен был ломать голову над русскими парадоксами. Как есть, так есть. И это было мудро с его стороны. Он довольно быстро обнаружил, что русские крестьянки так же, как и в Европе, обходятся совсем без нижнего белья, даже в мороз. И счел, что это удобно. До конца дней с улыбкой вспоминал Анисью. Ах, уж эта Анисья! Крепостная девка графини Строгановой, Анисья жила в прислугах в доме графского уездного землеустроителя Мезенгеля. Пьер Дюро считал русских крестьянок непривлекательными. Худошавые телом, жилистые, твердые, задубевшие в бесконечной работе. Но Анисья, с ее единственными на весь уезд пышными формами, сводила Пьера с ума. И не одного Пьера. В гостях у Мезенгеля много кто бывал...

Вот проверять, есть ли у староверок нижнее белье, Дюро не пробовал. Даже и на сильно пьяную голову. Поглядит, бывало, староверам в хмурые бороды и проверять раздумает. А и верно, зачем? И так ясно, что его нет. Вот вернется из поездки обратно в Оханск, заедет к Мезенгелю и проверит, не подарил ли Анисье какой-нибудь из судейских чиновников панталоны. Вот это, согласитесь, имеет смысл.

Однажды, приехав, увидел возле кабинета жену пономаря Троицкой церкви Вассу Поровщиковой. Эта зловредная Анисья,

заявила Васса, ее собиралась отравить. Дюро посмотрел на Вассу поверх очков: та глядела твердо. Мол, эта зловредная Анисья вымогала из пономаря деньги, угрожая в противном случае сообщить его преподобию о своем с пономарем сожительстве. (Эко удивился бы его преподобие, — подумал Дюро.) Ну? Ну, а когда пономарь ей денег не дал, подговорила церковную бабку Парасковью, чтобы та на праздник святых Петра и Павла позвала бы меня в гости и налила яду! Чтобы меня до смерти отравить и тем досадить пономарю. (Эко бы досадила, — подумалось опять Дюро.) Парасковья этот штофик с ядом в голбце спрятала да мне побежала сказывать.

Деваться некуда, надо писать протокол и заводить дело. У вызванной Анисьи дареных панталон не обнаружилось, и это привело пристава в благодушное состояние. От того, что она требовала с пономаря деньги, Анисья не отпиралась. «Сулил-ся за деньги, а денег не дал!» Но отравления она не замышляла. И пристав склонен был ей верить: замышлять Анисье было нечем — весь строительный материал природа затратила на грудь и бедра оханской Венеры. Послал опять за Вассой. Откуда-де могла Анисья яду взять?! У той ответ готов: дал ей этого яду коновал из починка меновщикова. Макару Меновщикову пономарь должен был пять рублей серебром с прошлой Пасхи. А туту у пономаря тятя помер и отказал ему в наследство корову, которую пономарь продал на Изосимовской ярманке. И оной коновал не одинава за деньгами приходил и грозился.

Дюро записал показания Вассы Поровщиковой, супруги пономаря, выпил кумышки, и суть дела стала ему ясна. В кои-то веки пономарь разжился с продажи коровы. Рублей двад-

цать выручил, да и попил с них изрядно. А тут обнаружили кредиторов в виде коновала и девки Анисьи. Вот Васса и решила одним ударом от них избавиться. Пьер Дюро думает: девка Анисья крепостная, ее выпорют. Ну и ладно бы. Но ее отправят в работы на Очерский завод Строгановых — уж это точно. Вызвал коновала. Не торопясь. Месяца через два. «Да, пономарь мне должен с прошлой Пасхи пять рублей серебром, но яду я не давал». И славненько. Обвинения есть, но не доказанные. Пристав с таким выводом отдает дело судье. Что уж на судью нашло — за прошествием времени судить трудно. Возвратил дело для проведения дополнительного расследования: а мог ли коновал дать яду; нет ли тут со стороны Вассы оговора?

Пришлось Дюро проводить обыск в деревне Меновщики. Он тут последний раз бывал проездом, с полгода тому назад, когда по всему уезду искали Золотую старуху. Будто бы девке крестьянской Пелагее десяти годов от роду из вотяцкой деревни было видение. С неба спустился столб огненный, а в том столбе Золотая старуха показалась. Пальцем грозит вот едак: пошто платья цветные носите! Спалите ете платья, огню предайте! И многие стали потом ту старуху видеть. Вроде бы обыкновенная баба идет, глянь — она. Самая она, Золотая старуха. Да все грозитя, все грозитя.

Боясь старухи этой, пятьдесят человек вотяков с семьями ушли спасаться в раскол. Может кто-то объяснить Дюро: где тут знак сменить верование и уйти?! И кого ловить? Слух? Дюро поражало то, что в существование этой Золотой старухи, или Золотой бабы, верили поголовно все. Вотяки чаще отмалчивались или говорили, что это Сорни-эква, жена бога ихнего, Войпеля.

Она вотяков крестившихся ищет и делает зло. Поэтому лучше бежать и спасаться у староверов. У них вера старая, крепкая — оборонит. Образованная верхушка оханского общества читала в исторических журналах, что Золотая старуха, или Баба, — это многопудовая статуя из золота, коей вогулы и вотяки приносили дары и творили страшные кровавые обряды в ее честь. И коль скоро слух прошел, надо проверить, не приташили ли саму статую. Нагоняй был всему уездному начальству, ловили разных баб и старух, спрашивали вотяков, но никого и ничего не нашли.

...В Меновщиках Дюро остановился, как всегда, в мирской избе возле деревни. Староверы так-то к себе никого чужого не пускали, а для всяких проверяющих была построена отдельная, мирская изба. Бабы ее чисто-начисто скоблили, на лавку кинут был соломенный тюфяк и в изголовье — подушка с сеном и травами: хмелем да душицей. Еще года два тому Дюро ездил в Меновщики к лекарю. Ну, ступило в поясницу, хоть волком вой. Присоветовали съездить к Савелью Клещеву. Называлось лечение у Савелья «чомор драть». Это не чомор драть, это с жизнью прощаться — вот что это было за лечение! Руки у мужика, и верно, как клещи пыточные: как впелся да как начал мясо от костей отрывать! Треск, крики на всю деревню. Ад — вот что это такое было. Но поясница прошла. Как будто и вовсе в теле не стало никаких костей и только одна ангельская легкость.

На этот раз обыск был у коновала Макара Меновщикова. Тот, гордясь своим добром, докладывал: изба с пристеном, да против избы сенник на подклете, да возле сенника сенница на хлеве и огородец позади двора, огороженный заплотом с затворенными верями. Пишем-пишем, пусть начальство поглядит,

каково работы проделано. Ты все это обыщи-ка: и заплот, и верей! Как ни странно, что-то Дюро все же у коновала нашел: какие-то травы, коренья, высушенных и растертых насекомых. «Всем этим лошадей больных пользую, а ядов не знаю», — так пояснил коновал, отдавая найденное в вещественные доказательства.

Проведя обыск, Пьер Дюро всегда шел отдохнуть в мирскую избу. Деревенская баба ташила жбан браги, пирогов с карасями на полотенце (жбан этот так и стоял в мирской избе, ни один старовер из мирской посуды пить не будет). Дюро, глядя на мордастую бабу, шевелившую при ходьбе пудовыми грудями, опять было задумывался, а есть ли у староверок нижнее белье, но быстро вспоминал здорового Макара, которому был по плечо. Брагу он у староверов пил с удовольствием. Это в Оханске на свадьбе у одного судейского он однажды наглотался какой-то вонючей гадости. Потом голова трещала, спросил: чем, мол, угостили-то так? Да у нас матушка помету куриного для крепости кидат, — таков был ответ. Вспомнить страшно. А эта бражка — совсем другая бражка. Это, скажу я вам, эликсир жизненный, а не бражка. Сколь ни пей, голова ясная, вот только ноги отказывают, а язык развязывается. И что характерно, язык у Дюро развязывается не русский, а французский. И он во дворе, идя к своей коляске, громко поет Марсельезу и по-французски растолковывает Макару Меновщикову кодекс Наполеона.

— Конечно, — соглашается тот. — Конечно!

— Да вы не русские! Вы, раскольники, чистоplotные, как немцы, такие же торгаши, как греки, и такие же скопидомы, как французы, считаете себя исключительным народом, как иудеи! Вы не подаете нищим!! Вы истовы в молитве,

как протестанты, но, как говорят, это не вы начали церковную реформу. У вас в России все вверх ногами.

— Конечно, это конечно!

— Великий Наполеон всегда придерживался широчайшей терпимости по отношению к французским протестантам; в годы его правления того, кто осмелился бы заговорить о возможности нарушения этого основного права человека, свободы вероисповедания, сочли бы сумасшедшим!

— Ну-у, конечно...

...Пьер Дюро и Макар — люди разных стран и разных народов — думали совершенно одинаково, но не знали об этом и не узнали никогда...

Вместе с полученными при обыске дополнениями следствие было закончено, и судья дело закрыл, так как недостаточно были уличаемы обвиняемые. Дело ушло в Пермь для проверки, и вскоре, через полгода, приходит оттуда весьма раздраженный вопрос: так был ли в штофике яд?! Ах ты, господи, да где ж штофик-то? Дюро вновь вызывает Вассу. Давай свой штофик. Васса приташила пустой штофик: вот тутока, де, и был яд, да весь высох. Штофик отправили в Пермь. Был ли яд в штофике, о том спросили современную участникам дела науку.

В аптечном управлении содержимое бывшего яда (кусочки и комочки) извлекли и, действуя на них щелочами, спиртами и царской водкой, установили, что сии остатки представляют собой высохшие чернила. О чем был составлен отчет и отправлен в судебное присутствие с нижайшею просьбой оплатить труды, оцененные в пять рублей сорок пять копеек серебром. Что по этому поводу сказала начальство Дюро в Перми, осталось

тайной. Пришло только указание эти пять рублей сорок пять копеек казне заплатить. Дюро объяснял, что штофик подменен то ли Вассой, то ли коновалом, а выяснить это никакой возможности нет. И вся эта бодяга тянулась года два. Дюро платить не хотел и всячески пытался найти выход. В конце концов присудили эти деньги заплатить коновалу. Формулировка замечательная: потому как боле взять эту сумму не с кого.

На том дело о покушении на отравление было закончено. Вскоре крепостную девку Анисью упробил ему продать кто-то из проезжавших через Оханск приятелей управляющего Строгановским заводом. А Пьер Дюро так и занимался всяческими Золотыми старушками, телицами и мелкими, по бедности населения, кражами. Да, еще одно было занятие: сожительство проверять. Это похлеще будет, чем Бабу искать, которая из золота...

ХАЛДА ОГНЕННАЯ

Всю кашу тогда Дося заварила, Федосья Тунева. Точно, это она. За пистиками она ходила на Марковину, под Туровский починок. У их тамока вдоль леса по весне всегда пистиков много бывает. Толстые пистики, сочные, в пироги. Но вот почему Дося одна за пистиками пошла, это непонятно. Не позвала ни сестрицу Настасью, ни сестрянок Анну с Марией, а одна пошла, да и все. Пришла из лесу сама не своя, девок деревенских встретила да такого нарасказала! Идет она будто к починку вдоль речки, вдруг тучка налетела. Нигде-то, нигде тучек нет, нет что-есть ни облячка, а над ей тучка стала. И из той тучки столб черный стал,

крутится и стоит. Я, мол, тоже стала, ни рукой, ни ногой. Столб-от крутился-крутился и из черного стал огненной. И из того огненного столба девка огненная показалась. Да така девка халда, така бесстыжая, голая пляшет. И огнем от нее так и несет. Ага, говорит, всех вас пожгу, всю деревню Божонки. Покрутилась, погрозилась — и столб обратно в тучу ушел. Только круг на земле остался, черной-черной круг, земля горелая дымит.

Ну сколь у девок ума? Айда все в лес, круг глядеть! И верно, круг есть, дымится еще маленько. И уголья будто притоптаны. Ясно дело, раз та халда плясала, вот уголья и притоптаны. Завизжали да в деревню. До деревни добежали, еще девок увидели, с теми пошли, глядеть, визжать и обратно бежать.

Ну пошло! Разговор по деревням, пересуд. Послали в лес девку Агашку. Агашка была еще малолетка, десяти примерно годов, но девка совсем особенная. Про нее говорили так: видит она. Агашка видела всех домовых, водяных, банных и леших, по именам всех знала. И в лицо. В лесу, возле Колоколово, жил, по ее словам, леший Шершуна с женой своей Чунькой. У Шершуны нос картошкой, а на Чуньке зипун перевернутый. И еще семь верст до небес. И все в подробностях. И если Агашка сообщала, что сегодня у Чуньки настроение плохое, никто из деревенских в лес не пойдет. А то! Звали Агашку иной раз в бане поглядеть: нет ли тамока за печкой мужичка злого банника? И если она там его видела, то спрашивала, нравится ли ему баня али чего не то. Бывало дело — и баню приходилось на новом месте строить.

Агашка из лесу принесла такие подробности, что и у мужиков мороз по коже пошел. Будто на том же месте видела она эту бесстыжую халду. И та халда плясала голая. И волоса рыжие

распустила, так и веют. И до пояса у той халды все, как у бабы, а ниже — кобыла кобылой, с копытами! А копыто не коровье притом, а будто свиное!! И все грозитя: пожгу, мол, деревню Божонки, и все тут. И Колоколово тоже, может, пожгу. Сама Агашка была в аккурат из Колоколово.

Никакого покою в ту вёсну народу не было. То возле одной деревни круг появится, то возле другой. Да еще две бани сгорело, одна в Божонках, другая в Оханском. Одна, правда, старая была, труба шелястая, на потолке старые веники лежали, так загорелись. Другую хозяин топил, да по пьянке головешку, говорят, возле стены бросил. А разговор идет. Ну-к, мол, избы погорят, чё тогда?!

Только на жатву притихло, да и неколи было в лес бегать, халды пугаться. А как снопы свезли, опять пошли разговоры и поползли страхи, пуще прежнего. Халда грозилася: мол, под зиму голыми погорельцами пойдете по миру Христа ради хлебushка просить. Так Агашка сказывала.

Бабы ахали и зарекались: восподи Боже, избавь меня, рабу Божию, от мужика-клеветника, бабы-самокрутки, девки-простоволоски, от мужика черемного, трехглазова, трехногова, от черта семирогова! Аминь-аминь и над амином аминь.

Дося бабам и говорит: «А почему это халда не грозитя раскольничьи деревни спалить?» И верно, никаких кругов в староверческой стороне не объявлялось. «Видно, — сообразила Дося, — у их вера-та старая крепче, оборонят. Наша вера тоже хорошая, но еще сил не набралась, не оборонит нас от той халды. Придется нам в староверы подаваться. И надо успевать до зимы». Сообразительная какая, однако, эта Дося!

И в самом деле, Досе надо было успевать до зимы. Была причина. И этой причине было уже... месяца три. А под зиму и вовсе на нос полезет.

— Дом у нас станет на берегу пруда, большой, под тесом топорным и на две половины — зимнюю и летнюю. Сруб уже есть, на лиственничном подклете. Двоё сенков срублю: и холодные сенки, и теплые. Голичком станешь холодные сенки мести, а в теплые — половики постелем. В теплых сенках чуланы будут, летом простоквашу ставить в кринках, а зимой станешь круги масла топленого складывать.

И еще много чего Досе сказывал Филипп Туров из Верхних Кизелей. Как оне жить станут в Кизелях, ребята пойдут — парни с девчонками. Какую оне скотину разведут, сколь пчел поставят. До жатвы ушел Филипп с отцом на заработок. Тутока дорогу большую прорубают, ставят станцию возле деревни Агеевки. Плотничают там Туровы.

Ну? В чем болячка-то? Ставь дом, скотину разводи, Филипп, да живи с молодой женой! Не получится спокойной жизни, вот дело-то в чем. Туровы — староверы, как и вся их деревня Верхние Кизели. Туров из староверов не пойдет, а ей в староверы тоже нельзя. Вон прошлым летом шуму-то сколь было... Тоже из-за девки. Плакался в основном церковный староста.

...Подневольный он человек — церковный староста! Только-то и есть малый доход — кружечные деньги, да и то не все, малость. Так нет же! Велено отчитываться в губернию по всем раскольникам поименно, иначе на приход начислят штраф, отойдут все кружечные деньги. Никакой злобы сам староста на раскольников не имел, но начальство велит.

И вот не стала одна девка из прихода к исповеди ходить, как положено всякому православному, раз в неделю. Строго допросил ее мать, отца. Запираться не стали: ушла девка в раскол, сошлася в брак с Иваном Сухановым из деревни Колоколово. Ихний священник повенчал. Приходил у их поп бродячий, много по уезду навенчано. Попа этого ловили долго, но не словили. Сведения о нем появились еще в начале весны от Екатеринбурга. Ходит, мол, по деревням, таинства незаконные сотворяет, крестит и венчает. Словить попу трудно: если упертый попадется, в руки не дастся — огнем уйдет, в срубе сожжется. Он уйдет, а полиции сплошные неприятности. После таких самосожжений народ в раскол валом валит. Поэтому было строго наказано: самосожжений раскольничьих попов не допускать. По деревням велено было провести увещевание с чтением указа Синода от 16 июля 1722 года. Что «не всякое страдание законно, а только страдание за догматы вечных правды... Гонений же за правду никогда в Российском яко православном государстве опасаться не подобает, понеже быти этого не может... Огненное страдание беззаконно и душегубно. Страдати подобает кротко, без лаяния властей и их безчестия».

В Кунгуре поймали было попу, посадили в кутузку. Через день глянули: вовсе другой бородатый мужик сидит. Купцы-раскольники охрану подкупили, подсунули другого. А поп так и ушел тогда дальше в Сибирь, всех по пути крестя и венчая. Появилась в Кизелях незаконно венчанная девка Марья. Велено было уездному приставу господину Дюро оную девку отыскать. Долго он будет вспоминать эти поиски...

Дюро не раз ловил себя на странном ощущении. Даже в Оханске, не говоря уж про Пермь, он был другим человеком. Реалист такой, мыслящий свободно. Да и по происхождению таков, что не воспринимал всяческие местные суеверия. А как-то пришлось одному ночевать у староверов в мирской избе, так чуть живинек от страха остался. Ночью проснулся по малой нужде, кругом хоть глаз выколи, такая темень. А по чердаку чьи-то шаги: туп-туп! И в голбце шуршит, и в чулане кто-то вздыхает и возится. Растолкал кучера, чтоб тот с ним, как с дитем малым, на двор сходил. Днем смешно вроде, а как ночь придет, страх берет в избе. Изба-то живая ведь. Ночью у нее какие-то бревнышки поскрипывают, ветер в трубе воет, в подполе мышь бегаёт и скребется. Оханье какое-то слышит человек и даже будто стоны. Во все поверит.

И лес тут не лесом — пармой называется. Туда лучше вовсе не соваться. Два шага прошел, как оглох. Будто вату тебе в уши натолкали. Кажется, что голос твой не долетает и до ближайшей елки, а падает камнем в мягкий мох под ногой. И мох этот пружинит, прогибается, кажется зыбкой трясиной, а порой и впрямь ею становится. Кругом глянул — забыл, зачем шел. Куда ни кинь взгляд, кругом один ровный серый полумрак. Говорят, через день заблудившийся сходит с ума от этой жуткой тишины и серого однообразия. А если и найдут такого случайно, то из сбивчивых рассказов уже не разобрать, что он видел, а что ему примершилось.

А деревни все по лесам издавна прячутся, между деревьями только узкая дорога между высоченными елками, будто в ущелье проложенная.

Но тут раз до начальства дошло: придется девку Соломонникову сыскать и доставить. Хотелось бы знать как? Вот то есть физически как ее найти среди глухих деревень, по этим громадным избам с чердаками, сараями и подвалами? А пасеки лесные? А скиты потаенные? И еще учтите, что описание девки Соломонниковой было дано такое: девка Мария росту среднего, глаза голубые, коса до пояса русая. Ну?! Веле-но было искать, и все тут. И ни за что не допускать общежития оной девки с незаконным ее женихом. Опять же, каким, скажите, образом проверить, было ли общежитие и имеется ли сейчас?!

Опять живал Дюро в мирской избе в Меновщиках, и в Турове, и в Кизелях. Много было по-французски сказано про свободу совести, а значит, много бражки выпито. Девки ж нет. То есть, может, она и тут где-то, да как найти?

Дюро знал, что где-то в недалгих лесах староверы держат пасеки. Там у них для пчел стоят рубленые сараи, изба для себя. Спрятаться можно. Значит, надо поискать там. Дорога на пасеку Сухановых летом есть, торная дорога. Поехали втроем. Дали пристава помощника из судейских, да младший брат искомой девки взялся проводить. Выехали ясным утром, надеясь уже после обеда вернуться. Дюро сидел на краю телеги и бессмысленно глядел на проплывающий мимо лес. Вдруг где-то далеко послышалась мелодия. Голос женский напевал что-то знакомое. Дюро прислушался: то был голос его матушки. Ну да, вот-вот, эти самые слова. И что-то вроде мелькнуло за деревьями. Забыв обо всем на свете, он спрыгнул с телеги и кинулся в кусты. Совсем рядом, где-то сзади, послышался бесконечно любимый голос матушки:

«Мои ами...» Дюро обернулся, кинулся на голос. Слезы текли по его лицу, но он этого не замечал.

Бедного пристава ловили до вечера. Он прятался за кустами, норовил убежать в дальний лес, плакал и лепетал бессвязно. Повезло еще, что жив остался и кое-как в ум пришел. Так чуды стерегли пасеку Сухановых.

Говорили, что водился тут раньше по лесам такой мелкий народец, рослому мужику по колено, — чуды, чудь белоглазая. Староверы с ним ладили, чудь охраняла пасеки от медведей и шалого разбойного люда. Хоть кого чудь с ума сведет: и зверя, и человека. Чуда в лесу не заметить, а он тебя видит и слышит. Любой птицей скричит, любым зверем. То чирикает воробьем или синицей, то лосем взревет. Медведя отведет, заставив раненым зайцем, и побредет бурый за легкой добычей. Чудь лесная могла вовсе увести, закружить и погубить — так считали.

— Оне как-то голос отсылать умели. Тутока стоит, а голос под елкой сваленной будто слышен. Кричит будто кто-то жалобно. Или вдруг будто за спиной кто позовет тихохонько: Ваня... Оглянешься — нет никого. Дак такой страх возьмет! Только скорая домой, и ни грибов уж не надо, и ничё. Так про них народ сказывал; может, и придумывали чего.

Рассказывали, например, будто повадился как-то чудной мужик ходить к одной бабке, она веры православной. Его всей деревней ловили; казалось, знак плохой. Бабку совестили: мол, чего это ты на старости лет?! Бабке и впрямь годов было немало. Однако в любви оказалась тверда. Гляна я у его. И все дела. А что он нехристь? Ну и ничё. Во как!

Одинова совсем было окружили этого чуда. Так себе мужичок, небольшой. Глаза только ненашенские. Такие вроде голубоватые, а как-то не по-нашему глядит. Беспокойно делается в такие глаза смотреть. Совсем чуда окружили, прижали к заплоту. А он как закричит: «Ой, что это?!» И пальцем на крышу Манефы Коньшиной жает. Народ-от вылупился на крышу, хватать, а чуда нет. Да не, ты его, чуда, николи не поймашь. И не лови даже. И образованному человеку лучше с этим не связываться. Необразованному-то что: испугался да проморгался. Ну, в крайности, понос прохватит, с им испуг выходит. Так тут испуг и лечат — поносом. А образованный умом тронется — обратно не вправишь ум-то. Едешь по лесу — так по сторонам не смотри. А то и усни — кобылка сама привезет. Так сказали Дюро знающие люди.

Как понял Дюро, про здешнюю жизнь ни в каких книжках не написано, а узнать что-либо можно только так: одного спросишь, он тебе присоветует спросить у другого, который сам не знает, но знает сведущего человека. Такой тут путь к познанию.

Вот к тому же Клешеву, думаете, Дюро как попал? В газетке, что ли, прочитал объявление Клешева: лечу, мол? Это вам не Франция. Тут было так. Судейский секретарь сказал, что про лекаря нужно спросить у Матвея Шубина из деревни Колоколово. Путь не близкий. Там Дюро направили к Дементею Силину из Троицы, и уж тот привел к Савелью Клешеву, жившему от Оханска в пяти верстах. У раскольников все так. Все пути такие: к скитам, книжникам, учителям и лекарям. Никто чужой не пройдет, обыскивать и изыскивать — пустое дело.

Тогда, решает Дюро, поступим по-другому. Посадим в каталажку жениха. Если у него с девкой Соломонниковой общежитие имеется, девка сама придет. А за что парня-то садить? Вот так, за здорово живешь, раньше даже и староверов садить стеснялись. Нужно хоть за что-то. Посадили за то, что соблазнил православную невенчанно. Впредь до выяснения: своей ли волей соблазнял. Али, может, по наущению чьему? Перо спотыкалось у пристава такую ерунду писать, а куда денешься? Не стало на подотчете одной православной девки — надо найти и отчитаться.

Посреди сенокосной поры посадили парня в каталажку. Расчет оказался верен и точен. Пришлось староверам девку Марью предьявить. Оказалось, по словам девки, что она уже давно не девка, а мужняя жена, живет с мужем своим в своем же дому. И вот уже на сносях. А вера у них древлеправославная. То есть раскольники они, и все тут.

Пропадают кружечные деньги. И не только. Велено ж было: найти и общежития не допускать. Не нашли, допустили.

А девка попалась — кремень. Ежели, мол, не отпустите супруга моего, я сей момент пойду и в срубе сожгуся! Судебное решение вынесено было такое: взыскать прогонные деньги, затраченные приставом на поиски девки, с Соломонниковых; супругов Сухановых Ивана с Марьей сослать на жительство в Закавказскую губернию.

Июньским утром вышли Ваня с Маней из родного дома. Поклонились отцу с матерью. Перекрестили своего младенца: больше они его никогда не увидят. Вышедши за околицу, поклонились деревне. И пошли босы с малыми котомочками. На Кавказ.

— И не выдумывай за Турова замуж идти, вон Сухановы ре-вут. И нас перетрясут, и Туровым достанется, — так заявили Досе тятя с мамкой. Все вспомнили: и как одна девка в пруду утопи-лася, когда ее староверческая новая родня не приняла, и как не-законное раскольничье венчание развенчивали и девку обратно домой приводили, с пузом. И чего хорошего к староверам идти: у их только и знай — молиться да робить. Строгости одне. Это в основном тятя напирал на строгости. Что за сват, если к нему нельзя на выпивку напроситься! А если в гости придут сваты — так со своей посудой! Это жизнь разве?! Да и крепостные оне. Чё, охота тебе на заводе робить в Очере?

— Оне не крепостные, казенные оне. Мне Филипп сказывал.

— А графские сказывают, что вся ихна сторона — кре-постные. И оне по деревням шумят напрасно. Вот угонят в Сибирь, как оне бунтовщики!

Крепостные были Туровы или казенные, сказать тогда и впрямь было сложно, потому что еще в 1791 году возле дере-вень Оханского уезда Пермской губернии проходил отвод земель для Очерского завода графов Строгановых. Владения Строгановых в наших краях простирались по Каме от реки Лысьвы (несколько южнее Соликамска) на севере до речки Ошапа (несколько южнее Оханска) на юге. Кстати сказать, на карте Пермской губернии (края) две речки Лысьвы: одна возле Соликамска впадает в Каму, а вторая возле села Карагай — в Обву. Точно так же есть две речки Сивы. На одной стоит село Сива, и эта речка тоже впадает в Обву. А другая Сива течет южнее, через Черновское, и уходит к Воткинску.

Земли тогда отводились вместе с крестьянами, там жившими: кто попал, тот и стал крепостным графа, кто не попал — остал-

ся казенным, то есть государственным, крестьянином. Поэтому в Оханском уезде примерно половину крестьян считали крепост-ными, а половину — государственными. Конечно, в крепостные не хотел никто. Уж точно, рабы — не мы! Не сам завод пугал мужиков, как иногда думают: вот, мол, дикость-то была! Крепост-ных гоняли на заводские работы бесплатно, а государственный крестьянин ходил и нанимался, своей волей. И лес ему можно было брать для нужд хозяйственных бесплатно, а крепостные за лес платили. То есть урон от крепостничества был ощутимо материальный. Как и все прочие черты крестьянина-старовера, все его упрямство и супротивство, было от сугубой целесообразности этих людей. Невыгодно было крепостным жить.

Межеванием земель от графов занимался их собственный землемер, состоявший на графском жалованье, некто Пан-тюшкин. С ним вместе проводил межу «в натуре» и составлял карту крестьянский поверенный. Молодой мужик Логин Вику-лович Туров, было ему тридцать четыре года. Грамотный: до-кументы сохранили его старательный крупный почерк. Межу провели по речке Сиве (южной) и ее притоку, речке Буть. Эти две речки текут почти навстречу друг другу, образуя на карте прямую линию. Тут и пролегла граница владений Строгано-вых, а значит, и граница крепостной зависимости. По левому берегу Сивы — крепостные, по правому — казенные крестья-не. На сем составили соглашение, вкопали межевые столбы, провели межевую борозду. Вот в эту межу крепостное россий-ское рабство и уперлось.

И почти сто лет это была не межа, а линия фронта, которую то одна сторона прогибала, то другая.

Чѐ?!

— Чѐ мужики собралися, иди-ко спроси, ково имя надо?

Посланная малолетка Марeya одной ногой слетала со двора и обратно и доложила, что имя никово не надо, а только охота поговорить с Логином про ихные межевые дела.

И разговор вышел неприятный. У Дементя сын нанимался в извоз в Оханском, в дом управляющего очерскими заводами Строгановых. Дрова возил. А при расчете оказалось, что по новой ревизской сказке он теперь крепостной, никакого расчета ему не будет. Отработал барщину и ступай.

— И ты-де крепостной, и вся семья, и вся ваша деревня с починками!

— Вот сказка новая, вот вашего межевого поверенного собственная подпись. Твоя ли тамока подпись, Логин?

— Чѐ?!

Логин мужикам крест положил на том, что межу провели по речке, от деревни в десяти верстах. Сам на месте межевал. На том и роспись поставил. Как межевой от крестьянского общества. Однако тятя приказал:

— Распрягай кобылку, парень. Како теперь сватовство, как мы крепостные? Кто за тебя теперь девку отдаст?

— Чѐ?!

Еле успели Логина за порты схватить — тут же схватился бежать в Оханск. Ты, мол, паря, куды, уж вечерет, завтра сбегашь. Всю ночь Логин провертелся на лавке с боку на бок и затемно убежал в Оханск. Так-то недалеко, верст пятьдесят, да у парня-то еще одно заделье есть. В Троице девка Дарья. Даня. Ох, как девка

хороша! По всем деревням слава, така девка уродилася. Ждала, поди, вчерася сватов-то. Одно и дело было: с тятей съездить, благословление принять. И чѐ теперя ей говорить? Я, мол, крепостной, айда за меня, тоже в крепость?!

Ответ в Троице он получил короткий:

— Управляйся, Логин, за лето. До зимы девке все одно замуж надо. Сам понимай, какой у девки век. Счас сватов много, а глянть — и нет никого. Всему свой час. Посватают — отдам. Вот и весь мой сказ.

И в Оханск Логин чесал так, что босые подошвы дымились.

Но с уездным землемером Пантюшкиным вел себя осторожнo. Я, мол, как межевой поверенный от общества, надо сказку поглядеть, запомятовал, где межа идет, а у мужиков споры, драки.

Раз Пантюшкин графским землю приписал, не зазря он это сделал. Ему хоть в шары плюнь. Тем же графским отдаст на коношню выпороть, да и все.

Пантюшкин с Логином и вовсе разговаривать не захотел. Чѐ ему Логин, крепостной мужик, никто. Вниз, в прихожую, помощник снес толстую подшивку бумаг, из-под руки дал глянуть. Межа нарисована была совсем не там, где ее провели в натуре мужики. Верст на десять заступили на казенную землю. Это в ширину. А в длину как бы и не на сто. Вот так. Четыре деревни там оказались, в строгановских крепостных, да дюжина починков.

Ясное дело, что Пантюшкин землю прирезал не себе. И даже не графьям. Графьям как раз про прирез и не сообщили. Зачем же им ссориться с казной? Графский управляющий Мезенгель этот ломоть себе отвалил. Как же не поживиться?

Лес продавать, подати с мужиков собирать... Милое дело! Для графьев мужики — в казне, для казны — графские. А они не в казне, мужики-то, и не у графьев. Промежду них, в нашем кармане.

Подпись, как углядел Логин, действительно была, но писана не его рукой. Помощник захлопнул книжищу, без интереса глянул на Логина и повернулся к нему спиной. У него не было и малейшего сомнения в том, что мужик посмотрел на все, как баран на новые ворота. Как мы вам рисуем, так вы и жить будете. Вот так примерно говорила бы его спина, если бы снизошла до разговоров.

Из уездного города Оханска Логин брел высоким камским берегом, мимо Троицы-села, не заходя. Завернул на Гляделку. Так у нас высокие места называют: Гляделки, Гляденова. Синели закамские дали, река еще не унялась после весеннего разлива. Бесконечной сизой лентой она плыла в громадной чаше своей поймы. Утопал в синеве сумерек исток этой ленты, закатным золотом плавился исход. Про каждую Гляделку говорят, что именно тут и сидел со своими думами Ермак. Посидел и Логин. Тоже было о чем парню подумать.

Возле Сосновы пошел тропочкой рядом с Сибирским трактом. Мягкая под ногой вилась тропочка, прямо под березками, которыми тракт обсадили. Еще в Екатериныны времена.

В Перми находит Казенную палату, пишет заявление, что никакой любовной сказки он графьям не заверял, его подпись подделана. Неделю в Перми жил, но своего добился. В губернском городе сильно опасались крестьянских волнений. Громадный край, величиной с иную европейскую страну,

в одночасье ушел под графьев. Записали мужиков в крепость, с чадами, домочадцами и всем добром. И графские прислужники, пользуясь случаем, уже и добришком норовили торговать, и людишками. Народ начал утекать в Сибирь.

Перемского кержака упертого, его ведь не нагнешь. Он от земли этой суровой умеет взять и пропитание, и одежду. Дом и мельницу поставит. Вместо любого голого места — и рожь насеяна, и ребята наделаны. Чё ему, мужику, графья-то? Да пошли оне... Сибирь большая.

Угрю перемский мужик. Навык по лесам сидеть, от разбойничков своей силой обороняться. Тронь его — он тебя на вилы. Тут только спичку поднеси — польхнет! Поэтому Казенная палата, обязанная надзирать за казенным имуществом, решение суда уездного отменила.

К босым пяткам Логина как крылышки кто приставил.

В Оханске Пантюшкин его опять в упор не видит.

— А ты, паря, никто теперя. Пока в Пермь бегал, переизбрали тебя. Федор Чистяков ноне межевой поверенный. Он и сказку любовную подписал. Согласие от мужиков. Межевая канцелярия губернии уже утвердила решение. А будешь мужиков возмущать, так я тебя на конюшню да розгами.

Никто Чистякова не избрал, конечно. Семейство было не из богатых, неуважаемое было семейство. И сам Федор парень хилой такой. Девки только смеялись над ним.

— Марeya Чистякова сказывала, какой Федор толковой оказался. Шибко сыном хвалилася. Как его в межевые взяли, чтобы он бумагу от мужиков подписал, дак он себе за это вольную у графьев-то выторговал. Христопродавец. Оне одне

теперь вольные середь нас. Мария-то чё ишо сказывала: поедем скоро в Троицу, Дарью, мол, сватать будем.

— Чё!?

— Логин, Иван, вы куды!?

Ясно куды. Логин — Федыку-христопродавца убивать до смерти, а Иван — за Логиним, может, разнять успеется. Логин Федыку точно бы пришиб, да мужики навалились, уняли парня. С подбитым глазом Федор явился в Оханск, Логина выпороли и неделю держали в кутузке: он-де мужиков возмущает.

Все, Логин, проиграл ты. Живи, как все, воруй графский лес, отлынивай от крепостных работ, уймись. И Даню забудь. Таковую же крепостную придется в жены брать и рожать таких же крепостных рабов. Плетью обуха не перешибешь.

Логин с неделю ходил как и впрямь обухом стукнутый. Может, и смирился бы парень с судьбой, да Федор Чистяков не дал.

— Ой, Логин, чё это тако деется-то! Пантюшкин твою мельницу, что на пруду, продал Федору Чистякову вчера. Прислуга Игнату сказывала, а уж Игнат сразу к нам побежал.

Телеграф изобретут, заметьте, лет эдак через сто. Надо же было как-то обходиться. И обходились. Прислуга-обслуга, кто они? Да те же мужики. А у них родня по деревням, так ведь? Шагу не шагнуть, чтобы все окрестные деревни тут же не узнали.

— Он, Федька-то, как теперь поверенный от строгановской конторы по нашей деревне. А ты теперь крепостной. И ты строгановский, и мельница твоя тоже теперь ихняя. На Федыку робить станёшь.

И плотину, и мельницу всей семьей Туровы на ручье ладил. Жернова вырубил, прикатали, поставили. В мельники ведь кто определялся-то? У кого сила от Бога. Жернов приката-ка да поставь. Тут впятером вокруг жернова ничё не сделаешь, уж так вот. Только если сила есть у одного.

Логину силушки было отмерено вдоволь. Вся их порода такая. И тятя жерновами ворочал, и Логин. Недовольные иной раз были: много, мол, мельники за помол берут. Ну дак чё, своя рука владыка. Пока мелево не начато, торг идет насчет помола, мельники жернов снимут и укатят далёко под горку. Сила есть — кати, силы нет — плати.

Логин жернова упёр аж за перекал. Скоро-то даже и не найдешь. А уж кто обратно прикатить и поставить сможет? Кроме Логина — никто. Ну чё, Федя, чё купил? Где мельница-то? Все враз взять задумал? И Даню, и мельницу? А не подавишься, Федь?

Ожил Логин.

Опять — в суд. Насчет мельницы судиться? Нет, это бесполезно. Надо столкнуть Строгановых с махиной казны. Он подает в суд на Федора Захарова Чистякова: мол, тот, отдавая земли Строгановым, неправомочно распоряжается казенным имуществом!

Медленно катится телега судебных разбирательств. Уездный суд отмахнулся. В порядке надзора дело поступило в губернскую Казенную палату. В Перми уже эти склоки читать устали. Здесь Строгановым никто не указ, что хотят, то и воротят. Что хорошего видел губернский город от этих королей некоронованных? Да ничего! Вон грязи по колено, улицы замостить не на что. А как мужики забунтуют, с кого

спрос? С губернии! Строгановские денежки где? В столице. То-то! Вот пусть столица и разбирается.

Отправили дело на рассмотрение в столицу, в Департамент государственного имущества. Если Строгановы заступают на казенное, пусть высочайшая казна и нахмурит брови. И в Департаменте призадумались, распухшее в инстанциях дело отдали в Комитет министров. По представлению министра финансов вопрос о спорных землях оный комитет на своем заседании рассмотрел и тоже никакого решения не принял. Сочли, что тут только сам государь император может решить и более никто.

Вот так дело, поднятое крестьянином Логином Туровым, дошло до самого императора Александра I.

В ту зиму давали в столице большие балы. Дом Строгановых блистал бриллиантами, затмевая Дом Романовых. Это раздражало. Может быть, поэтому нигде не затерялась крестьянская бумага, а была-таки государю подана. Что ему какие-то четыре деревни и двенадцать починков?! Государь же, напротив, проявил интерес, гневаться изволил: столько богатств даровано Строгановым, так они еще и самовольно земель прирезают! Строгановым было велено исправить межу и заплатить в казну за вырубленный лес. О чем в 1823 году был издан и доведен до подданных соответствующий высочайший указ.

То есть указ привезли в Пермь и положили в Казенной палате.

Из Казенной палаты запрос пошел в губернскую контору Строгановых.

— Да мы отродясь на казенное не заступали, — ответствовали оттуда. — Вот карта, все межевание проведено в полном соответствии. Клевещет мужик по злобе. Государя беспокоит.

Собственно, никакого другого ответа никто и не ждал. Отродясь, значит, не заступали? Ну и впредь, значит, не заступайте. Это вам просто к сведению.

А в Оханске совсем другие разговоры. У Логина уж копия указа есть. Откуда?! Притащил из Перми? Нет. Не из Перми, точно.

Свои люди у староверов везде были. Всегда. Книжки, указы, разные слухи моментально разлетались по громадной России. Иной губернский чиновник меньше знал, чем кержак-старовер, упертый деревенский грамотей.

Логин собрал мужиков, указ прочитал: мол, не крепостные мы. Мужики тут же избрали его снова межевым поверенным. Федьку, обзывая миропродавцем, опять побили.

Опять суд. Быстренько. Судят Логина за то, что он какой-то фальшивый указ читает по деревням, возмущая мужиков. Новый Пугачев — вот он кто, этот зловерный Логин!

А чтобы неповадно было в Пермь бегать, посадили в кутузку в Очере. Давай договариваться о продаже Логина с семейством, без имущества и живности, Демидовым в Шарташ. Выколотать его из деревни, выжить подале. Потом концов не найдешь. А без этого грамотея и законника будет тут тишь и гладь. И где тут графское, где казенное, а где не графское и не казенное, знать будут только они, люди умные и хитрые: Мезенгель и Пантюшкин.

Все бы так оно и вышло. Да и выходило, не раз выходило. Скольких мужиков и ссылали, и садили, и продавали —

несчетно. А с Логином — промашка за промашкой. Перестарались с обвинениями. Пугачева не надо было поминать. До дрожи в коленках в Перми боялись нового Пугачева. Тогда ведь тоже все начиналось с того, что по деревням читали фальшивые царские указы. Бумаги из Перми полетели с пометкой «Срочно!». Какой читали указ? Найти! Предъявить! Смутьяна в Пермь!

В Пермь? Чтобы он там язык распустил? Нет, Логина в Пермь не повезли, конечно. Обыскали дом, указ нашли. Пришлось Пермь запрашивать, есть ли таковой указ. Есть. Срочно доставили. Точно такой же. Без объяснений закрыли дело.

Другое открыли. Мол, этот зловредный Логин уж сколько лет клеветает на Очерскую контору и честнейших людей — Мезенгеля и Пантюшкина. Земля эта всегда была казенная, и крестьянин всегда был казенный. Вот карта, вот межа, вот его собственноручная подпись. Ну не клеветник ли?!

Логина за клевету выпороли. На ступени очерской кутузки он вышел свободным человеком.

Кстати сказать, в последующих переписях казенных крестьян Логин значился совместно с женой своей Дарьей, тут тоже, видно, все решилось в его пользу.

И то сказать: девка-то ведь чё? Она ведь дура, девка-то! Как ее мельник могучими ручищами-то обоймет — у ей и ум отстал, чё с ее, какой спрос, у ей одно на уме...

Крестьянин Оханского уезда Логин Викулов Туров вывел из крепостной строгановской зависимости не только себя и свою семью, но еще четыре деревни и двенадцать починков. Но указ лежал в Перми, а строгановские, графские, слуги — тут,

близко. Крестьяне остались-таки казенными, а вот лес на спорной земле Строгановы как рубили, так и рубили. В то же время люди Строгановых, графские, не давали казенным крестьянам пользоваться лесом бесплатно, и по этому поводу происходили постоянные стычки. И в полицию таскали, и Сибирью грозили.

По всему поэтому Досин отец добром сказал Филиппу, чтоб тот и не сватался, чтоб не обижаться потом, Досю ему не отдадут. Логин Туров, отец Филиппа, тоже брат Досю не советовал: мол, бед не оберешься. И так эти межевые распри злят начальство в Оханске. Возьмешь православную — скажут, что соблазнил, уж точно в Сибирь уйдешь.

Силой-то в здешней деревне старались не женить. Уж вот так, чтобы вовсе друг другу не глянулись, другого желали, — редко так было. Жить и робить легче, веселяя, когда муж с женой хотят друг друга, глянутся. Тут, знаете ли, так тяжело было выжить, что каждая тепличка была на учете. Вот так и тянули да тянули те и эти родители, все уговаривали. Надеялись образумить. А любовь-то молодая, жаркая — не ждет. Ну... вот и... три месяца.

И Досе никуда не хотелось уходить из родной деревни, манил новый дом по-над прудом, живот наливался. Так ведь стало по её! К осени ушли в раскол в тех краях пятьсот человек! Огородили деревни заплотами, никонианские иконы снесли к церкви. Главное дело, бабы в тех деревнях кабаки пожгли. Те, чьи хозяева-кабатчики вовремя не сообразили убраться подобру-поздорову. Как деревня в раскол идет, бабы первым делом громят кабак. Не продержался бы раскол

триста лет в непрерывных гонениях, если бы не подпирала его русская баба!

Огородилось деревень до десятка, кабаки разгромили, объявили себя раскольниками. Всех-то не сошлешь. Затерялась среди них хитроумная девка Дося. Стали они с Филиппом Туровым жить-поживать, землю пахать, ребят рожать, преступники государственные!

МЫ — НЕ РАБЫ

Семейная жизнь началась с того, что Филиппа арестовали.

— Нельзя с графскими драться, Филипп, нельзя! Опять из очерской конторы в Пермь напишут, опять зачинщиков будут искать. В Сибирь ушлют тебя, Филипп! Вы столбы межевые сожгли, борозду граничную дерном заложили — все, уходите.

— Дак оне опять не дадут дрова рубить. Чё станем делать-то, тятя?

— Будет день — Бог и пищу даст.

— Незаконно нас графские притесняют. Вот я же принес бумагу-то из Перми, указ царя. Наша это земля, мы не крепостные, и лес наш. Я мужикам ноне рассказывал про указ, и все согласные.

— Согласные-то все, а пороть тебя будут.

Тятя Логин Викулович как в воду глядел.

14 июля 1848 года его благородие господин оханский становой пристав Дюро, согласно заявлению Ивана Федорова Чистякова, заводит дело по обвинению Филиппа Логинова Турова

в подстрекательстве крестьян к возмущению. Иван Федоров Чистяков — сын того Федора Чистякова, он уже новый межевой поверенный. А Филипп Логинов Туров — сын того Турова. В своем заявлении Иван Чистяков утверждает, что вернувшийся из Перми Филипп Туров созвал крестьянскую сходку и на ней читал царский указ о том, что спорные земли и лес принадлежат казенным крестьянам. Те шумели, называя старшего Чистякова «старым псом», а младшего «жуликом и миропродавцем». Судя по всему, младший Чистяков уже не был таким простотой, как его отец. Забрал Иван Федорович в деревнях большую власть, бедноту держал в кулаке, решая, кто, сколько и почему получит леса. И Строгановы поощряли его материально, о чем «обчество», конечно, знало.

У Турова-младшего провели обыск, нашли спрятанные бумаги. Выгтершиеся на сгибах, чем-то заляпаные кое-где копии того самого указа Александра I, названные фальшивыми, подшили в дело. Что интересно, Филипп Туров, по-видимому, и не подозревал, что сей указ явился следствием прошения, некогда написанного его отцом. Из суда вновь сделали запрос в Казенную палату, есть ли таковой указ. Полученная копия также подшита. Один к одному. Что ж делать-то? Как ни крути, а за изучение императорского указа судить нельзя. Развелось их, грамотеев-раскольников! Вон у Турова при обыске два громадных сундука с книгами перерыть пришлось.

...Еще в 1836 году был издан и старательно доведен до местных органов власти указ святейшего Синода о запрещении староверам учить детей грамоте. 1836 год. Еще жив Пушкин, он издает журнал «Современник». Но не все читатели «Современника»

думают, что у крестьян есть душа. Многие склонны относить их к скотам...

Да, так вот, зависло дело-то. Год лежит, два. Пермское губернское правление одно за другим шлет напоминания: срочно заканчивайте дело по возмущению крестьян. Кто там у вас возмутители?! Крестьяне-то бузили постоянно. Того гляди, проморгаешь нового Пугачева!

В Оханском суде безо всякого решения одно дело (по возмущению крестьян) закрывается, открывается другое: по извету (то есть клевете) Филиппа Турова и Михайлы Долганова на межевого поверенного Ивана Чистякова. Пристав Дюро приехал в деревню и, остановившись в доме Чистякова, провел опрос крестьян о том, действительно ли оный Чистяков распоряжается лесом от имени графини Строгановой.

О том, кого и как опрашивал пристав, подробно описали Туров и Долганов в прошении на имя государя императора. Надо обратить внимание на смену поколений: сын Логина Турова против сына Федора Чистякова, а император Николай I — сын Александра I. Замечу, что казенные процедуры были тогда достаточно дорогими. Только за гербовую бумагу мужики заплатили шестьдесят копеек серебром — деньги для крестьянина немаленькие, пуд ржи стоил тогда полтора рубля.

Документ оставили в Пермской казенной палате для препровождения. Однако времена уже были не те — времена казенной строгости Николая I. Прощение вернули в тот же Оханск и пришли в дело. В заявлении подробно рассказано, что опрос проводился в присутствии Чистякова и только тех людей,

которые были с ним связаны «по бизнесу» или зависели от него. Обвинения выглядят вполне обоснованно, изложено все очень и очень толково.

Суд спрашивает объяснительную с пристава. Никак нет! — вот и весь ответ, короткий и ясный. Суд им удовольствовался. А чтобы неповадно было в Пермь бегать, Турова с Долгановым до решения суда посадили в кутузку, да еще в Очере, в самом что ни на есть строгановском гнезде. Справку испросили и с очерского заводского правления Строгановых о том, сколько и когда было выдано леса Ивану Чистякову и, упаси боже, не выдавался ли лес бесплатно. (Хотя, исходя из царского указа, ни платно, ни бесплатно отдавать казенный лес Строгановы не могли.) Да что вы, ответственвал управляющий, так, давали малость, но строго за попённые деньги. Мы и другим продаем (!). Таким образом, пристав объяснился, крестьяне корысть в делах Чистякова не подтвердили, Строгановы вообще ни при чем, и клевета налицо.

12 января 1851 года суд выносит решение: за извет на межевого поверенного Ивана Федорова Чистякова дать по сорок розог крестьянам Филиппу Турову и Михайле Долганову. Но победа была за мужиками. Межа осталась, где была, крепостными они не стали, и лес все же, хоть и не без стычек с графскими, крестьянам разрешили для нужд своих рубить бесплатно.

Казалось бы, крестьяне самые что ни на есть простые, жизнь незатейливая, достаток скромный, а все брали с бою: право так жить — своим умом жить, своей верой, своей семьей, своими трудами.

БЫЛО У СТАРИКА ТРИ ГЫНА

— Пошто ты ему попускашь?! Опеть коней гонят, вчераса в Заболотове жеребца от сватьев угнал, да и загонял, считай. Расстегай мошну да отдавай деньгу. Али его подкараулят и жердями ухайдакают.

А говори не говори, ничего не мог тятя Филипп Логинович поделать с дурным на характер сыном. Бешеный, и только. Особенно на жеребце любит покрасоваться. Да чтоб разогрет был, разозлен, чтобы, оскалясь, на дыбы вздымался и копытом бил. Дивилась родня: на всем скаку монетку с земли мог поднять Тимка. И откуда бы, с чего бы такие ловкость и прыть? Деревня посреди леса стоит, особо разгуляться негде. Коняги в деревне смирёные, кобылы да мерины, народ спокойный.

По камской пойме возле Оханска издавна селился народ в глухих лесах, вдоль мелких речек. Большая река — большая дорога, много по ней издавна шастало всякого люду, гораздого пограбить крестьянина. В Пермь Великую, в непроходимые леса, военные дружины издавна добирались речными дорогами и летом, и зимой. А крестьянский народец, он пеше топал. У дружин — одни дороги, у крестьянина — другие. Опасался тугошный мужик большой реки, норовил подале от нее селиться. Из этой тревоги сложилось и поверье такое: текучая вода жизнь уносит. Поэтому и не толковал крестьянин рыбу ловить, как-то за баловство считал, даже и в голодный год. А речка маленькая обязательно была нужна — для жизни. Но и она тревожила текучими водами, и ее

от непрощенных гостей издавна перегораживали. Поэтому было здесь прудов — как нигде.

На плотине тут же ставили мельницу и разводили цельный пруд гусей: биль-билева. Мощный гребень угора защищает деревню с севера. Умели предки селиться; кто умел, тот и выжил. На самом гребне — высоченный еловый лес, это старое кладбище за горой. Из земли пришедшие в землю тут и уходят и, вознесясь к небу громадными елями, стоят безгласно: Дементий Титыч да Филипп Дементыч, Григорий Филиппович, да Тимофей Григорьевич, да Ксения Григорьевна, Денис, Михайла, Антип — все Туровы. И глядят молча на своих потомков, принимая на себя холодные ветры с неласковой стороны.

Родные места навсегда остались в памяти Тимофея, во всех его жизненных скитаниях: широкая пойма держит, как в ладонях, прихотливо вьющуюся речку, заливные луга.

Речек много, и зовется такое место Поречьем. Причудливо петляет Обва, текут речка Сива, мелкий Буть, бойкая речонка Табарка и много еще ручьев и речушек. В глухих лесах во множестве стояли деревни: Березовка да Соснова, Заречье, Заполье, Заболотово, и село с древним именем Тороканово, и деревня Колоколово, и деревня Турово, и Меновшики. Чтобы далеко не ездить к пашне и сенокосу, отселялся народ в однодворные починки, и они тоже постепенно наполнялись народом.

Возле деревень если не лес, так покос или пашня, дорожки меж деревнями узкие, только и есть простора, что на Сибирском тракту. Дорога торная, широкая, березами обсажена еще при царице Катерине. Два века из России в Сибирь, мимо запрятавших-ся в лесах староверческих деревень тянулись колодники, звеня

железами. Сейчас дорога опустела, только иногда проедет в коляске становой пристав из уездного Оханска, да видны крестьянские возы.

Вот Тимофей и норовил при случае разгуляться на тракту. Телега уж заране свернет на обочину, когда хозяин Тимоху завидит. Даве воз сена опрокинулся: испугалась кобылка бешеной Тимкиной скачки, загнула голову, выбилась из оглобель, мужики не удержали воз. Баб и девок в округе Тимка перепортил — несчетно.

— Арина из Тороканова сказывала: как Василей Заяц в Оханско, так Тимка у его бабу имат. Дак Василей грозится, мол, Тимке гоило-то вместе с мудьями оборвет.

— Ага, и себе привесит. Бздит. Ишо поймай его сперва, Тимку-то.

— Он не поймат, дак Онисим поймат из Нижних-го Кизелей. У его Тимка девку старшую летось спортил, с пузом отдали в Троицу за вдовца. Кому поглянется?

Конечно, слезьми умоется потом бедная девка, вспоминая синеглазого соколика. А как устоишь?! Иную на полном скаку подхватит и взметнет к себе в седло — у той и сердце замереть не успеет, и мысль не взойдет, что грех... Такой вот Тимофей уродился, одно слово — гоёнок.

Нельзя так жить среди людей в деревне, нельзя. Среди людей жить надо по-людски. Так и жили Туровы в деревне прочно, на хорошем счету.

Сотни лет крестьяне в наших краях жили, отрезанные от всего того, что составляет государственную власть. Они не имели возможности обратиться к полиции, им недоступны

были наряду с просвещением и медициной ни суды, ни полиция, ни адвокаты. Между тем они не озверели, они общались, обменивались товарами, наследовали от отцов нажитое добро, женили сыновей и выдавали замуж дочерей. И задумаешься порой: какой силой держались общественные нормы? И поразишься, когда поймешь, что правила в этом сообществе только сила морали, моральных императивов, которая и обеспечивала им полную самодостаточность.

Старовер — это же не человек, это столб, врытый в землю на сажень. Его не то что не сдвинешь — не пошевелишь. За сотни лет невероятно тяжелых жизненных условий вымерло все слабое. Чужой человек не мог рассчитывать, что ему дадут хлеб или пустят на ночлег. Какое! Воды не дадут напиться. А тот, кто пускал ночевать или подавал прохожему ковш с водой, тот вымер давно от тифозной вши или иной неведомой лихоманки. Кто за скотиной не умел ходить, не толковал, как хлебушко посеять и убрать, хоть бы и в проливной дождь, того тоже давно не было на свете. У кого топор из рук валился, кто избу со щелями ставил, тот в трескучий мороз вымерз вместе с семейством.

Вынесли Туровы все тяготы здешней жизни, выжили и в начале своего последнего века уже вполне процветали. Мужики и бабы роста высокого, мощные, лица широкие, волосы темные и толстые, как лошадиное сило.

Издавна Туровы держали мельницу на плотине, на два постава, мололи муку и ржаной солод на брагу и квас. Семья большая, хозяйство тоже обширное: пасека, овцы, коровы, гуси. Выскивая в других деревнях невест для сыновей, смотрели, чтоб умелая девка была, хлеб пекла, ткала, пряла и вязала, за уменье и брали.

Но еще прадед Филиппа Турова, Тит Туров, в Заполье высватал среднему сыну в жены девушку-певунью с голосом чистым и ясным. Песен много знала, песни длинные, тянулись зимними вечерами, как кудельная нить. И про мороз-мороз, и про рябинушку одинокую, и про речку быструю. А то про веселых кузнецов, как оне куют да приговаривают. Так и повелись среди туровских девок певуни. Рослые, грудастые и румяные, работающие туровские девки у тяти с мамкой не засиживались, как пташки разлетались по дальним и ближним деревням. Так что родня у Туровых была по всему Поречью, и все семьи крепкие, зажиточные.

Особо богато тут народ никогда не жил, но разбогатеть стремились: старoverы были ярые собственники. «Стяжатели вы и торгоши, — упрекали их, — вам бы только добро наживать. Пошто бедных не жалеете?» Так их, старoverов, разве переспоришь: «От трудов наживаемся. Робь, как я, и живи, как я. А что торгуем, так честные гири и Богу угодны».

Сколько стояла деревня, столько чрез нее и шел, не прерываясь, людской поток из Центральной России. Трактором и лесными дорогами шли-ехали и поодиночке, и семьями, и целыми деревнями. Иной раз встанет деревня, живет зиму-другую, а потом в ночь снимется и убредет — бегуны, они и есть. Искали они Беловодье, счастливую крестьянскую землю. Так сказывали: «Лежит оно, Беловодье, посреди окиян-моря. В тамошних местах татьбы, и воровства, и прочих противных закону не бывает. Тамошние же деревья равны с высочайшими деревьями. И гром, и земли сотрясения немалые бывают с расселинами земными. И всякие плоды бывают, родится виноград и сорочинское пшено. Злата и серебра у них несть числа, драгоценного камня и бисера драгого у них

весьма много. А оные жители-населники в землю свою никого не пушают и войны ни с кем не имеют». И путь до Беловодья описывался подробно. Сказано было, до какого скита надобно дойти вначале и кого спросить. Тот уже проводит до следующего скита, а тамошние населники отведут к старцу, живущему в горе. Старец с рук на руки передаст искателей пустыннокам из потаенной обители, и так далее, доведут до самого Беловодья. Ясно все так написано, как день божий, ясно! Ну, как не идти, не искать!

У старообрядцев, помимо легенд, была книга с картами, подробно описывающая путь в эту благословенную землю. Называлась эта книга «Путешественник», и была она очень распространенной среди старообрядцев в 1840—1850 годах. В легендарной стране Беловодье, по представлениям старообрядцев, сохранилось древлеправославное благочестие в первоизданном виде. Предполагалось, что Беловодье находится на востоке, по одним версиям «Путешественника» — в горах Тибета, по другим — в Опонском (Японском) царстве. Главное содержание «Путешественника» — описание пути через Сибирь и китайские владения до Тибета, где находится будто бы много древних христианских церквей, есть патриарх Антиохийского поставления, также митрополит и епископы российские, удалившиеся Ледовитым морем на кораблях из Соловецкой обители во время гонений на раскольников.

Множество крестьян с мечтою о счастье и справедливости отправлялись на поиски легендарной страны. Это были в основном молодые мужчины. Они заранее и весьма тщательно готовились к побегу, имели при себе наличные деньги, вырученные накануне от продажи лошадей и сена.

Матренин починок как раз бегуны поставили. Наверняка, и Туровы пришли сюда в поисках счастливой земли, только уже забыли об этом. И книги бегунов соблазнительные Филипп Логинович читать сыновьям не позволял. Говорил Филипп Логинович бегунам: «Грех это — рай земной искать, рай только мыслен, так Господь-то сказывал». А оне перечат: «Разе тебе это Господь сказывал? Это люди сказывали. А люди и соврать могут. У нас книга есть про странствия купцов новгородских Мстислава и сына его Иакова. Буря долго по морю их ладьи носила и прибила к высоким горам. «И видел на горе той: Деисус написан лазорием чудным, не человеческих рук творение... И на горах тех ликование и веселие, гласы вещающие». Это разе не рай? А чё тогда?!»

— Вот и поговори с имя, вот и возьми их за рупь сорок, бегунов етех, — так в сердцах говаривал Филипп Логинович.

А Маркел, старший сын Филиппа и Доси, отравы соблазнительной у никудышников нанюхался, в Заболотове они долго жили, никудышники. Никудышник любого в соблазн введет. Наплетет с три короба, только слушай. И про землю Офирскую, и про страну Макарию, и про град среди моря Веденец. Столь, мол, Божия земля чудна, что, сколь ни гляди, око зрением не насытится. Чё ему, никудышнику: мешок сухарей за спину — и пошел. И карты Маркелу показывали. Староверы еще с новгородских времен тут весь край стежками-дорожками покрыли, как муравьи лесные. И все пути там, гляди, Маркел, все, как есть, прописаны: дойдешь до Михайловского скита, там спроси, как до Изосимовского добратся. В Изосимовском скиту тебе дадут проводника до Сергиевского починка дойти,

а уж оттуда мужик Терентей до места доведет, где знающий мужик Иван живет, он дальше поведет. Чужой ничего не узнает, а свой хоть куда дойдет: от скита к скиту, от деревни к деревне и дале — хоть куда. Может, сгинет где, а может, и впрямь узрит чудеса земные. Маркела соблазнили идти в царство Индийское к людям-рахманам. Маркел и говорит тятю: тутока, мол, в Мудомоях у меня пашня недостаточная, и покос мне не глянется.

Никудышники весной ушли, а с ними и Маркел...

— Не читай, Гринька, спятишь! Иди, дров натаскай да огреби сарайку, вечер бураном надуло. Сказала, положь книгу!

Делать нечего, накинуд Гришаня шубейку, сунул ноги в старые подшитые валенки. Ни единого слова не дала прочитать бабка Анна. Караулит книгу «Библию» по целым дням, чтобы лежала под божничкой на полке и никто бы ее не трогал. А книга, главное дело, не простая. Тамока, тятя сказывал, про все рассказано. По слову Господа писана, дак уж ясное дело, все, как есть, представлено. Разе Господь зря станет говорить-то?

Читать Гришаня еще с прошлой зимы освоил. Учитель приходил. Два мешка ржи тятя отдал за зиму-то. Наловчился Гриша буквы разбирать в псалтыре. Да то псалтырь, людьми писано. Другое дело — книга «Библия». Про все бы тамока Гриша узнал: почему солнце заходит за Матрениным огородом, а встает вовсе в другой стороне — за речкой; почему зимой стужа; как дождь происходит; как Бог нас всех видит?

Вечером вернувшийся из леса тятя Филипп Логинович навесил замок на черные застезки книги, а ключ привязал себе на гайтан. Не по силам человеческому уму постигать Господни

слова, так староверы думали. Убеждены были, что, если Библию до конца прочитаешь, умом непременно тронешься.

— С завтрава в найм поедем с тобой, Гриша. Дорогу большую тутока прорубают. Михей из Агеевки сказывал даве, наймут мужиков на вырубку и расчет дают в тот же день.

Гриша вырос в парня спокойного и работающего. Невесту такому добру молодцу высватали в Заболотове, в богатой семье, красавицу Вассу Сальникову, статную, фигуристую, с румяным круглым лицом. Сальниковы, родня Вассы, торговали маслом, имели жомы для льняного семени и маслобойки для масла коровьего. Богатеть начинали, и девки уже шеголяли в покупных юбках. Жить вот только Вассе десять лет пришлось со свекрами, солдаткой, с малым сыном, которого и отец его Григорий не видел. По деревням раскольничьим набрали в рекруты самых видных парней, срочно, вне всякой очереди, и увезли в Пермь.

...И вполне возможно, был о Грише такой разговор двух генеральских дочек, живших в уездном городе Перми:

— Ирина, вели чай подать. Почаевничаю да поеду. Ах, сестрица, как хочется в Москву! В Москву, в Москву! Все же дикие здесь места. Даже простой народ совсем не такой, как в Москве. Я их боюсь. Мужики громадные, ручищи длинные, а говорят так, что и не поймешь. Как из бочки.

— Ты, Маша, не права. Наш народ — святой страдалец. Но сколько еще предстоит работы, чтобы принести свет знаний в эти темные души! Вот только что рекруты новые у нас в саду листья прошлогодние сгребали, отец прислал порядок навести к моему рождению. Один рекрут — парень молодой, здоровенный. Я мимо проходила с книгой. Так он в книгу эту прямо глаза-

ми впился. Я учусь разговаривать с народом, спрашиваю его: ты, мол, откуда? Из деревни Верхние Кизели Оханского уезда. И все на книгу косится. Он книг, похоже, боится, никогда не видал, наверно.

— Тут у них по деревням все раскольники, совсем народ дикий. И что ты, Иринушка, можешь дать этому человеку?! Не знаю, не знаю. Сама подумай, зачем ему книга? Отец говорил, эти рекруты ждут баржу до Нижнего. Ах, как здесь тоскливо...

— Ты, как всегда, не в настроении, Маша.

— Право, сестрица, чем о раскольниках рассуждать, давай-ка чайку попьем.

Эти генеральские дочки, скорее всего, Москву увидят лишь в эмигрантских снах где-нибудь в Париже, Константинополе или в Америке. А здоровенный, статный крестьянский парень Григорий уехал как раз в Москву, вместе с другими молодыми рекрутами-раскольниками из Перми и Нижнего Новгорода, чтоб в охрану встать на государевой коронации. В столицах тогда свирепствовал террор, бомбисты. Никому веры не было. Набрали парней из самых глухих деревень, за неимением времени обучили только навтыжку стоять. Расставили густо, как столбы, перед собором, не велели даже моргать, когда царская семья выйдет. На этих парней можно было положиться, их не подкупить, идей опасных в головах нет, а на чем старовер крест поцелует — не сдвинешь. Домой Гриша написал письмо, чтобы знали, что жив. Так и так, царя видел, вот как, бывало, тебя, тятя.

Так и отслужил десятилетнюю армейскую повинность кремлевским охранником, стоял и во дворах, и в оцеплении подле коронации. Умом от столичной роскоши Гриша не тронулся,

глядел кругом с интересом. Хоть и тосковал о семье, молодой жене, а глядеть хотелось. Не наполнится око зрением; видно, кто-то сверху слышал мысли его и желание знать, где и как живут люди и что придумывают. Фотографию, например, придумали. Так бы жизнь прожил и не знал, что он такой добрый молодец, кабы на карточку не снялся!

Домой писал: «Трудного ни в чем не нахожу, только в том, что воля не своя... Пропишите, ходит ли к нам по вечерам любезный дяденька Александр Филимонович. Благодарю их и низко кланяюсь. Бог привел увидеть здесь многое, чего бы дома не пришлось увидеть никогда. Например, я здесь был очевидцем полетов на аэроплане, всего от наших казарм 40 шагов, где он поднимался. Мертвые петли в воздухе делал. Когда смотришь, становится страшно, что вот-вот упадет и разобьется насмерть. Привезу книги, иконы, шаль жене Вассе. Выгучим детей и выведем в грамотные люди».

Шесть десятков с лишком лет Филиппу Логиновичу. Силен еще, а уже хочется на сыновей опереться. Не на кого опереться. Маркел ушел, Григорей в Москве. Что с ним, с Филиппом, случись, как семье жить? Нет, какой ни есть, а последыш Тимка в семье работник. Из рук ничего не падает, топором так разрубит еловый ствол, что торец блестит, как зеркальный. Сила немалая гуляет, что ты с ним поделаешь.

Подождем Гришу из Москвы, а там и женим Тиму-молодца. И обломает его крестьянская жизнь, уймет молодая жена. Так думал Филипп Логинович. Но так не получилось. Беда стряслась в доме старшей дочери Анны. И Тимку туда, в беду эту, тоже, как нарочно, кто сунул.

СЛЕЗЫ ЛИСТВЕННИЦЫ

...На прошлый Покров день Анна Филипповна и Михайло Терехины женили сына. Какая-то невеселая была свадьба. Хоть все сделали по чину: и сговор, и рукобיתье, и пропой невесты. И дом небедный у Терехиных, а гости все так себе, неуважаемые какие-то гости. Мелкота деревенская, которой только поесть да бражки попить. Да косточки хозяевам перемыть.

— Это чё, это чё, родня с жениховой стороны не пришла, Михайловы-те братовья. Никого нету. Далеко ли идти, все по починкам, недалеко. И у самой-то у Анны только сестрянка из Дубровы приехала.

— Ну, чё, считай, Анна теперя хозяйка туту. Как самой-то не стало, Домны.

Анна Филипповна и в самом деле смотрелась хозяйкой. Наконец-то она сама станет решать, как жить и что делать. На поздний Спас похоронили свекровушку. Двадцать лет жила Анна под свекрухой. Шагу не ступи без позволения. Семья держала курень, жгли зимами уголь на продажу. Как управятся с уборкой, съезжают всей семьей в лес, в маленькую избушку. Лес валили, на чурбаки пилили, ставили курени — засыпанные сверху землей кучи чурбаков. Как снег падет, курени запускали. Надо было, чтоб не горело, не прорывался верховой огонь, а медленно тлела внутренность куреня. Денно и ночью нужен пригляд. Дым, сажа, все в копоту. Молитва — работа — молитва — обед — молитва — работа — молитва — сон. Прогоревший курень надо разобрать, уголь в коробья загрузить да по санному пути свезти в Оханск на пристань. И так-то всю зиму. Двадцать лет, не разгибаясь.

Пластались цельными днями. Горластая двужильная свекровка погоняла и снох, и мужиков. Только к весне, как развезет дороги, сбирались с куреней домой. Лиц не знатко — до того черны. Сразу в баню, грязную лопотину сымали, парились, оттирались от угля, а все равно оставались на лицах черные следы. За двадцать лет ввелась в кожу угольная пыль; кажется, и небо было все в этом угле. Поэтому и была у Терехиных в деревне другая фамиль-прозвание — Сажины.

Братовья Михайлы от угольного промысла отошли, стали жить на починках. А Михайлу, как ни звала Анна, увести не удалось. Уж больно покорен был матушке, слаб характером. Хороший мужик, только шибко смиренный, в отца. Ну, зато и матери, и жене послушный. Старшие Терехины деньги складывали в долбленную схоронку в стене, семья жила скупо, одевались бедно. Уж и силы обоих стариков были не те, уже можно было нанимать работников, но они не понимали, как это — не робить. От тяжелойшей работы не змогла Анна рожать. Только-то и остался в живых — один Левонтей.

В запрошлом лете в Оханском на ярмарке сговорила Анна с купцом-старовером из Екатеринбургa. Всю зиму семейство рубило лес и свозило к оханской пристани. Весной связали плот, купец дал знающего плотогона, и большой весенней водой погнали они плот до торгового города Казань. Там купец продал лес, хорошо расчелся с дольщиками. Пошли домой, все речным берегом, торной дорогой. Где скиты были знаемые, останавливались, молились и шли дальше. Много народу разного бредет по Руси! В Казани купили товару домой, ситцев, посуды. Машинку швейную купили. Называется «Зингер». Так ее Анна и несла.

Не тяжелая машинка. Обучил ее бойкий приказчик нитку на челнок наматывать, показал, как шов кладется. Да быстро так шьет машинка, — радовалась Васса.

Домой пришли в середине лета — к могиле. Старший Терехин помер ударом. Изробился мужик. Сел под образа и не встал. Этим же летом Бог забрал и свекровку. Она слегла сразу же по приходе детей и уж не поднялась. Заходила в кашле, мучительно исторгая черную пену. Похоронила Анна свекровку, поголосила, как положено, но вздохнула полной грудью. Хватит этой черной работы, хватит уголь этот проклятой глотать и дымом дышать.

Чё нам теперя не жить? Дом построили хороший, деньги есть, наймовать работников станем, нам с Михайлой по сорок лет только, поживем еще. Так думала Анна. И свадьба радовала ее, и урожайная осень. И невестка глянулась, Татьяна. Тихая, спокойная. Левонтей свадьбе был не рад. Ничего, потом матери спасибо еще скажешь. А то чуть не охумтала парня Анисья Овчинникова. Девка здоровущая, горластая. Из Меновщиков, рядом деревни. Мать с отцом славные, работящие. И ей Левонтей глянулся. Просил Левонтей мать с отцом: мол, посватайтесь к Овчинниковым, а не то выдадут девку, у их сваты уже наезжают из Троицы. Анна со сватовством тянула и тянула. Опасалась: придет Анисья — станет ли слушаться? Вон бойкая какая, из дома богатого. Анисья, казалось Анне, больно уж на покойницу-свекровку похожа. И сама высмотрела Анна свое горе, сама за руку привела. Кабы, верно, что знать, знато бы...

Татьяна жила в починке с вдовой матерью, прижитая неведомо от кого. Сказывали, от беглого с каторги цыгана. Мать

шила, ткала и вязала в люди, жили бедно. Уж чем Анне поглянулась Татьяна, так это робостью своей, скромностью. И мать говорила Татьянина, что девка скромная и послушная, работающая, шитью обучена, и люди так сказывали. Ну вот, на машинке будет и семью обшивать, и в люди шить, — так думала Анна. Из себя девка невидная, худоватая, жилистая. Глаз у ей какой-то ненашенский, думалось иной раз. У старовера глаз круглый, твердый, глядит — не сморгнет. А у Татьяны глаза длинные, аж с лица будто загибаются. И всегда прикрыты маленько, и куда глядят, не поймешь. Михайло был недоволен: «Нашто тебе эта нечунайка? Нам для себя купить бы дом в Оханске, этот молодым оставить. А? И живи оне...»

Анна не могла нарадоваться на свою сношеньку. Уж до того тиха, до того покорна, не помедля делает, что ни скажи. Левонтей ходил мрачный: жена ему не глянулась. «Обыкнет, — думала Анна, — какая она ни будь, а все же баба, прилепится». И, творя вечернюю молитву, благодарила небеса за жизнь свою, за мир и покой в доме.

Мир этот перевернулся после родов Татьяны. Нелегко рожала, даже думали — помрет. Склетенья Коньшина, которую позвали помочь, читала разрешительные молитвы, кропила богородичной водой, шептала и пела над Татьяной, то кричавшей и метавшейся, то впадавшей в безмолвие. Коньшиной дали жбан меду, поскольку выжили роженица и ребенок. Девка родилась. Тихая и спокойная, в мать, с такими же долгими глазами.

Левонтей был доволен, как-то подобрел к жене. Это радовало Анну: ну, вот и прилепился. Рожь в том году уродила хорошо, начали жать. Анна, собрав сноп, хотела передать его Татьяне,

но та как будто и не слышала. Анна сказала еще раз. Татьяна подняла взгляд своих долгих глаз, и Анне почему-то стало холодно посреди летнего дня. И не подумав принять сноп, Татьяна отвернулась и склонилась над рожью. Власть Анны над ней кончилась раз и навсегда. И голос Левонтея как будто изменился. Раньше он говорил с женой тоном спокойно-равнодушным. Сейчас, отдавая ей мыть свою рубаху, неуклюже улыбался и даже ростом становился ниже.

Татьяна была тиха по-прежнему, но это была уже не та тишина. К свекрови это была тишина полнейшего равнодушия, к мужу — снисходительного внимания. Мать Левонтей вовсе как будто перестал слышать. С каким-то напряженным вниманием он всматривался в тихое лицо жены, ловил убегающий взгляд долгих глаз. Анна все еще не понимала, что произошло, пыталась восстановить свою незыблемую власть матери и хозяйки дома. Более резко и настойчиво она обращалась к Татьяне. Только спокойное молчание было в ответ.

— Поди, вымой рубахи да в пруду выполощи, как следует.

Даже эти слова Анны были на самом деле ее отступлением. Сношенька послушная сама должна работы просить: благословишь ли, матушка, рубахи мыть? — вот как быть-то должно! Благословит матушка — так это милость к тебе. Благодар и ступай робить. Так в семьях у староверов заведено, и от веку так было. А тут не только что не просит, но и не слышит. Идет Анна сама полоскать рубахи. Свекровушка идет робить при молодой снохе. Сколь позору-то от деревни.

Левонтей материн выговор слушает, повеса голову. Внушение отца Михайлы Федосовича тоже слушал не перечая. Вдохнул

только, глянул недоуменно: мол, о чем вы тут? Отец пошел круче, уж за плетку стал хвататься. Анна его останавливала, уже жалея, что начала этот разговор. Татьяну происходящее, казалось, совсем не задевало. Так же тихо ходила она, так же неуловим был взгляд долгих нездешних глаз. Новая власть в доме не радовала ее — было видно. Она сама как будто не вполне понимала, что происходит. Мужнина привязанность ее тяготила, а его робкий взгляд явно раздражал.

— Вовсе Татьяна в говно мужика растерла, — понеслось по деревне, — вот глазок-от цыганской, такой глаз!

Пришлось Анне свою гордыню переступить и попытаться поговорить со снохой по-доброму. Али пообидела я тебя, пошто ты так-то? Татьяна, уткнув лицо в ладони, заревела в голос. Убежала в чулан, заперлась, и долго слышала Анна яростные рыдания. Видно, и сама она над собой не властна, — так подумалось Анне. И ничего от этого разговора не изменилось. И Анна жалея, что дала слабину. Умом нешто тронулась при родах бабенка? Ну, так пусть по скитам идет, за мир молится. А дома робить надо, слушать старших. Иначе жить нельзя.

Может, все же старшим уехать в Оханско? Пускай молодые живут, как знают? Поговорили-поговорили меж собой Анна с Михайлой, порешили зиму пережить в деревне, дом присмотреть и весной переехать.

В Рождество обязательно дома надо быть, на Рождество приходят шуликаны. Хмельные и бесстыжие, они пляшут и поют свои похабные частушки. А как же! Одним святым-то духом сыт не будешь! Непорочное зачатие — оно только у Девы Пресвятой. А крестьянам надобно, чтобы кобылки были жеребые, ко-

ровы стельные, овцы суягные, чтобы много было и ребят, и гусят, и поросят, и всякого иного приплода. Поэтому в Рождество гоило славили, столб животворящий, называлось «шуликанье».

Ходили по деревне шуликаны: шубы вывернуты, мужики бабами одетые, а бабы — мужиками. У мужиков спереди под кофтами навешаны по два мешочка со льняным семенем, а у каждой бабы к поясу на ляжке привязаны длинная толстая хреновина и пара крупных луковиц. Шуликаны друг друга шшупают, хреновинами трясут, частушки поют, пляшут — всех святых выноси! Святые святыми, но если шуликаны не погуляют, не видать у скотины приплода, баба скинуть может, а то и родами помрет. А с пузом полно молодок, которы в Покров свадьбы сыграли. Лупит шуликан хреновиной и хозяйна, и хозяйку, и печку, и скотный сарай: живи живое, любись и плодись!

В шуликанье кого попало брать нельзя. Понимать надо, кому что пожелать: в доме приплоду али в конюшне. Где-то и хозяйке можно юбку залупить — это кому помоложе, конечно. На старые-то кости кому глядеть охота? А молоденькой бабочке закинут юбки на голову — вот визгу! (Никаких трусов ране-то не нашивали, даже и в мороз.) Шуликанов надо шаньгами да пирогами угостить, подать браги и в мешок положить богато, тогда и год будет в доме богатый и сытный.

К шуликанью и пришлый народ пристраивался: накормят-напоят, с собой дадут. А где-нибудь под шумок в темных сенках и другого чего перехватить удастся от веселой, пьяной бабы... Шуликанье, оно на то и шуликанье. Так уж ведется, и не нам отменять.

Анна рассовывала по мешкам шуликанов пироги и круги масла. Вдруг в сенках послышались шум, крики, бабий визг. Громный Левонтей в распахнутом тулупе лупил поленом жену, валяющуюся на заснеженном полу в сенках. Татьяна извивалась, обнимала его валенки, хрипела и стонала. Анне даже почудилось что-то сладостное в этих столах. Никто даже не посмел сунуться к разъяренному Левонтею, и все кончилось само собой. По телу Татьяны прошла длинная судорога, она обмякла и вытянулась. Убил нешто?! — завыл народ. Подняли, потащили в избу.

Татьяна была жива, но в сонном забытьи. Пошумели и разбрелись соседи. А соседка Домна, которая тоже в тот вечер пришла с шуликанами, доложила, что Левонтей застал жену с Тимкой-гоёнком, который зашел с шуликанами. И с каких-то пьяных глаз залупил юбку Татьяне в холодных сенках. На самом на меду их застучал Левонтей. Пока Левонтей искал полено, Тимка убежал. А Татьяне деваться было некуда, а может, она и не хотела никуда деваться. Анна в тот вечер так и не нашла Левонтея. Живучая баба наутро встала как ни в чем не бывало. Даже усмешка какая-то скользила в уголках рта. И уж на этом переменилась окончательно. Работать перестала. Анна пробовала не давать еды, так смиренной с родителями Левонтей чуть руку на мать не поднял. По целым дням Татьяна бесцельно бродила по дому или лежала на лавке. И сколь ни угождал ей Левонтей, становилось от этого только хуже.

На Великом посту Анна сказала пойти в скит Белогорский, молиться за покойных родителей, за детей и семь колен тех, кто за нами придет. А сама ушла к одной сильной бабушке. Та жила в починке возле скита, одна-одинешенька. Дорожка к ней

вела торная, бабьими ногами выглажена. Приходили к ней бабы, кто за чем. То у мальчика грыжа выпрет, то у самой хворь приключится. Девки бегали, коль взойдет охота миленька приворожить. На коленях ползла Анна, просила для сына спасения. «Против Татьяны ничё не могу, — так сказала бабушка. — Я приходила в деревню, поглядеть на ее хотела. Слышать стало. Думаю, придет кто-нинабудь просить против ее, дак погляжу. Глаз у ей таков, цыганской, чё поделашь. Ей и самой маетно, а совладать не может. Молись токо, вот и все».

Придя от бабушки, узнала Анна, что еще не всю чашу горя она выпила. У мужа и сына покаянные лица, глядят друг на друга злобно. Дрались!

— Михайло, давай уедем, хоть на этой неделе, давай, как собирились, в Оханско уедем!

Но Михайло, такой всегда покорный воле жены, как будто тоже перестал ее слышать. Тут Анна и поняла, с какой стати подрались мужики. Из-за Татьяны, из-за ведьмы этой! Господи милостивый! Да неужто ты так меня наказываешь! Да за что?!

То ли нарочно Татьяна свекра с ума свела, то ли само собой случилось — это неизвестно. Только захотелось ему к ней прижиматься и не отходить никогда. Только чувствовать эту неведомую радость во всем теле. И все. Не грешно и не стыдно было ему драться с сыном, который эту радость отбирал.

Никогда потом Анна не вспоминала эти недели, когда Татьяна измывалась над ней. И муж, и сын ловили взгляд проклятой цыганки. Анну ни на мгновение не отпускала нескончаемая бабья работа, лежавшая на ней одной. Покос в том году был хороший, но мужики выехали поздно, трава начала жухнуть, откосились

кое-как. Вечером на Васильев день, заводя квашню у печки в зимней избе, Анна услышала в летнице мерный перестук и не то хохот безумный, не то визг. Перешла сенки, выглянула в летницу. Господи, твоя воля!

Посреди просторной летницы, как в забытьи, вьется в неведомой пляске Татьяна. На ей только белая рубаха, и та сползла с плеча, волоса распущены. Тело извивается и дрожит, титьки под полотном ходуном ходят. Веют волосы, а пятки отбивают дробь по выскобленным Анной половицам. На лавках, один справа, другой слева, сидят ее мужики, подавшись вперед всем телом и вперяясь в танцующую безумным взором. Ее родные мужики, такие послушные и спокойные, ее муж и сын. Видно было: сунься она — убьют. Бросив квашню, Анна ушла в сенки и бессильно повалилась на кучу половиков. Но дверь чулана с грохотом распахнулась, ввалился Михайло, крепко прижимавший к себе полуголю, в разодранной рубахе Татьяну. Кинув ее на половики, сгреб Анну и вытолкнул в распахнутую дверь. Встал в проеме, громадный, лохматый, со всклокоченной бородой: у-у-у!!!

Натыкаясь на углы, Анна вернулась в избу. Левонтея не было. Как во сне, домесила начатую квашню, вынесла ее, легла на печь, свернувшись калачиком, задернула занавеску. Слышала, как пришла Татьяна и легла на лавку. Долго лежала тихо. Потом, как будто упав с лавки, на коленях поползла к иконам. Молилась, колотила лбом земные поклоны, выла, просила спасения. И в тусклом свете лампы чудилось Анне, что глаза святых угодников делаются столь же безумными, как и глаза ее мужиков.

Под утро Татьяна затихла. Анна глянула с печки в неясном еще утреннем свете: спит беспокойно, все еще будто молясь.

А может, продолжая пляску. Анна слезла с печи, совершила утреннюю молитву. Глянула на иконы: глаза угодников были все так же безумны. Вышла в сенки, принесла квашню. Начинаясь день. Такой же, как вчера. С безумной Татьяной, безумными мужиками и безумными угодниками. Дьявол пришел, дьявол это глумится над ней, сатана в ее доме пляшет. Да что же это, Господи!

Рука ее, зачерпнувшая было тесто, остановилась. Тесто осело, что-то уже падало меж пальцев на пол. Она подошла к лавке. Татьяна спала, запрокинув лицо. Тесто само шлепнулось на эту морду дьявольскую, а сверху туго легла подвернувшаяся Татьяна юбка. И силы в руках Анны было — немерено. Завозилась-закряхтела девчонка в зыбке, раскрыла на Анну длинные материны глазки. Та схватила с полу ком теста и кинула в зыбку — на глазки эти ненавистные. Стало в избе тихо-тихо. Спокойно. Наконец-то спокойно.

Анна сложила в котомочку сухари, солонину. Достала из заветной схоронки маленький узелок с деньгами. Прихватила новые лапти, швейную машинку. С мужем столкнулась во дворе, тот отвернулся. Не глядя на него, сказала, что идет в Кленовку к сестре. Быстрым шагом миновала деревенскую ограду и свернула в лес...

Похороны Татьяны были торопливыми. В кладбищенскую ограду ее не пустили положить, зарыли в черном овраге. Там находили последний приют утопленники и те, кого в деревне признали колдунами. Считалось, что домовина с колдуном из земли всплывает и колдун по ночам ходит по оврагу, но вылезть не может, поскольку овраг поверху закрестили. Одуревшие Терехины оба сидели на свежей могиле несколько ночей, но гроб

не всплыл, и они к осени разбрелись кто куда. Михайло подался в скит, молил святых заступников за усопшую Татиану. А не простите ее — дайте в одном котле с ей кипеть. Просил свидетелься хоть в геенне огненной. Старцу на исповеди покаялся в мыслях своих, был из скита изгнан. Сколь-то бродил деревнями, прося подавания и надеясь на загробное свидание. Сбылись ли его чаянья — Бог весть. Левонтей, сын его, подался в бурлаки и сгинул в пьяной драке в Казани.

Анна никаких вестей родне не подавала. Доходили слухи, что живет возле Кына, держит курень, разбогатела, поставила в скиту вечный поминальный крест из лиственницы, той, что плачет долго...

ТИМКА-ГОЁНОК

Филипп Логинович молился за спасение души дочери Анны и рад был, что Тимкино прегрешение оказалось забытым за всем этим. Да и не считали это большим прегрешением в шуликаньё — уж такой день. Не нами заведено. Но ведь что делает дурная слава! На Василья майского пришли сваты к соседям Гилевым. Дочь сватать, Сину (Ксенью). Старшая у Гилевых Сина, матери помощница, несупротивная, обходительная. И собой видная, женихов много. Отказали сватам: другой был на примете. Мол, не обижайтесь, люди добрые, уж сговорено. А сватов, видно, тако сердце взяло, давай по деревням слух распускать: мол, девка эта, Сина Гилева, уже с пюзом от Тимки-гоёнка, как он ейный сосед. Гилевым кто-то ночью возле ворот наложил, а ворота дегтем

вымазали. Сина отцу с матерью поклонилась: прощайте, тятя с мамой, пойду в срубе сожгуся, как я невиноватая. И родители за косу не хватали, не держали, нет. Ревмя мать-то ревела, а что поделашь, не захотела девка напраслину терпеть. Раз ее душе совсем несносно, то и считается, что не грех. Ушла Сина в баню, заперлась и сожглась.

Беда деревне! Не своей смертью умерла Сина, она теперя мертвяк, покойница заложная. И некуда ей деваться ни на небе, ни на земле, пока не промается весь свой отпущенный век. И вот кто ее загубил, возле тех она и станет бродить. Как ровно тень бессловесная... Камешок ли под ногу подкинёт, бревнышко ли под руку толкнет, огонек ли поднесет. Камешок подкатится, бревно накатится, огонек не погаснет. Кто-то упадет, да до увечья, кого-то бревешком придавит, да до смерти. Изба сгорит, и не зальют. Только ровно тень в окнах — то мелькнет, а кто виноватый, тот и смекнет, все поймет, да поздно будет. И избавления никакого нету теперя. Мертвяк, ведь он чё? Пока его помнят, он дорогу знат. Забыть бы надо мертвяка, тогда и он дорогу забыл бы, убрел бы в другие края. А виноватой не забывают, он, виноватой-то, все помнит, вот мертвяк и будет приходить по его памяти, как по дорожке. Ну-к пожар большой нашьлет?! Чё тогда?!

И хоть Тимка крест положил на том, что он совершенно невиноватый, а молву ничем не перешибешь. Раз согласья с людьми не получилось, не жить было Тимке в деревне. При чем ли, ни при чем — всех собак повесят. И семье никакого мира с соседями не будет. Надо было что-то делать.

Тимкина судьба решилась на Оханской ярмарке. Филипп Логинович туда Тимоху с ружьем взял. Непокойно было

в тот год, говорили, что в городе стреляли мастеровых. Рас-торговались хорошо, а в последний день разговор вышел занятный. Нанял Тимоху купец аж из-под Нижнего Тагила, из Мурзинки. Для охраны. Приехал мужик за рыбой вяленой к Великому посту. Боюся, мол, ворочаться, отпусти со мной Тимоху. И положил хорошо — чего не отпустить. Тимоха себя в обиду не даст — не таковский. Сговорился Филипп Логинович с Фадеем из Заболотова вместе домой ехать, да и отпустил Тимку. Тот вернулся через две недели — на денек. Пошла его жизнь совсем по другой дорожке.

— Да баловство его, чё говорить! — так считал Филипп Логинович, один съездивший к сыну в гости. — Камешком балуются. Он и мне казал, да я не толкую. Цветные такие камешочки, полна горсть у его была. Мол, в Петербург возит тесть у его и тамока шибко дорого продает. Ну, улетел Тимка — не видать, как высоко. Мастерскую держат, людей нанимают. У Тимохи уж два жеребца. Баба у его мне не поглянулася, худая. Дак ведь Тимка своему гоилу завсегда место найдет. А земля у их тамока незавидная: булыги одне.

Пыль столбом — так погнал Тимоха по жизни. Это тебе не за сохой брести. В деревне не бывал, как уехал. Заехать все было недосуг. Да и как-то не мог он там без бороды, со «скобленной рожей» объявиться. Это ж для старовера — все равно, что без штанов. Хоть какой будь богатый. Чего родителей позорить?

Ходил Тимофей с мужичками по Вишере, речкам и ручьям в северной стороне, золотишко мыл, искал светлый камешок алмаз. Тоже не просто тебе так: пришел, намыл да ушел. Тайком все, мимо соглядатаев строгановских, по староверческим кар-

там, от скита к скиту. Были свои люди в скитах на Колве. Держали для них инструмент, показывали места за десятую долю. Там, в глухой парме, на Колве во множестве стояли заветные староверческие скиты. Грамотеи-книжники денно и ночью трудились, были умельцами изладить толстый кожаный переплет, навесить бронзовые застежки. И понесли книги по деревням староверов, попрятали в сундуках чуланных. Придет под осень учитель из скита, соберет ребят и откроет такую книгу.

Тимоха, правда, одинова чуть наовсе в парме не остался. Украли мужика. На Тимшере дело было, есть такая чистая речушка в лесах. Отошел на два шага от своих, присел по нужде. Мешок на голову — и как малого сцапали.

— Бегуны мы, деревня у нас тутока недалеко, на Тимшере. Иди давай своими ногами. И не шуми. Ничего тебе плохого не будет. Поживешь у нас седмицу, потом уйдешь. Ты мужик здоровенный, баской. И девки у нас тоже справные. А мы тебе потом один ручей покажем, много песка золотого возьмешь.

Собственно говоря, Тимофей ничего против и не имел, в эту бегунскую деревню потом наведывался не раз. Бегуны не признавали ни священства, ни брака, уходили-убегали в глухие леса, в поиски Беловодья, в глухое «нетовство». Такие, как Тима, им нужны были, чтоб совсем не вымереть.

Сидеть у тестя в Мурзинке Тимофею никакой охоты не было: жена не манила, надзирать за рабочими не хотелось, гранильное ремесло, требующее спокойствия, упорства и точности, было не для него. Ему бы все идти да ехать. Товар готовый возил в Петербург, товар дорогой, только гляди вокруг, охочих много до чужого добра.

— Опеть ноне шалят на тракту. Какот Васька-казак обижат купцов. Иной проскочит, иного догола разденут. На наши две подводы с халцедоновой галькой и то позарилися. Все перерыли-перевернули. Чё искали, скажи? Золото, видно, мол, под галькой схороняют. А я золотой песок даве провез. Ноне — только гальку. Дак и то жалко. Все еть денег стоит, а галька в глине вся, в грязе, считай, пропала. На конях налетели, с криком, с визгом, сказывали, шибко страшные. Как товар-от везти?! Обозом ехать — хуже. Один езжай, верхами, ты бойкой, проскочишь.

На том тракту Васька Чапай разбойничал. Тимка гонял, охраняя купеческие обозы. Бешеная между ними завязалась драка, где не жалели ни коней, ни людей. Засады, погони, хитрость, коварство, смелость отчаянная. Они были ровесники, похожие друг на друга, как сапоги одной пары: один правый, другой левый. Абсолютно одинаковые и несовместимые — абсолютно.

Революции Тимка не заметил. С его стороны стал Колчак — он и оказался с Колчаком. А Ваську красные сговорили — богатых бить.

...Напльвают воспоминания, обрывки чьих-то слов, лица. Фронт Гражданской войны огненной полосой идет пореченскими деревнями. То белая власть, то красная. Кто может, прячется по лесам. Филипп Логинович отправляет Григория с семьей на дальнюю пасеку, к чудам. Чуды стерегли пасеку от медведей и бродячего народу.

Филипп Логинович давно пасеку не возле деревни, а в лесу поставил. Спокойнее. Чуды сами пчел держать не толковали, а медок любили. Смешные они все же, чуды эти. Есть ли у них слова или нет, так Филипп Логинович и не понял. В зем-

лянках жили, дома ставить не толковали. А любопытно имя все было. Что ни начнешь на пасеке делать али топором рубить, обя-зательно несколько чудей придут — удивляться. Чудь, одно слово.

А Тимофей по делам военным в 1919 году оказался в Кленовке, волость у его деревни была Кленовская. Думал единым духом обернуться, а пришлось завернуть в деревню. Показали ему в Кленовке списки тех, кого красные расстреляли. Без интереса глянул. Его родня и при власти сроду не была, и не богатеи. Только и знали, что молиться да робить. Кто их тронет, кому они нужны! Глянул — в глазах потемнело. Шестеро Туровых: Иван, Степан, Федор, Никола, Зиновей, Дементей. Братовья, дядья, брательник, соседи. Первое чувство было только изумление: этих-то за что?! А все волостное земское собрание положили, — такой был ответ. Земля ушла из-под ног Тимохи. Он, блудный сын деревни, готов был обидчиков ее своими руками, зубами... Взлетел в седло и, отмахав единым духом десять верст, спешил к у родной избы.

В деревне, слава Богу, стоят свои. Идет в дом. Видит мать. Та в ужасе шарахается от него. Еле узнает, но смотрит со страхом. Заходит в избу. Тятя лежит на лавке, половина лица завязана кровавой тряпицей. Мать ревет в сенках. Отец в беспамятстве. Похоже, умрет. Выходит. В сенках — пацаненок, подросток. Ты кто?! Пацаненок рванулся убежать, но от Тимки не убежишь. Поймал. Кое-как объяснил, кто он. Парнишка сказал, что он сын Григория, то есть племянник Тимки. Тятя, мол, с мамкой на пасеке, дед отослал. А его, Миню (Дементя), с дедом оставили, на пасеку прибежит, скажет, если что.

Деда вчера военные били крепко. Один из офицеров прицепился: почему ты, мужик, в землю не кланяешься, чего стоишь, как столб, не смей, мол, мне в глаза глядеть. Ну и обзывался всяко. Деда ему перечит: разе ты Господь, кланяться-то тебе? А он за бороду деда таскал, велел пороть без остановки. Нагайкой глаз вышиб. Деда теперя без памяти, помрет, видно. Миня тихонько завыл. Кто порол, помнишь? Покажешь? Миня вытер сопли и кивнул. Показал обидчика и спрятался за соседней избой. Тимофей спокойным шагом подъехал к офицеру, который только что спешил у коновязи и, достав саблю, чистил ее. Тимка пинком вышиб саблю, на лету перехватил ее. Как кочан, свалилась голова. Все произошло так быстро, что никто ничего не увидел и не понял. Тимка благополучно ускакал.

...В уральской деревушке Верхние Кизели лицом к лицу столкнулись друг с другом две России: дворянская и кержацкая, доселе не выдавшие друг друга никогда. Глянули друг другу в глаза два по-своему замечательных человека, имеющих твердые понятия о праве, долге и человеческом достоинстве. Они встретились, как люди разных стран и разных народов. Ни интереса, ни уважения, ни понимания — только ненависть...

Долго-долго, до конца дней, Тимофею снился Андриян. Все спрашивал: почто друг друга убиваете, братия? Ведь это грех...

Тимофей знал его давно как хорошего коновала в Оханске. Заезжал не одинова, Тимофей сам всю жизнь на лошадях и с лошадьми, всегда норовил разузнать и расспросить знающего коновала. Тут тонкостей-то много, иные от отцов и дедов переняли. Лошадей покупать — Тимофей только с Андрияном и ходил. Подумывал, не стать ли конским заводчиком, все собирался.

Когда гонять надоест. Как в года, мол, войду, так и стану лошадок разводить, Андрияна к себе позову.

В Оханске жил брат тестя, купец тоже, Вохминов. Держал лавки и в самом Оханске, и в Соснове, и в Очере. Братовья помогали друг другу деньгами, Тимофей езживал туда-сюда за год не поодинова. Это только кажется, что далеко. Не трактами гонял Тима, а потаенными старинными тропами. От скита к скиту. Знаемые люди были, старцы, молитвенники да книжники. Своему человеку тут всегда рады, напойт-накормят, в баньку сводят, лошадам овса дадут. Тимофей порой от тестев книги вез для скитов, а то одёжу или какую справку для домашних нужд.

— Что ты снишься мне, Андриян? Что ты меня спрашиваешь? Что я могу тебе сказать-то, что?!

Андриян мужик был самый простой — Клещов Андриян. Коной правил и надсаду снимал. Они все, Клещовы, издавна этим и жили. И живи бы ты этим, Андриян, жив бы, может, остался...

Но какую-то выглядел Андриян в небе свою путеводную звезду и побрел, куда — не знаю. Свел знакомство с Чудиновым из Очера. Тоже такой же, одно слово — Чудинов...

Отец у него, у Чудинова, Гаврила Александрович был грамотей-самоучка, волостным писарем по деревням нанимался. Должность была тогда значимая, писаря выбирали на сходе. А как же, надо ж было доверять человеку. И в Кленовской волости его тоже хорошо знали.

Константин был младший, тоже грамотеем уродился. Одно время служил счетоводом на железной дороге, но только для того, чтобы на белый свет поглядеть. И даже, сказывали, на Дальний Восток уезжал. Но как обзавелся семьей, так стал

земским деятелем. Его супруга Мария Алексеевна учительствовала. Достаток скромный, а все деньги — на книги да журналы. И все про новшества разные, машины, сеялки-молотилки, скотину породистую.

Андрян в эти дела ушел со всей душой и головой. Все подбивал и Тимофея отойти от бродячей жизни, осесть, хозяйство завести. Тесть бы капиталом помог. Хорошо бы зажили мы, а, Тима?

Тимофея с годами и самого все больше тянула к себе родная земля. Камешком баловаться — дело выгодное, конечно, да для мужика оханского неосновательное какое-то. Для ча стараться-то? Чтобы ете камешки городская барыня нацепила? Что после тебя останется? Камешки ейные? То ли дело дом в Оханске поставить, мельницу, земли десятин с полсотни иметь, конский завод... Это ж, брат, совсем другое дело.

Андрян разворачивал газетку, гордясь, показывал. Во, гляди, про наш съезд написано, крестьянский! И что я тамока говорил, все написано, даже еще и лучше:

«...Говорят, что человек человеку волк! Говорят, что человек с человеком на грызне и сваре строит свое благополучие, свое счастье. Говорят, что борьбою между людьми ведется история человечества и устройство его жизни. Нет, не враждой, а любовью должна руководствоваться жизнь человеческая. Наша идея есть идея мирного развития, основанного на добрых чувствах человека, на его любви к ближнему...»

— Ну, я так и сказывал: зачем, мол, нам воевать-то, Тима? Ето ж сколь добра уходит ни на чё, сколь народу убивают... Давай, мол, жизь устраивать. Вот так вот все и написано, как я ска-

зывал. Я только не знаю, что за слово такое: идея. Написано тут-ока: идея. Чё это? Надо будёт у Чудинова спросить. Мужик умной, все знат.

В конце четырнадцатого года Андрияна посадили за отказ идти воевать. Сидели с полгода в Перми вместе с Чудиновым, вот уж два лаптя пара. Досьга наговорились, поди. Тимофей бы в отказ не пошел, но его не призвали, а сам напрашиваться не стал. У него и здесь то и дело война, товар-золотишко возить. Голову-то и здесь можно сложить. Легко.

Больше им свидеться не довелось. Никого из родных-знакомых в военные годы Тимофей увидеть не старался. Все они, все до единого, были полностью беззащитны перед огненными лавинами. Кого ни встретишь случайно — только и рассказов про бедствия, разорения, смерть... И он, здоровенный вооруженный мужик, никому и ничем не мог помочь, никого не мог защитить. В девятнадцатом годе возле оханской пристани, мыча бессвязно, за его сапог уцепился какой-то грязный мужичонка в рваной шубейке. Тимофей еле признал конюха, жившего некогда у Андрияна: глухой и почти немой Тихон, это же он, точно. Тимофей спешился, достал бедолаге краюху хлеба. Уже понимая, что его хозяина, видимо, нет в живых. И не дожидаться бы бессвязного рассказа, и не снился бы ты, Андриян, не спрашивал бы...

Андряна и впрямь уже не было на свете. Кто с ним расправился, Тихон сказать не мог: могли быть белые, могли красные. Равно зверствовали. Кому ты проповедовать пошел, Андриян, кому говорил, что воевать — грех, убивать — грех?! Этим, пьяным от крови, тем, которые даже боялись очнуться от своего

безумия? Тихон, мыча, показывал, как Андрияна схватили и поволокли на реку, к проруби. А чтобы не хватался за лед, руки перерубили, во так вот, во тутока, — махал грязными рукавами Тихон.

И приходит теперь Андриян в ночные сны, творит крестное знамение перерубленными руками, все говорит, что воевать — грех, убивать — грех, и все что-то спрашивает, да не слышать, что...

Через тридцать лет ступил Тимофей на родную землю. Длинным был путь по всей Сибири. Нагляделся на поротых и повешенных. Встало где-то в горле отчетливое до тошноты отвращение к «белой кости». Из военных действий ушел, охранял обозы с припасами. Не раз пытались его поставить в карательные отряды, ну, Сибирь большая, пути широкие. И по скитам доводилось прятаться.

Наверно, человеческая память не может вместить всего, что произошло за эти несколько лет. Что-то забылось насовсем, что-то частично было в памяти, всплывало неожиданно и больно. Как брел посолонь из Маньчжурии. Нагляделся и на то, как красные вешали и расстреливали. Видно, отвернулся от нас Господь, — так думал. Охотничал, шишковал, рыбачил. В деревне не показался, жил у чудов, на старой пасеке. Умел с чудами беседу вести — еще от отца перенял, лет десяти. Это сороковые-пятидесятые годы.

Омшаник был пуст, пасека заброшена. Сердце сжималось от тревоги. Чудам очень любопытны были большие люди. Они смотрели на больших со страхом и восхищением. Большие частенько обижали их, поэтому чужь научилась прятаться и начала разбираться в добре и зле, коварстве и хитрости. И мести научи-

лась чужь белоглазая. А если к ней без злобы и насмешки, то нет лучше друга, чем чужь.

Болит сердце, обливается чем-то горячим, жгучим да колет и болит.

— Чуда-Синица, глына ты моя...

Маленькая она была, чуда-Синица. И верно, как синичка тенькала-тинькала, говорок такой у ней был. Чего она тенькала, то неизвестно. Сидит, бывало, у Тимохи на закорках и знай насвистывает. Чё ей, чуде. Родами померла Синица. Не может чуда родить от большого человека. Испугались чужды и ушли от него ночью. Не стало их, и все. Ему, чуду, весь лес — дом. И если не захочет чужь, не найдешь ты его.

Пришлось Тимофею к людям идти. Годы были еще не старые — шестьдесят годков, какая старость?! Спина по-прежнему прямая, шаг легкий и волоса густые. Осел рядом с родной деревней в железнодорожном поселке у Вотяцкой горы. Нелепый поселок, — раздраженно думал Тимофей. На сотню верст вокруг ровное место, а железная дорога прет в аккурат в лоб крутого угора. Паровоз не тянет — подцепляют на подмогу толкач.

Возле Вотяцкой горы появился поселок и короткими ниточками односторонних улиц прижался к железной дороге, к спасительнице и кормилице. Ведь кто тут жил-то? Тот, кто смог правдами и неправдами улизнуть от колхозов. Вон шаг шагни — Агеевка. Колхоз. На сотни верст вокруг одни колхозы.

Пригляделся Тимофей: народ почти весь пришлый, из окрестных деревень, с поселений, эвакуированные есть. Кто откуда — не спрашивают. Были у него запасены и камешок, и золотишко. Съездил в город. Нашел тех, кто камешки-песок

принимал, стал менять понемногу. Документы выправил: теперь он Николай Степанович. Дом поставил. Женился. Окно на закат. Закончилась долгая дорога посолонь и обратно.

ЧУДСКАЯ ЯМА

— Вымой в сенках, — Николай Степанович произнес эти слова, не глядя на жену и почти не разжимая губ. Он глядел и двигался так, будто был в избе один. Мария, не помедлив и единой секунды, скользнула за дверь. Она уже мыла сегодня пол в сенях, но будет мыть снова. Пусть. Это ничего. Когда муж останавливал на ней взгляд синих, покойнически-холодных глаз, страх понижывал ее от макушки до пяток. Так-то вроде хорошо живут. Дом чистой, большой. Николай хоть и староват против жены, дак хоть не пьёт. Чё с им не жить? Так думали в поселке и Марию не осуждали. А куда ей деваться? Муж по пьянке на тракторе перевернулся с сыном вместе. Куды поедешь? Правда, вскоре после замужества чё-то Мария пить стала, не везет Николаю Степановичу: первая-та жена тоже запилася. Тоскливо, видно, с им жить, скучной он, вот оне и пьют. Так думали в поселке.

Николай Степанович неторопливо пододвинул стул, сел, начал снимать тонкие хромовые, безупречно начищенные сапоги. То ли он помнил, что сенки были сегодня вымыты, то ли и впрямь забыл. Он хотел выгнать Марию и выгнал ее из избы. И больше не думал об этом. Бесшумно ступая босыми ногами по ярким половикам, подошел к кухонному окну: поглядеть на закат. Так и дом был поставлен, чтобы одно окно — на закат. Светляя...

Сколько закатов он проводил из этого окна? Сколько, Тимофей Филиппыч Туров, Тимка-гоёнок?

...В поселке и окрестных лесах частенько случались проверки — беглых искали. Стекался сюда народ с северов, с лагерей. Все из-за Вотяцкой горы. Останавливались тут составы, идущие на запад, в основную Россию. Станция маленькая, охраны нет. Можно ночью забраться в товарняк и попробовать спастись. Шел беглый мужик от одной глухой лесной деревни к другой, от одной вдовьей избы к другой такой же. Помогал, чем мог. Оставался след по деревьям, рождались в свой срок ребята: русские, хохлята, эстонцы. Был, говорят, даже итальянский след.

— Опеть сёдня проверка будет, видно, — судачили недавно в поселке. — Солдатов привезли, беглых искали. Нашли землянку за Маремьяниным починком и кричали: мол, сдавайтесь. А оне в землянке крышу обвалили и сами захоронилися. Маремьяна-та сказывала: это, мол, не беглые были, чудь в землю ушла. Господи, твоя воля...

...Изредка в наших глухих лесах встречаются неглубокие провалы, не зарастающие ни мхом, ни травой. Весной их до краев наполняет талая вода, зеркалом стоящая посреди громадных старых елей. Края этого темного зеркала обрамляют пронзительно желтые цветки лягушатника. Там всегда как-то очень тихо, ветер унимается, и ни одна складочка не лежит на зеркальной грани. Такой провал называют чудской ямой, говорят, не то чудь белоглазая ушла в землю, не то ихний бог Кудэ-водэж сам собой закопался.

Еще рассказывают, что русскому парню поглянулася лесная девка, не то из чудов, не то из немирных вотяков. Ихные имя жить

у себя не дали, и русские тоже не приняли. А как имя без народа-та жить? Вот оне пошли в лес, вырыли землянку, на ей крышу землей насыпали, в ту землянку ушли, и подпорку парень вышиб. Ушли обое в землю. Захоронилися, скрылися вовсе, и костей нету у их тамока. Вот и получилася чудская яма.

Кажется, что и время возле чудской ямы ходит по кругу. Чудится-видится быль и небыль.

— Я захотела, чтобы ты жил. Но все эти маленькие окошечки, через которые в человека приходит жизнь, они уже все были закрыты, я искала, искала знаки жизни. Потом нашла. И ты мне показался красивым. У вас, у русов, тоже есть те, кого вы считаете красивыми, да? Зачем вы такие сильные? Лесному человеку не надо такой силы. Ты кто?

— Я инок, учитель, послух у меня такой. Уже десять лет. Зимой ребят староверам учу, а летом хожу со странниками-никудышниками. Гляжу на чудеса земные. Как реки текут, леса растут. Какие города. Какие люди. Как соль добывают, как железо делают. Как ходят по воде и посуху железные кони. Столь много на земле чудес, что не наполнится око зрением. А кто ты, и как я попал сюда, и где я?

— А что ты помнишь?

— Я на зиму с сепычанами подрядился ребят учить. Жил у их в мирской избе, со мной еще пятеро ребят из Путинской деревни. А тут облава. Из Оханска нагрянула полиция, искали учителей. Никониане нам, древлеправославным, не позволяют ребят грамоте учить. Чтобы мы книг не читали и забыли бы свою веру. Тайком учим, а как попадетса учитель полиции — на каторгу высылают. Я лесом убежал, думал до скита добраться,

есть тут знаемый скит, надежный, потаенный, с крепкими насельниками. Да шел небыстро, книг много в мешке нес, боялся, что спалят книги-те. Волки напали вечером. Помню, еще старуха какая-то меня тащила. Где старуха-то?

— Показалась тебе старуха. Я это была. Разве я старуха?

— Нет, ты не старуха. Но и не девка. Ты совсем иная, не как мы.

— Ты ведь для меня тоже иной.

— А что ты делаешь? Что за ковер?

— Это наше племя. Вон там, наверху, его начало, мы из рода волка. Эти полосочки — жизни людей. Их надо правильно складывать, чтобы племя жило. Я должна стать старшей матерью. Еще не так скоро, будущим летом, уйдет старшая прежняя мать. Она меня долго учила, как складывать этот ковер. И теперь я знаю, кому кого надо дать в жены, чтобы дети не умерли и были хорошие охотники.

— А ежели оне, кого ты назначишь, друг другу не поглянутся? Тогда как?

— Только дикие звери совокупаются охотою своей. Мы не дикие звери. Старшая мать много помнит и знает. Если бы старшая мать не знала, наше племя наплодило бы слабых больных детей и погибло бы давно. Вот, видишь, эта полосочка? Это я. Вот она началась, вот, видишь, где? Видишь, как тут узор идет? Нет для меня мужа в нашем племени. Я не могу родить никого, нельзя мне. Я как будто уже мертвая. Я только знаю, и все.

Он — Иной — то засыпал, то просыпался и выкарабкался к жизни.

Она — Иная — перебирала полоски ковра, склонялась над очагом, приходила к нему ночами. И все тлела, тлела, тонким дымом исходила сухая трава в очаге.

— Ты говоришь как-то, не знаю, как... Но ты же говоришь, и я тебя понимаю!

— Нет, я совсем не говорю тех слов, какие ты знаешь. Мы почти ничего не умеем говорить словами. Меняемся кое-чем с русами, так научились немного. Я просто шевелю губами, а ты слышишь то, что я хочу тебе сказать. Ну, зачем тебе знать, как я это умею? Пока ты был слаб, я глядела на тебя и дала знание читать мое лицо. Ты был бы мертв сейчас, если бы не я. Твои нашли на дороге только клочки шубы да валенки еще. Они уже отпели тебя. Считаю, что ты умер.

— Нет, я не хочу быть мертвым. Валенки бы мне. Ноги заживут, и я уйду. Ноги болят, вот палец так ноет, невозможно пошевелить.

— Расскажи еще о мире. Где ты был? И зачем тебе знать, как живут другие? Зачем тебе знать больше того, что дает жизнь твоему народу?

— Я сызмала ходил, с никудышником одним из дому ушел. Погорели мы, есть было нечего, тятя благословил меня идти в иноки. Тутока в аккурат у нас в деревне странник один остановился на зиму ребят грамоте учить. Я с им и ушел по весне. Сколь-то жил в скитах на Колве, навик книги читать, переписывать помогал, там много сильных старцев живет в колвинских скитах. А потом сам в мир пошел, много где бывал. Есть такой город — Веденец, по-иному — Венеция. Считаю, в море стоит, посреди воды. Голову обносит глядеть, каково тамока всего на-

ставлено. А стоит сей город на деревьях перемских. Так мне иноки колвинские сказывали. Лиственница перемская тамока. Она ведь не гниет, лиственница-та. Из ее подклет ладят, на котором дом стоит. Тутока она не растет, и нигде на свете боле нету ее, только по Колве да по Вишере. Да, сказывали, за Каменным поясом.

— Я слышала, срубили святыя роши по Колве. Злые были на вас тамошние лесные люди. Много ваших побито за дело это нехорошее.

— Но-о. Было дело. Ушкуйники новгородские тогда по Колве приходили. Лиственницу высматривали. Сплавом сплавлилися по Колве и Каме, далеко вниз. Волоки знали между реками. Золотом за лиственницу расплачивалися купцы венецейские. Жалко как, котомка с книгами пропала, тамока у меня был ихний путь срисован. Я бы тебе все показал.

— Книги я не стала тащить: ты тяжелый и так. Потом сходи-ла поглядеть — котомки нет. Наверно, твои забрали. Волкам-то книги ни к чему. Твои теперь знают про тебя, что ты мертвый.

— А я ничё, я не мертвой, какой же я мертвой! Вот ноги заживут — пойду опеть белый свет глядеть, робят учить. Маленько только полежу и пойду. Мне, вот что, мне на двор надобно, ну, облегчиться охота.

Иная бросила на тлеющие угли пучок сухой травы, а когда Иной забылся, легко и умело ворочая исхудавшее безногое тело, облегчила его. Свирепая ночная метель завывала над крышей землянки. Скрипела и шаталась старая ель, с потолка там и тут стекали струйки сухого песка.

Ночью круто задувавший ветер откинул полог, закрывавший дверь, вымел дымный тяжелый запах горелой травы. Иной

проснулся. Тусклый рассвет пробивался через откинутый полог. Тесная смрадная землянка. Какая-то старая морщинистая тетка лежит рядом, и от нее пахнет зверем. Идти отсюда, немедленно идти к своим! Он скинул шкуры, закутывавшие тело, и понял, что ног нет.

И вышиб Иной столб, который держал тяжелую крышу.

...Темна и спокойна вода, заливающая до краев чудскую яму по весне. И время идет здесь по кругу...

Когда солдаты убрались из поселка восвояси, Тимофей сходил к Маремьянину починку. Провал есть. Видно, что свежий: торчат из земли еловые сухостоины. Копать военные ничего не стали. Кто тут сам себе нашел могилу — беглые? Чудь? Кому стало невмочь жить на земле?

«... Знато бы, — думал Тимофей, — эх, знато бы, может, с чужими и мне бы уйти...»

...Смотрят на закат синие глаза Тимки-гоёнка.

Сколько он по Сибири ни ходил, а заветного староверческого Беловодья, страны благоденствия и справедливости, не нашел. Есть ли рай на земле, этого он не знал. Знал он, что ад есть. Крепкий, бревенчатый, с огородом.

Осыпаются листья осенние.
Хороша эта ночка в лесу.
Выручай меня, силушка мощная,
Я в неволе-тюрьме срок несу.
Надоела решетка тюремная,
Надоела стена кирпичная.
Дай, попробую снова решеточку,
Поднажму богатырским плечом.

Вот погнулась решетка оконная,
Задрожала стена кирпича.
Не услышала стража тюремная,
Не догнать вам меня, молодца.
Побегу я в ту дальню сторонушку,
Где живет дорогая моя,
Обойму горячо свою милую
И усну на груди у ея.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕСТЬ ВОТЯЦКОЙ ГОРЫ

— **Н**а дорогу ету паровозную шибко много ране-то роби-ли. Лес вырубить, пенья выворотить, землю насыпать, щебню. Наших по деревням наймовали не одинова. Тятя-то мой с братьевьями ездил. С лошадьями, с телегами — выгодно было. Тятя и сказывал потом про Вотяцку гору. Не проста гора-та была — моельна гора у вотяков. Чё с их возьмешь — люди лесные. Пню молилися. На горе ихние-те пни и стояли. И яма чудская тамока. Вотяки к ей хаживали. Станут кругом и стоят. Чё стоят, кто их знат, вотяков. А внизу, под горой, моельна поляна была. Оне тамока скотину по своим праздникам резали. Такой порядок был. Мне ишо маленькой крестна сказывала. Как, сказыват, овечку зарезут, мясо сварят, съедят, а колдун-от ихний на кишки глядит, вызнает, чё у кого будет вскорости. Вот еть грех какой! Поглядят на ете кишки и вверх волокут, к пеньям. Кто волокет, просит, чтобы от беды его ослобонило. А остатне в кружок станут, песню свою затынут и пляшут. Такой у их праздник. Кому ведь чё.

Бормочет Маремьяна, замолкнет, а потом снова перебирает давно прошедшее. Очередь в сельповском магазине, конечно,

не прислушивается. Разве будет, например, учительница Лидия Маркеловна разговаривать про неведомых ей вотяков. Или медсестра Мария Ефремовна? Нет, конечно. Это же предрассудки. Смешно в них верить, когда у советской науки такие великие достижения. В газете «Правда» написано про мирный атом, скоро будут даже хлеб в пробирке выращивать и полностью управлять погодой. И все же Маремьянино бормотание тревожило, слушали все до единого, даже учительница Лидия Маркеловна. Только старая Маня-комиссариха отвернется и губы подождет. Да и у нее угли белой злобы давно присыпаны старческой золой.

На протяжении столетий сюда, в Пермский край, неоднократно приходили другие люди, которые запрещали молиться старым богам и ставили новых. Народ сопротивлялся, но потом начинал творить новые обряды. Старые боги при этом все-таки не переставали существовать в умах людей. Богам просто не давали положенных жертв, поэтому они становились обиженными. Эти обиженные отнюдь не лишались силы и могущества, только теперь их силы были направлены на то, чтобы людям пакости делать и вредить. Обиженные боги покинули святилища, заселив леса, болота и омуты. Хочешь не хочешь, а как-то нужно было ладить и с новыми, и со старыми богами.

В пермяцких деревнях тайком вырезали из дерева старых идолов, ходили к старинным чудским ямам. «Оне так живут, а мы едак, кому ведь чё», — вот основное жизненное правило, производившееся тут по-русски, по-пермяцки и по-вотяцки. Кто бы кому ни молился по приказу, молчаливо считалось, что пермяцкие и вотяцкие боги по-прежнему надзирали за своим стадом, русские — за своим. Ну и был где-то, как единый бог, царь

в Москве. Советская власть перемешала народы и отменила веру во всех богов. В обиженные попали и некогда почитавшиеся христианские святые угодники. Обиженные боги растеряли свои стада и мстили всем подряд. Стоило ли удивляться тучам бед и несчастий, шедших одно за другим?

Два года назад приехала в колхоз агрономша Надя. Девушка поселилась в поселке. Осенью она выкопала картошку, потом ни с того ни с сего отравилась. Третью осень уже поселок испуганно затихает, ожидая знаков, ища смысла.

— Ну дак вот, дорога в аккурат к горе-то и подошла. Приходили будто бы вотяки к начальнику. Мол, обойди моленную гору, не тронь наши пеня, яму не тронь. Много рухляди приносили: оне охотничали тутока везде. Мы вот охотничать не толкуем, за баловство считам. У рыбака-то, мол, да у охотника изба соломоной крыта. А оне охотничали — кому ведь чё. Во-о-т, пришли оне, а начальник-от, бают, посмеялся и слушать даже их не стал, чтобы дорогу отвернуть. Как же, выпросишь у кукиша мякиш! Вотяки ушли, а ихна рухлядь вся червём изошла. Сплошь, мол, стал червь. Так сказывали. Ушли вотяки, вовсе их тутока по лесам не стало. А паровоз-от в гору и не пошел! Не идет в гору, скатываются. Не хватает силы вагоны тащить. Куда деваться, стали сзади еще один паровоз прилаживать, толкач. Чтобы тот в гору выгалкивал.

Почему паровоз в ту гору не пошел, это достоверно неизвестно. То ли ошиблись при проектировании, то ли подрядчик не отсыпал, как следовало, откос и крутовато получилось. Однако все паровозы, идущие на запад, хоть бы и международные экспрессы, перед Вотяцкой горой покорно замирали и ждали, когда сзади прицепят паровоз-толкач. Толкачу вода и уголь

нужны? Нужны. Гонять до ближайшей станции далековато, пришлось на карте большой дороги поставить еще одну, совсем маленькую точку. В этой точке уместились стандартный грибок-башенка паровозной водокачки, грузовые пакгаузы да две одно-сторонние улочки, прижавшиеся к дороге, своей кормилице и спасительнице. Конечно, спасительнице. Кругом на сто верст ведь только колхоз. А тут и паспорт дадут, и магазин есть сельповский, и почта, и школа.

Маремьяну народ как-то побаивался. В сумерки бабы потихоньку к ней, конечно, бегали. По-старому — грех, а по-советски сказать — аборт. Так в газете было написано: мол, если это самое, то это не грех, это — аборт. После войны абортыв делать запретили фельдшернице. С одной стороны, как ни кинь, а с другой стороны, куда деваться?! Пошли бабы за травками к Маремьяне. Поговаривали, что и для мужиков она зелье знает, черную травку, «травку-ставку». Тем и живет, боле нечем. Но очень опасались при ней язык распускать: тетка она старорежимная, бывшая здешняя купчиха, запросто может брякнуть и вовсе невесть что: «Фиса Агеева сказывала, у их в колхозе все овечушки передохли. А у нас у тяти семисят голов было, и ничё, не дохли».

Это-то уже прямо клеветнический антисоветский разговор. Хотя собранные по дворам и обобществленные овечки действительно передохли не только в Агеевке, но и во всех колхозах в округе. Так ведь у поселковских никто овечек пока не отобрал. «Мы-то не в колхозе — при дороге, слава богу, живем, — говорили. — Может, и не тронут». Но через некоторое время то тут, то там слышались тихие разговоры, вроде бы никак к Вотяцкой горе не относящиеся:

— Опеть, слушай, Витька Шорохов объявился. Он, как година Надьке-то, агрономше, так в поселке является. Откуль ни возьмишь. Уж все бы забыли.

— Но-о-о...

Витька известен был тем, что он, высоченный деревенский красавец, придя из армии, с флота, женился на маленькой, корявенькой, но «богатой» директорской дочери Маргарите, Ритке то есть. «А что, в колхозе, что ли, робить?» — так все и поняли, чего тут не понять-то. Одетый в телогрейки, поселок остолбенел, увидев Ритку в белом до полу платье, шляпе и перчатках до локтей. Под руку с женихом она прошлась по центральной улице, от школы до сельповского магазина. На Витьке как влитой сидел серый шевиотовый костюм. Это ж просто заграничное кино!

В сельповском магазине Витька купил и сразу же надел на шею невесты неопикуемой красоты ожерелье граненого стекла. Драгоценность была специально привезена из города, уже неделю лежала в витрине магазина, и об нее все женское население измозолило глаза. В общем, была роскошь, бьющая в глаза, добром это не могло кончиться. И не кончилось.

— Все же, чё оне с Надькой? Уж это всё как-то... уж чё-то совсем...

— Но-о-о...

— Конечно, в поселке было дело: и вешалися, и топилися. Дак не до смерти же!

— Но-о-о...

— Это если кто под паровоз попадет, тогда — да. Случайи такие были.

— Но-о-о...

— Ну, под толкач. Когда он обратно с Вотяцкой горы самокатом идет, тихо. Сказывали, уши имя закладыват на Вотяцкой горе, вот и не слышат.

— Да ничё не закладыват, просто паровоз и несчастный случай. Так и говорят: несчастный случай, — и хоронят всегда за счет железной дороги. А то бы чё?

— Но-о-о... Давай, бери хлеб-от, не вишь, твоя очередь.

И вот так каждую осень. Дороги развезет, и запрещай не запрещай, а народ ходит прямо по путям. Ночи непроглядно темные, толкач с горки катит самокатом, тихо, фар сзади у него нет, машинист всего не видит. Кто-нибудь да окажется под колесами. И хотя картина несчастного случая была как на ладони и всегда одна и та же, волна пересудов и слухов поднималась в поселке. В душах обрусевших вотяков оживали забытые страхи. Говорили, что людям мстят обиженные идола Вотяцкой горы. Будто бы именно осенью вотяки тут творили свои кровавые жертвоприношения и Вотяцкая гора просто берет свое.

У староверов страхи свои. Только потянет с огородов дымным запахом сжигаемой ботвы, как тревога поселяется в их душах, и ничего с этим не поделат. Картошка недавно в этих местах появилась, не все еще к ней привыкли. Старики-староверы картошку не садили: мол, она нам ни к чему. Картофель называли кобелиными яйцами, бесовским хлебом или похотной сладью: «Даже если кровь прольете за Христа, но только один раз попробуете картофию, то не избегнете адских мук на веки вечные. Если картофь станете есть — пятижды вам анафема!»

«Ну, а после хлеб-от весь как стали выгребать, потом овечек отобрали, пруды спустили — гусей не стало, голод пошел, мор по деревням. Дали тогда картошку. На, мол, народ, рости и ешь. Кто не успел помереть, кинулся роготить. Немецкая картошка-то. Так и называлась: берлинка. Научились ведь варить ее, жарить и печенки печь. Вкусно. Как старики сказывали, корень сей злокозненный... А куда деваться? Помирать?» — так рассуждали потом люди.

...Почему-то боги всегда ставят человека перед выбором: погибай или нарушай запрет. И вот каждую осень тянет тревогой с огородов, да и только.

МАНЯ-КОМИССАРИХА

И МАРЕМЬЯНА СЕВОСТЬЯНОВНА

В сельповском магазине Маремьяна и Маня порой стоят рядом, но никогда ни о чем не разговаривают. Все уже сказано давным-давно, в другой жизни.

И только вспоминает теперь Маремьяна Севостьяновна: «Эх ты, Маня-комиссариха, долгой язык! Как ровно ботало коровье, раззвонила тогда по всей деревне, что с завтрашнего дня Маремьяну зорить придут. Ишь, мол, богачества сколь: лавка с мануфактурой, да заведение пивное, да домов два, да у сына в Перме лавки да в Оханске. Денег-то по кубышкам не меряно, доберемся теперя, как мы — власть. Теперя вам не до семнадцатого года. Теперя наше время, 1920-й. Маня, ты Маня, быстро ты забыла, как вместе с комиссаром-то со своим в подполе у нас

сидела. Да и какой такой комиссар?! Как был Терентей-конюх, так и есть. Только ране-то у нас вожжой тряс, а теперя — у председателя сельсовета».

...«До завтрава дожить надо, много чего сделать да как-то и пережить, если не пристрелят», — подумала Маремьяна. Тяжело переступая, она спустилась в нижний этаж, в лавку. Темно в доме, тихо. За окнами осенний непроглядный вечер перемешивает дождь с первым снегом. Зажгла лампу, скрутив фитиль до самого низа, до самого малого света. Никого в доме нет, приказчиков и прислугу отпустила: мол, идите, куда хотите, тут, мол, ныне не житье.

Остались они с дочерью вдвоем, обе, казалось, одинаково старые. Хотя какие годы — и пятидесяти Маремьяне нет. Она состарилась враз, как осталась одна-одинешенька, без своего Мокея. На похоронах его в Перми не была, сын сходил, поклонился отцу в последний раз. Доведется ли ей хоть на могиле посидеть у друга милого-единственного, то один Бог знает. Как Мокея не стало, так и жизнь рухнула. Загудели паровозы, забегали какие-то комиссары, потрясая мандатами и маузерами. Изо всех щелей вылезли злобные, жадные до ее добра люди, раньше-то их и не видно было. Ни за какими стенами спасения не стало.

Сын Григорий — красавец, вылитый Мокей в молодости. Таков же, как отец, был он и в купеческом деле. Отец души в нем не чаял, на ноги поставил, помогал ему: лавки на него отписывал, деньгами ссужал и товаром. Такой справный вышел купец, и в столицах побывал, и женился. А где он теперя? Неведомо. Ушел с семеновцами, так сказал. И сгинул совсем, никакой вести не подал.

Андряна, младшего сыночка, где речная волна вынесла косточки? Нет, лучше не думать про Андряна. Не надо. Темнеет в глазах...

Нет с ней ее мужиков, осталась только безответная дочь Ирина, старая дева, которая сидела дома безвылазно, боясь и нос высунуть.

Раньше хорошо и выгодно было, что деревня стоит у самой железнодорожной станции. Всегда народ, полно желающих выпить пива и Маремьяниной бражки. А теперь туда-сюда идут поезда с солдатами. То и дело паровозы стоят на станции, а топить их нечем. Солдатня в серых шинелях рыскает, ищет еду, курево и водку. И все-то эти паровозы гудят да свистят. И чё им все свистится-то? А грабеж, да баб прямо на улицах насилуют. Как ровно и не русские.

Хоть что-то бы светлое вспомнить, хоть тот зимний день, холодный, ясный, морозный...

Промыта студеной водой в проруби мужицкая рубаха до самой окончательной чистоты. Но нужно еще и еще полоскать да прополаскивать, чтобы шелок выполоскался даже из-под стежков. «А как же! Будет мужик робить, распотеется, шелок-от из-под стежков выдет, мужика-то чирьями изьест», — так бабушка страшила девок, учила, пока жива была. Полощут девки, стараются, рук не чуя от ледяной воды.

Девки у Вохминовых здоровенные, долгорукие; кажется, им и мороз нипочем. Младшая, Милитина, или Миля, привычно за сестрицей поспекает: как старшая делает, так и она. Маремьяна повыше и побойчее. Хоть руки и ломит, а весело Маремьяне. Солнышко на лето заворачивает, скоро весна, потом Троица

с хороводами да сенокос. А на Покров тятя замуж за Ивана отдаст. Так он сказывал. Попела девушка на чужих свадьбах, пора на своей поплакать. Да и жить своим домом, ребят рожать и заводить те же порядки, что и в доме тятином, но по-своему.

Отполоскались, руки в варежки-шубенки засунули. Тут подбежал Ваня, братец, паренек небольшой еще, а силенка есть: две корзины на коромысле унес. Сестры простые, без груза, домой пошли. Как он знал, что пора подсобить? Звал ли его кто, наказывал ли: мол, иди, пора уже? Нет, не звал никто. Не наказывал. А сами знали, само меж ними так завелось.

Знали, да не всё. А как бы знать-то, обойти бы Маремьяне соседский-то дом стороной, не оглядываясь. Но нет, идет, переступая валенками по узкой снежной тропинке, с сестрицей пересмеивается, трет ей нос шубенкой. А навстречу парень по той же тропинке. Приехал он вчера в кошеве нарядной, завернул по дороге в гости к соседям, к Каменевым. С их сыном будто родня они теперь. Миля первая с тропинки соскочила, чуть снега не нагребла в валенки. А Маремьянушка с парнем столкнулась, оба в сторонку отступили да разошлись. Легко. И дальше пошли, не оглядываясь и не ведая ничего друг про друга.

...Только свадьбы у Маремьяны не было в тот Покров, никогда ее не было...

Такие уж тропинки были в родной деревне, что раз за разом сводили их с Мокеем, все уже становились те тропинки, все теснее. Мокей, сын купецкий, мужик видный, серьезный, только только женился. Одни мысли и были, что про лавки свои да отцовы, ведь все на нем. Какие ему тропинки в деревне, на что?! Это лошадки сами заворачивали, это ноги сами несли. А уж

по каждой тропинке Маремьяна идет и обязательно — навстречу. И с полными ведрами на коромысле — не пройдешь. Ну, что он, Мокей, может сделать?!

— Каково, поди, тятэ с мамой тяжело было-то, — думает теперь Маремьяна, — невесть чё девка давай боронить про какого-то Мокея. Мол, ухажу из дому. Мокей пивную лавку на станции возле дороги ставит, буду там полная хозяйка. А замуж за Ивана уж не пойду, пусть не пообидятся.

— Какой такой Мокей, какая лавка?! И не за косу ли тебя, греховодница, не вожгой ли?

Нет, Маремьяна не из таковых. Да и тятя Севостьян пальцем в семье никого не тронул. «Дурь ведь это — в семье-то злобствовать, — так считал он. — Обидишь девку, и она со злобой уйдет, а так — жалеть будет об доме отцовом».

И жалела всегда Маремьяна, хоть и не вернулась домой никогда.

Дом... Много раз мысленно возвращалась беглянка в родимый дом. Вот она калиточку отворила, поднялась по ступенькам крылечка, обмела голичком снег с валенок, зашла в холодные сенки, мосты. Слева летняя изба (летница), справа — зимняя. Зашла она в теплые рубленые сеночки. Сняла шубейку, на гвоздь повесила. Вот тятина шуба, мамина, а братьев, видно, дома еще нет: их шуб нет на месте. Длинные, неподъемные кошевочные тулупы* висят на отдельных кованых гвоздях — значит, все сегодня тут, в отъезде никого нет.

* Кошевочный тулуп — полная длинная шуба из овчины, с высоким воротником, без перехвата, халатом; ее надевали зимой в мороз для поездки в дорожных санях. — *Прим. ред.*

Изба родительская, как скорлупа: толстая, теплая, надежная. Крепость. Обиталище единого многоголового существа — кержацкого семейства. Посторонний человек, если бы его туда пустили, тесноту увидел бы, решил бы, что места в избе всего ничего, а народу полно. Сами мужик с хозяйкой, да старуха, да ребят сколько-то, не то четверо, не то восьмеро. И не тесно им? А удивляться нечему! У человека пальцам на руке ведь не тесно? Ну и семье не тесно. У каждого место есть днем и ночью, и на молитве, и за столом. Как из зыбки на ножонки встал, так в хоровод на празднике поставят. Ухватится человек за сестер-братьев, да так до конца жизни их уж не разнимешь. И работать каждому есть что. И каждый сам знает и видит, что делать. Как палец каждый свое дело знает, даже если это дело — в носу ковырять.

А уж если кого забросит судьба далеко от родных (на службу солдатскую, к примеру) — письмецо напишут при первой возможности. Удивляться можно ныне, читая эти письма: «Кланяем-ся тебе, сестрица Маремьяна, от белого лица до сырой земли...» И далее все приветы да поклоны семейным своим, от старого дедушки до младенца в зыбке: «А ходит ли к вам любезный дядюшка Алексей Филимонович? Ему от меня тоже привет сказывайте».

Они сами себе не удивлялись. Это уж потом, когда их свели всех начисто, другие удивляться стали: как это, без крика да указу, сами собой они жили? Да без порки ребят растили? Да без команды хлебушко сеяли, да без команды жали? И как это они своим умом мужицким думали-то?!

И поскольку понять никак не получалось, хором обвинили кержаков в консерватизме, косности и упорной приверженности

к отжившей традиции. Слушать даже смешно. Чистоплотность, трезвость, семейственность и целесообразность всей жизни — отжившая традиция?! Где это она, интересно, в России бытовала и уже отжила? До кержачких-то традиций никто еще в России и не дожил.

...Маремьяна приподняла лампу, заслоняя ее свет рукой, осветив складскую комнату, заложенную тюками с мануфактурой. Все на свои денежки куплено, за все уплачено, за самую малую тряпочку. Завтра ничего не будет, все выгашат, все разграбят.

Ирина подошла, тихая, зареванная, подала ножницы, поодаль положила на пол мешки полотняные, в которых мануфактуру возили. Нарезали, сколько успели, из мануфактуры полоски, свили в клубки. Тем и жить будут: ткать из порезанного добра половики на продажу.

— Что мы этой Мане? — Мысли Маремьяны идут как-то сами собой, не про то думается, что делать надо, а совсем про другое. — Жила и жила себе, бабенка вроде тихая, ну, беднота, конечно. Терентий ейный конюхом у нас служил. Выгоняла иной раз, поскольку пил. С фронта пришел уже красным, заделался комиссаром, то есть конюхом стал у председателя сельсовета, это те, которые богатых зорят. Терентий далеко и не ходил: сразу у бывших хозяев отобрал себе один дом.

Маню сразу слышно стало. Раньше-то и не знали, что у Терентия-конюха еще и бабенка есть. Уж и побегала Маня, уж и покричала: «Передком у Мокея наша Маремьяна себе богатство заработала! Чё, разе кто не знат Мокея-то, сколь раз видывали, как приезжал, да и еще кое-чё видывали, чуть не свечку дярживали...»

— Ох, Маня, ты Маня, передок передку, Маня, рознь. Вот ты своего комиссара тем же местом заработала и что? Радость?

Терентий дом отобрать-то отобрал, да кишкой своей тонкой сильно трусил еще на первых порах. А ну, как все вернется! Как в девятнадцатом году мужики на станции продотряд резать стали. Маремьяна перекрестилась.

...Человек с полсотни тогда из Перми их приехало, хлеб-то отбирать, все в форме, с ружьями. У кого и говор не русский, а иные и вовсе узкоглазые и желтые — китайцы. Маремьяна тогда и заведение пивное закрыла, и лавку наглухо заперла. С солдатни взять нечего, они все заберут. Откуда-то несколько подвод пригнали, по виду мужицких. «Терентей целый день вчерася бегал да красовался, — вспомнила Маремьяна. — Реквизиция, мол, для нужд новой власти. Короче, всех известил, дурень, что за хлебом приедут».

Подводы с солдатами разъехались по деревням ранним утром, к вечеру уже началась погрузка зерна в вагоны. Не по дальним, видно, деревням проехались, сгребли, что успели.

Маремьяна пошла тогда лавку проведать: не раскурочили бы. И до смерти не забыть ей, что увидеть довелось. Откуда их взялось столько, мужиков-то? Будто черные муравьи, облепили они вагоны и мешки с хлебом. Да тихо так, беззвучно совсем. Или уши Маремьяне со страху заложило? Как из земли повылазили, все черные, бородатые, с топорами. Раскроили-распластали солдат, иным заживо брюхо вспороли, зерна туда насыпали: на, жри! Скидали мешки с зерном обратно на подводы и скрылись.

Маремьяна замерла, вжавшись в стену, да так и стояла, не шевелясь и не дыша.

И деревня притихла, и станция. Маня приползла тогда на коленях и детей на колени поставила. Всех в подполе укрывла Маремьяна. Тогда с топорами народ пошел, мужики деревенские по-страшному расправлялись с реквизиторами хлеба, а заодно и с новыми хозяевами жизни.

Терентий узнал, что от Ижевска идет бунт против новой власти и что скоро ей конец. Воевать и защищать ее он не собирался. Только хотел он переждать смутное время, а там уж поглядеть, чем дело кончится. Если что — смыгься вовсе из деревни: Россия большая. Но бунт расстреляли, говорят. Терентий ожил, опять стал комиссаром, бойчей старого. Однако Маремьяну не трогал, поскольку та пригрозила: раскрою, мол, твою трусость. Но дом так и не вернул.

Ничего не вернулось: ни сыновья, ни Мокей, ни дома, ни лавки. В маленькой избушке на отшибе дотягивает свой век Маремьяна, потихоньку продавая в Перми на рынке последнее добро из запасов: серебряные царские полтинники да золотые колечки. И Маня-комиссариха живет не лучше, а даже еще беднее. Кумышку гонит тайком и продает, ведь в колхозе работать уже не может — сил-то нет. Ни мужа, ни сыновей — все в войну погибли. Дочь Анна, тоже вдова с ребятами, в колхозе, голь-голимая. Студентка-квартирантка Надежда жила у Мани, теперь и ее нет.

Молчаливой стала Маня-комиссариха, молитвенной, а Маремьяна хоть и разговорится порой в сельповском магазине, так неизвестно с кем и непонятно о чем.

БИБЛИОТЕКАРЬ

ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

По осени делалось в поселке беспокойно. У кого чё, а все чё-то, как-то... Вон Иван Лаврентьевич заблажил опять. Жизнь у него, конечно, не мед, но все же почему-то он только по осени и блажит. Как картошку выкопат, так на его блажь и накатит. Никак не раньше. И разом: вотяцкая и русская.

Он вдовый, Иван-то Лаврентьевич, но семейство у него немаленькое. Дочь Клавка и ее четверо девок лесенкой: старшая Анька, поменьше и еще поменьше Галька с Нинкой и самая маленькая Людка. У Клавки был муж, только давно, еще на поселении. Девочек наделал, освободился и скрылся. Клавка по целым дням сидела на лавочке перед домом и глядела на дальний лес.

Иван Лаврентьевич с утра пораньше ружьишко закинет за плечи и ковыляет на охоту. И охотник он был замечательный, даром что хромой. Даже шкурки как-то выдeldывал и сам шил девчонкам линючие зимние шапки. Очищает, бывало, шкуру и всякие небылицы про лесных зверей плетет своей и соседской ребятне. Мол, выгреб он однажды волчат из логова и отнес на шапки к знакомому старику в деревню. Волчицато выследила, явилась ночью да и загрызла в той деревне всех подряд. Во как!

Вполне мог бы Иван Лаврентьевич вновь жениться. Неважно, что хромой вотяк. Главное, паспорт у него был, значит, мог жену из колхоза вызволить. Любая баба из Агеевки и за мертвого замуж пошла бы, лишь бы был с паспортом. Но не бросать же

бестолковую Клавку, а навешивать на себя всю ораву даже вдовье колхозницы не соглашались.

Каждую осень Иван Лаврентьевич картошку выкопает и идет свататься. От ворот поворот получит, подумает несколько дней и приходит к выводу, что не может он больше жить. Покупает в сельповском магазине чекушку водки. Закусывать нечем: девки все слопали, как саранча. Хлебной сухой корочкой занюхает, потом достанет с полатей старую гармонь и запоет любимую свою песню:

Голова ты моя удалая,
До чего ты меня довела!
Ох, судьба ты моя роковая!
Ох, для чего меня мать родила!
Для чего меня мама родила,
Эх, чтоб тюремную жизнь испытать.
Вот сижу во тюремной я клетке,
Да света божьего мне не видать.
Я помру на тюремной постеле,
Да похоронят меня кое-как.
И на кладбище для арестантов
Не придет, не расплачется мать.

Долго поет он, слезы вытирает. В избе полно уже ребятни окрестной: слух прошел, что Иван Лаврентьевич запрещенные песни играет.

Потом бунтарь закидывает гармонь обратно на полати и объявляет: «Все, хватит! Иду топиться!» Анька, Галька, Нинка и Людка с криками вцепляются в рукава и штанины, ребятня кричит: «Иван Лаврентьевич топиться пошел!» И все мчатся к пожарному пруду. Четверо девок, как плакальщицы египетские,

воят на всю округу. Иван Лаврентьевич идет медленно, с соседями прощается за руку:

— Ну, сосед, прощай. Топиться я пошел. Чё так-то жить?! Утоплюся на хрен.

— А и верно, — миролюбиво соглашается сосед, — погода хорошая, вода ишо теплая, знай топись.

Когда герой трагедии, провожаемый плакальщицами, появляется у пруда, крутые его бережки уже плотно усажены зрителями. Иван Лаврентьевич широко крестится, заходит по грудь в воду и окунает лицо. Видна только лысина на затылке. «А-а-ах!» — единой грудью набирает воздух зрительный зал и замирает. Через несколько мгновений топящийся разгибается и отфыркивается. «У-ух», — переводят дыхание сочувствующие. Макнется Иван Лаврентьевич в зябкую осеннюю воду несколько раз, протрезвеет и объявляет: «Раздумал я сёдня топиться, ребята! Я в следующий раз утоплюся!» Внучки ревут, смеются и помогают деду выбраться на крутой бережок, а потом, облепив его со всех сторон, ведут домой. Зрители снимаются с мест и несутся в поселок. «Ну, чё, утопился Иван Лаврентьич?» — спрашивают старухи на лавочках. «Не-ет, — кричат ребята, — сказал, что в следующий раз утопится!!»

— Дух от картохи все же тяжелый, земляной. Надышался он, видно, вот и блажит, земля-то тянет его.

— Старики ране-то как сказывали: «...И раскопаша до корене, из того скверного афендрона израсте... И нарече ему имя «картофия» и расплодися по всей земле... на пагубу душам христианским». Тятя мой и в рот ее не брал, картовь ету.

— Да темнота это все, староверы, кержаки-раскольники. И не кури, и не пей... Только и знали: робить.

— Ну, дак и жили, не то, что мы теперя...

На чем разговор и заканчивался. Ругать голодную послевоенную жизнь было нельзя, а хвалить не за что.

ЗАЛОЖНАЯ ПОКОЙНИЦА

Иван Лаврентьевич не так, так иначе чудил каждый год и не по одному разу, все привыкли к этому. Не то было с Надеждой-агрономшей. Совсем не то. Никто на самом-то деле ничего не понял и даже не знал, можно ли узнавать или выйдет себе же хуже. Очень боялись, что «узнавать начнут», то есть проверять паспорта. А паспорт чуть не у каждого был куплен или выменян в сельсовете за водку, овечек или корову. А ну, как задумается начальство: а откуда у людей паспорта взялись посреди бескрайних колхозов? А? И увидит по бумагам, что иной старый бобыль за месяц перед смертью не один раз женился и развелся. И у него три вдовы осталось, все с законными паспортами. И вдовы его уже с кем-то расписаны, и у их мужей есть паспорта. Поэтому в поселке больше всего хотели, чтобы не происходило от этой точки на карте никакого шума, чтобы вообще ничего не происходило. Так что про тех, кто пьет и скандалит, можно было уверенно сказать, что паспорт у человека твердый и бояться ему нечего. Все прочие были тише воды и ниже травы. Поэтому и расспросы велись с глазу на глаз, тихо и с оглядкой. Обязательно для начала жизнь хвалили: мол, живем мы, слава Богу, хорошо.

— Слава Богу, тихо у нас в поселке...

— Это когда подсыпают полотно на дороге или шпалы заменяют, тогда да, приезжают рабочие железнодорожные, после работы у их каждый день пьянка и шум.

— А так, разве на свадьбе новая родня чего не поделит, тогда до драки может дойти.

— Или на помочи тоже. Всякие и хозяева ведь бывают. Иной раз помочане робят-робят, а хозяин имя браги мало поставит, гушу одну. Где, мол, цветок, тамока и медок, а где квас, там и гуша. Помочане недовольные, конечно.

— Но-о-о, конечно, недовольные:

Гармонист у нас хороший,
Он играет и поет,
А хозяйка — распиздяка:
Брага есть — не подает!

— Крылечко новое могут раскатать. Тут баба, ну, которая хозяйка, шумит шибко. Вижит. Во-о-т... А так-то тихо в поселке...

— Хотя счас вроде можно...

— Мало ль чего можно, да нельзя. Оно бы и оченно можно, да никак нельзя.

Иной раз так и разойдутся, не решив, кому первому спросить: что, мол, про Надежду-то слышал? Блажь на нее нашла или что? А с Витькой-то у них что было? Трепалась она с ним или нет? И при чем тут картошка? И не будет ли какой проверки?

Но чаще в разговоре совсем про другие дела случайно вспоминали прошедшие события. Вон от Мани к Пане соседка бежит. Какое у нее к ней дело?

— Паня, дай соли маленько! Остряпалася, хватилася — соли нету-ка. К Мане зашла — она по Надьке-агрономше у иконы молится, как години ей седня.

— Заложная она, выходит, Надежда-та. По таким, знать-то, не молятся.

— Маня-то, слышь-ко, сказывала, безгрешная, мол, она была.

— А Витька? Чё на ее Ритка-то кинулася? Маня, поди, боится, что к ей Надежда придет, вот и молится, замаливат ее: мол, не ходи, я не виноватая.

— Чё Ритка кинулася? Да науськал кто-то. Кто знат, тот помалкиват. А Маня говорит, мол, сколь Надежда у ее жила, даже разговору никогда про Витьку не было. Одну зиму она у ей и жила, как приехала после института. Ревмя по ей Маня ревет. Хороша девушка была, хоть и городская. Разговорная она, Мане-то с ей веселяя было. Дрова были от колхоза.

— А про тот день чё говорит?

— Ничё не говорит. Мол, Надежда сказала, что в район вызывают, поеду с председателем. Из райкома, мол, звонили. Газетку показывала, где про ее написано. Михаил Александрович написал, учитель-от. Знала ты его?

— Но-о-о, как не знала! И в «Заре коммунизма» мы тоже читали. «Поле Надежды» заметка называлася. Мол, картошки много она наростила, Надежда-то.

— Уехала Надя, и боле ее Маня и не видела. К ей потом прибежали, мол, вот чё, вот чё...

— Ой, мне Маня-то как сказала, я вся стряслася, голову обнесло, не дохнуть, не глонуть, еле отутобела*.— Ну, я пошла. Суп-от убежал, поди!

* Отутобеть (диалектн.: пермск.) — прийти в себя. — *Прим. авт.*

Уйдет соседка, а Паня, осенив себя размашистым старOVER-ческим двоеперстием, молит-заговаривает неведомые силы:

— Господи Боже, избавь рабу Божию от мужика-клеветника, бабы-самокрутки, девки-простоволоски, от мужика черёмного, трехглазова-трехногова, от черта семирогова! Аминь-аминь и над амином аминь.

Не своей смертью умерла Надежда, она теперь мертвяк, покойница заложная. Ране-то ведь сказывали: беда деревне! И хоть времена теперь не старые, а все же Надя — покойница заложная. И некуда ей деваться ни на небе, ни на земле, пока не промается весь свой отпущенный век. И вот кто ее загубил, тем жизни не даст, возле тех она и станет бродить, будто тень бессловесная... Камешек ли под ногу подкинет, бревнышко ли под руку толкнет, огонек ли поднесет. Камешек подкатится, бревно накатится, огонек не погаснет. Кто-то упадет, да до увечья, кого-то бревешком придавит, да до смерти. Изба сгорит, и не зальют. Только будто тень в окнах-то мелькнет, а кто виноватый, тот и смекнет, все поймет, да поздно будет. И избавления никакого нет теперь.

Мертвяк, ведь пока его помнят, он дорогу знает. Забыть бы надо мертвяка, тогда и он дорогу забыл бы, убрел бы в другие края. А виноватый не забывает, он, виноватый-то, все помнит. Вот мертвяк и будет приходить по его памяти, как по дорожке. Или пожар большой найдет, или паспорта станут проверять, или налог повысят. Выжить бы этого виноватого из поселка, отвести беду. Да как знать, кто виноват?! Может, у кого что и случилось, тот и виноватый? А у кого, что?

ВОТ ЧЁ И БЫЛО...

Общее мнение склонялось к тому, что все, как было, должен знать бывший колхозный председатель Никола, то есть Николай Васильевич Катаев. А Тимофей Бубнов, шофер его, долго молчал, но все же проговорился. Ну, бабы, они как-то умеют мужика ковырнуть. И тот нехотя, да брякнет чего-нибудь с обиды. Так и тут. Вот, как и было, безо всякой прибавы на дороге от поселка в Агеевку.

— Тимофей, ты не на агеевску ли ферму едешь? Довези до ефримятского поворота!

— К Ивану направилась? Привет сказывай. Ну, как оне живут-поживают?

— Чё Ване не жить, все отцово хозяйство у его осталось. Мне-то ничё тятка не дал. Зять ему, вишь, не глянулся. Ну, да чё. Все ж он у Ивана доживал, тятка-то. Все ихное теперя. По осени медку туесок про нас оставят, дак и за то спасибо. Ой, я чё спросить хочю: ты Николай Василича, начальника своего бывшего, давно не видел?

— На што он мне?

— Он ноне в чайной опеть мужикам про Надьку и Михаила Александровича рассказывал. Будто видит он их на тем поле, где картошка. Блазнит, вишь, ему.

— Глаза-ге зальет, вот и блазнит.

— Говорят, раз ему блазнит, значит, чё-то он виноватой. А ты случаем не ходил на поле глядеть?

— Мне-то чё?

— Маремьяна сказывала: мол, это ты Ритке передал про Витьку. Ты ведь с имя в район-от ездил. С Надеждой и с председателем. Шоферил когда у его, у Николы.

— Да ты... да я... вот счас высажу тебя к едрене фене, иди, грязь меси, ботало коровьё!

— Чё ты, паря, колотисся, ровно слепой козел об ясли?! Я вовсе добром спросила... У тебя вон машина вчера ся ломалася, сказывают. Может, Надька-та и навредила?

— Как бы я, ёптать, чё-то сказал, если я в поселок позже Надежды вернулся? Она после бюро райкома выскочила, ревет. Я ей говорю: давай председателя подождем, он в сельхозуправление сходит, и вместе поедет. Нет, говорит, я на вокзал, на дачный поезд. Тутока скоро было дачному. Только задержать бы, да кто знал? Ну и уехала. А машину я каждой день чиню, Надька-та и не знала сроду, чё тамока сломать. Это чё, ёптать, за народ, чё мелют!

— А чё про Витьку-то было?

— Я у их на райкоме не сидел, конечно. Вижу, девка ревет, спросил у секретарши: чё, мол?

— И чё?

— Их, говорит, за картошку долго ругали. Ошиблись, мол, при расчете урожайности. А наш Никола уже в конце хотел дело на шутку свести. Картошку-то школа копала, старшие классы. С имя, мол, учитель был, молодой, красивый. Витька-то. С им, поди, агрономша хаханьки строила, сама не знат, чё насчитала. Молодая, мол. А там не шутят. Записали: моральное разложение.

— Чё это?

— Блядство.

— Мать Пресвятая Богородица! Да она хороша девушка-то была!

— Там не смотрят, хороша нет. Короче, когда я из района вернулся, уже фельдшерица бежит навстречу: надо, мол, агрономшу в районную больницу везти. У себя в лаборатории какой-то протравы наглоталася. Вот чё и было.

— А Витька?

— Ничё про Витьку не знаю. Вон, ёптать, твой отворот, слазь давай!

ТЫ НЕ УХОДИ, НАДЯ!

Никола, председатель, был не местный, не поселковский. У поселковского через бабу все узнают. Так, по-соседски что помочь надо или еще что-нибудь, мало ли. А Никола приедет — уедет, только его и видели. Когда это с Надеждой произошло, совсем Николы не было здесь. А потом и на него по осени блажь стала находить, вот ведь что это такое на свете делается. Приедет он в поселок на лошади, привяжет ее возле чайной и целый день сидит там, совсем не разговаривает.

— Опять седни их видел. На том же поле. Ну, етех, Михаила Александровича и Надежду. Сидят на краю поля, на дальнем, у лога. Картошка перед ими выкопана в аккурат на сотку. В мешки сложенная. Оне будго на ведрах сидят, толкуют между собой. Подошел — никого нету, и картошка целая.

— Их, сказывают, Вотяцка гора взяла. Сперва она отравила-ся, а в аккурат ей в годину Михаила-та Александровича опять чё-то за картошку давай таскать, дак и он сердцем помер. Обое вместе и блазнят людям. Чё ты туда ползашь? И тебя гора возьмет, гляди...

— Не-ет, я их подкараулю... Я имя все объясню. Вот у меня в тетрадке все как есть расписано. Планчик начерчен. Вся посевная площадь, котора под картошку, — вот она. Все сосчитано. Зачем и почему, все расскажу, пусть боле не ходят. И ей, Наде-то, скажу все, как было. Главно, чтоб ей сказать.

— Как осень, так он давай дурить с етой картошкой. Надьке скажет... Ее уж три года нету, Надьки-то. Ум-от у тебя вовсе съезжат, Коля. Исть* будешь?

— Нет покуда. Чаю дай.

— Чё-то ты вовсе стал, не ешь ничё... Давай-ко съезди в Соснову, сходи в церкву, пусть отчитают тамока над тобой, чтобы блажь отошла.

— Не, в церкву не надо. Так поживу.

— Куда пошел-то?

Куда ноги несут, туда и шел Никола, к поляне под Вотяцкой горой, и разговаривал с Надеждой:

— Надя? Надя, ты это... Вот тетрадка, посмотри, я те все покажу про ту картошку. Ты не уходи! Я ж разе думал, Надя! Я ж тоже, как лучше, думал. Мол, куда мне ете плановые десять гектаров картошки? Кто у меня на ей робить-то будет? Это ж надо закопать, да окучить, да выкопать, это ж тебе не репа. А хранить где, если у меня бурт на две тонны? А скармливать кому? Ее ж варить надо, картовь, а на ферме кормозапарки нет. Покажу, мол, урожайность поменьше. Никто больно-то и не знат, сколь ей положено урожайность иметь, каргови-то. Засажу поляну возле Вотяцкой горы, отчитаюся за все плановые десять гектаров.

* Исть (диалектн.) — есть, кушать.

А чё эту поляну не распахать было? Место ровное. Земля хорошая, жирная. Поселок близко, отдам картоху в железнодорожную столовую, рабочим. Ну, кому плохо?! Все председатели колхозов так пишут урожайность, ну, понижее. Все одно картовь девать некуда, так сгниват. Чё ты тамока насчитала, зачем? Шум подняли, райком влез. Их за план посевных площадей знашь как прополаскивают! А ты еще учти, что и горячее колхозу выделяют по площади. Тут, Надя, только копни... До области дойдет — начальству и партбилеты велят на стол положить, не шутики. А всему району горячее срежут, а плановую урожайность подымут, и все. Надо ж как-то тебя унять было... Подвернулась ты тутока, вот чё. Ты прости меня, Надя, а? Простила?

Но тень Надежды, видимая ему одному, проходила мимо и все так же считала и считала проклятушую урожайность.

— ...Так, сто пятьдесят шагов на семьдесят сантиметров, получаем... Площадь получаем перемножением. Округлим немножко... Получили с чем-то два га. Сколько собрала бригада Шмырина? Мешков пятьдесят. По сколько это у нас в мешке? Бригада Васи Гилева... Прибавляем. Делим. Урожайность двести центнеров с гектара... Двести. Двести! Двести!!! Все равно двести... Все я сосчитала правильно. За что меня? Все равно двести... Это же правда...

— Есть, Надя, правда, а есть жизнь. Будешь норовить только по правде — подохнёшь. Ты думаешь, это вчера началось — урожай-то не сказывать? Я у деда спрашивал, дак и ране, говорит, мужики приbedнялись, чтобы подати снизить. У нас ведь хоть надвое разорвись, скажут: а чё не начетвёро?! Нет, ты так не уходи, ты прости, Надя... Я же старался, ты пойми!

Вечером помнившая дорогу кобыла увозила Николу, все так же горячо толковавшего неведомо кому про гектары и центнеры. Он и в чайной пытался показывать свои тетрадки и объяснять, что к чему. Поселковские не в состоянии были вникнуть в смысл его речей. Все садили картошку по огородам, урожай считали ведрами, и сколько это в центнерах с гектара, не знал никто. Центнер с гектаром тоже путали. Да и не только в урожае тут было дело. Урожай тут, может, и ни при чем был.

НИКТО НЕ ВИНОВАТ?

Все же главный виноватый тут, наверно, Витька. Иначе чего бы ему являться каждую осень?

Первым приехавшего Витьку всегда видела почтальонка, целый день шагавшая по поселку и разносившая эту новость.

— «Заря коммунизма», районка, пять номеров. Два «Огонька», «Пионерской правды» пять штук, «Крестьянки» две, «Звезды» девять номеров. Письма сосчитала. Все. Опеть сумка полнехонька. Слышь, Тась, я Витьку Шорохова сёдня видела.

— Уж уехал бы он куда-нибудь...

— Робить ведь надо — уедешь дак. Тут он кто был — директорский зять. Ни чё ни к чему, а все же Витьку в учителя поставили. Спортили.

— Ритка это все, ну, Маргарита Федоровна. Это она тут все накрутила. В городе живет теперя, по родне пристроили. Ну, эта не пропадет. Лучше нас всех жить-то будет.

— А чё с картошкой-то прицепились? Чё-то прицепились к девке с картошкой, давай везде мотать: и в район, и везде. Не то насчитала, чё-то сказала... Добра-то! Картошка эта каждый год гниет в дальнем бурте.

— Ой, ладно, ты еще будешь про картошку! Нас еще помогают. Все, я на склад пошла.

Но и Витькина вина была как-то не видна. Если бы Надежда аборт у той же Маремьяны сделала — все бы знали. На Витькину гладкую рожу смотреть было почему-то никому неохота. Но все же где это он мог успеть сделать свое дело? У Маргариты за ним был полный надзор. Саму Маргариту не спросишь, подсыпались при случае к бывшей ее подружке, царственной продавщице в сельпо:

— Завесь, Тая, селедку да дай две буханки черного и поллитру. Картошку копам. К тебе Шорохов-то не заходил?

— А чё ему ко мне заходить?

— Ну, на свадьбе ты у их, говорят, была, дружила с имя ране-то. Богатая свадьба-то была?

— Каки люди, така и свадьба. Мое какое дело.

— Платье тако богатое у Ритки-то было! Я их с Витькой видела, когда оне по поселку ходили, на свадьбу приглашали. По начальству, конечно, да по продавцам. Говорят, из района на свадьбе были. Из райпо, из райисполкома, заврайоно была.

— Кака свадьба, таки и гости.

— Витьке тоже костюм хороший справили, серый шевие-товый. Куда тебе стал Витька, настоящий артист. И ростом высокий. Ритка-то ему по пояс.

— Пятьдесят два пятнадцать. Что еще брать будешь?

— Сахару кускового полкило. Ритка-то не сказать что красивая, ну, правда, завивалась в городе, тупфли на каблуках. Все же директорская дочь. Он сразу тоже учитель стал. Виталий Сергеевич. Во!

— Семьдесят три пятьдесят. Все?

— Ну... Соли еще дай два кило. Все одно капусту солить. А чё, правда-нет, что агрономша с им трепалась? Да и попалась, как вошь во щепоть. Ритка-то у тебя в магазине на ее кинулася.

— Ничего я про это не знаю. Мне из-за прилавка ничего не видать. Людно было. Дачный в аккурат пришел. Слышу только, шум поднялся, крик. Розняли их. Восемьдесят два двадцать.

— А Ритке-то кто чё сказал? Правда, что из районо позвонили? Лизавета, на сельсоветском узле телефонистка, говорит...

— Рассчитывайся давай. Мне эти разговоры во где уже. Кажду осень все перебирают. И Лизка зря болтат. За язык-от знашь как притянуть могут!

— Сколь с меня?

— Вечно десять раз надо сказать. Восемьдесят два двадцать. Вот такая вышла нелепость. Никто смерти-то не хотел. Урожайность тогда перевирали все, кто мог. При худом раскладе на заседании райкома партии могли девушке и политическую статью припаять: раскрыла-де перед капиталистическими врагами наши подлинныи ресурсы. Мы, многомудрые, скрываем, что-бы враг не догадался, сколько картошкиросло, а ты раскрыла, враг-то на ус намотал, готовясь пойти на нас войной. И за много меньший проступок тогда можно было загреметь далеко и навсегда. Никола вовремя свое слово сказал. Райкомовские, от душевной щедрости, всего-то и приписали обвиняемой, что амо-

ралку. Ритке из района звякнули, она кинулась на хорошую девушку Надю — и девушки нет. А кто виноват? Да, собственно говоря, никто.

Ритку не обвиняли: мужиков после войны днем с огнем порой было не найти, а она, прямо скажем, против Надьки не красавица. Не убивать лезла, а так, поскандалить. Нет, виноватая не она.

ЖЕРТВЕННАЯ КРОВЬ

Большой шум в поселке из этой истории получился. То ли мстила Надька, ни за что погибшая, то ли не на шутку разгневалась Вотяцкая гора — и лилась безвинная жертвенная кровь. Влетело партийному начальнику. Николу зимой из председателей сняли, а директора школы — летом. Почему-то мимоходом стукнуло многих, кто уж совсем был ни при чем.

— Чё, тетя Зина, невеселая? Моего тутока, в чайной, не видела? По всему поселку бегаю ишу. Свинью договорились колоть, сват пришел, а етого унесло куда-то.

— Чё рано колете? Тепло еще.

— Нogu заднюю защемила в полу свинка-та да подворотила. Жоркая была, а счас ничё не ест. Сват-от закоптить мясо хочет — умеет.

— А я тутока Федора Петровича встретила. С битоном за супом приходил. У его Мария-то к Ритке в город уехала. Поговорили. Совсем он стал не такой, как с директоров сняли.

— Не спрашивал, чё, мол, ушла из школы?

— Он и сам знат. Новый директор ставку гардеробщицы с меня снял: мол, не надо за раздевалкой смотреть. Вечером приди вымой, всего и делов. А жить на чё? Вот я в чайную уборщицей и ушла, да еще в сельсовете лестницу мою. Плюнула да ушла, чё мне. Никакого порядку, слушай, в школе не стало. Не то, что при Федоре Петровиче.

— Уж тот был директор дак директор.

— Да как не директор? Чистота, строгость была в школе. Робил бы и робил, если бы не Ритка эта. Не надо было так потачить. Она как школу закончила, учителя локтем крестились, что ее боле учить не надо. Чё хошь сказать учителю могла. Боле директора ее боялись. А она в городе на заочно учиться поступила — и опять тутока! Да еще с Витькой етем...

— Все, я, Зин, пошла, если мой сюда, в чайну, придет, гони грязной тряпкой!

Саму Надежду, а с ней Михаила Александровича многие осенью тоже видели на дальнем краю поля. Приглядеться только надо было. Кусты там, возле Вотяцкой горы, а левее возле лога точно их фигуры. Будто бы друг напротив дружки на ведрах опрокинутых сидят и разговор ведут. Вот так, виновных не нашли, и всему поселку стало блазнить. Как осень, только и разговоров: кто видел, кто не видел и что это не к добру.

Страх пробирал всех, неизвестно, чего боялся чуть не каждый. Крещеный вотяк боялся одного, русский бывший колхозник со своим фальшивым паспортом — другого. У поселкового партийного начальства — свои боги и свои страхи. И дома покоя нет.

— Знаешь, я Николай Василича в чайной встретила. Все тетрадку носит, у меня, говорит, про картошку тут все написано.

— Чтобы я больше про эту картошку ничего не слышал, поняла?! Я только случаем не слетел тогда. Как раз в области на партучебе был. А то бы с парторга первый спрос.

— Ты чего злишься? Ерунда какая-то, сказать стало нельзя, сколь картошкиросло!

— Лида, есть линия райкома. А кто против этой линии прет, то разговор с ним короткий. И людям это надо понимать и не лезть лишнего-то. Чего вот ваш Михаил Александрович полез?

— Он нам в учительской потом говорил, что урожайность проверить хотел. Раз ошибка — значит, надо проверить. Переживал очень из-за Надежды да своей заметки в газете.

— Пусть бы тетрадки свои проверял! Раз партия сказала: ошибка, признай, и точка. Он кого проверять вздумал?! Партию?! Чудило! Сотку веревочкой отмерил, безмен принес. Ладно я бдительность проявил, прихватил его на поле. Ну, поговорили с ним на партбюро: мол, будем оформлять кражу колхозной собственности. Да не дошло бы до этого, Лида, мы ведь так, пугнули... Конечно, жалко, что он мало пожил.

— Да, оказывается, ему всего сорок два года было. А сердце не выдержало...

— Даве я Ивана Маркеловича, соседа нашего, тоже засек, тоже с безменом на огороде сидит. Урожайность меряет, мать ети. Ты, говорю, Ваня, где покос имеешь? Возле Агеевки. А ноне летом будешь возить сено из-под Меновщиков, через Фенькину дыру? Тамока в логу вечно мокро, хоть какая будь сушь. Враз все причиндалы убрал. И я, Лида, сколь раз говорил: ты болтовню всякую домой не носи!

— Ну, я так, чтоб ты в курсе был...

— Да в курсе я, в курсе! Это ты не в курсе. В колхозе сёдня утром агеевская бригада на то поле не пошла. Боятся. И лошади, мол, не идут, храпят. Поповщина полезла: «Из церкви батюшку позовем, пусть на поле отчитает да покадит». Чтобы нам была слава на всю область?! Нам в райкоме рассказывали, что с этой картошкой тут уже чуть не сто лет бьются. Ну, что за народ! Староверы, одно слово! Еще в царское время бунтовались. Деньги им давали, только сади картошку. Не надо, и все тут. Ну, сейчас не те времена: хочу не хочу. Есть план; сколь скажут, столь и посадим. Я уже с воинской частью связался через райком, солдаты приедут, за день картошку выкопают и себе увезут. А весной заложим на этом поле клеверище. И все. Давай ужинать, Лида. У нас водка есть? Устал я сегодня.

Не все сказал жене партийный секретарь. Не сказал, как шел он сегодня от Вотяцкой горы и углядел, что вокруг покосившейся избенки старой Арины накровавлено и ветер гоняет куриный пух. Видно, эта полоумная вотячка для избавления от мести обиженных богов опять зарезала жертвенную курицу. Зашел, низко наклоняясь в проеме скрипучей двери. Темно в избушке после дневного света, а в глазах потемнело еще больше. Арина окропила жертвенной кровью и иконы, и портрет Сталина, приколотый к стене. Трясущимися руками секретарь содрал окровавленного вождя и, крепко стукнувшись о притолоку, выскочил во двор. Ломая спички и громко матерясь, сжег бумажный комок. Арина, приковывавшая с огорода, ничего не поняла. Он молча погрозил ей кулаком и побрел домой на нетвердых ногах с колотящимся сердцем.

ИХ ВЕК НЕ КОНЧЕН...

От Вотяцкой горы отступились. А время, быстротекущее и равнодушное, заваливало новыми делами-заботами и смывало из людской памяти Надежду и Михаила Александровича. Ремонтировали для новых учителей его освободившуюся квартиру.

— Тань, давай вот сюда домазывай остатки. Все же надо было еще по второму разу покрыть. Тутто, видишь, полосы.

— Ладно, не учи хромать того, у кого ноги болят! Новые хозяева подкрасят, ежели надо. Кто приедет, не слыхала?

— Двое их, оба учителя, приедут вот квартиру смотреть, как отремонтируем. А кто — не знаю.

— Ну, наработались мы. Никакого порядка у Михаила Александровича не было. В запущении квартира-то была. Хлам один. Конечно, ни семьи, ничё. Смешной, помню, был: ровно аршин сглотил да так торчком и ходит.

— Я у его училася, помню. Тихий был. Ни на кого сроду и голос не подымет. Стихотворения сочинять умел. В «Зарю коммунизма» заметки отпирывал. Сам-то из Ленинграда, говорят. Чё его к нам занесло?

— Собирай банки. Я тут слила себе маленько, окна подкрасить.

— Он у нас и русский вел, и литературу. А вот про семью-то я ни у кого и не спрашивала. Дак ведь война была, мало ли чё...

— Ну, все. Дай-ка руки ототрем. Ты масла принесла подсолнечного, дак плесни и мне маленько.

Хламу нагребли бабы два мешка. Пожелтевшие листочки с напечатанными короткими строчками. Книжки старорежим-

ные. Альбомы с фотографиями. Старые газеты они уже истратили, когда красили. На пол подстилали. А чего их жалеть-то, старые районки, года девятнадцатого да двадцатого? И где он их только взял? Написано неинтересное: все про становление советской власти да кулацкие бунты.

Больше всего удивились громадным костям и коричневому ломаному костяному черепу, башке, как определили они. На коровий череп башка была не похожа. «Лосиная или кабанья, — предположили, — вишь, вон рог торчит. Ну, вовсе чокнулся мужик от одиночества: кости дома держать!» Снесли весь хлам на огород, разожгли небольшой костерок и все старательно сожгли.

...Череп и кости звероящеров пермского геологического периода найдут в этих местах лет через двадцать. Найдут, конечно, куда ж он денется, период-то, он же пермский...

В квартиру Михаила Александровича осенью поселились молодые учителя. Бывший директор школы Федор Петрович вскоре переехал к Ритке в город. Никола устроился председателем сельпо в дальнем селе Вознесенске.

Нисколько не пострадал только действительно ни в чем не повинный Витька Шорохов. С Риткой он развелся едва ли не с радостью. Из поселка уехал в район, устроился на железную дорогу в военизированную охрану. Ездил по стране, домой к родителям приезжал только осенью, чтобы помочь выкопать картошку. И больше ничего. Он даже не показывал никакого огорчения, может по глупости. Но народное мнение, поколебавшись, уперлось именно в него. Он, сам того не ведая, напоминал и напоминал о Надьке, хорошей девушке, ставшей заложной покойницей, о которой нужно было забыть. А он напоминал,

и по дорожкам памяти заложная покойница Надька вновь являлась у Вотяцкой горы. «Из-за его все вышло», — вот и весь приговор, столь же безосновательный, сколь и беспощадный. Ночью в окно шороховской избы полетел кирпич. Это еще что! Раньше-то могли и избу поджечь. И корова могла явиться домой, волоча по пыльной дороге собственные кишки. Тут не оправдаешься и приговор не обжалуешь. Хоть времена были уже не старые, а советские, Витька Шорохов завербовался на Дальний Восток. Его сестра и оба брата уехали в город Молотов*.

Никакого клеверища на моленной поляне никто не заложил, и поле Надежды скоро затянуло дикой травой. Осенью, когда с огородов потянет горьковатым дымом, подойдите к Вотяцкой горе. Поглядите, они там, во-о-он там, у самого лога, — Надежда и Михаил Александрович. Картошка перед ними выкопана и в мешки сложена. А они на перевернутых ведрах сидят и о чем-то разговаривают. Их век не закончился, а виноватые так и не найдены.



* Так в 1940—1957 годах назывался город Пермь. — *Прим. ред.*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СУДЬБА ПОЭТА

Б ежит по улице Садовой узкая дорожка, круто обрываясь к речке.

— Ну, что нового на Садовой? — Таисья присаживается на лавочку к бабе Кате с бабой Тасей.

— Да ничё, — отвечает Катя, — вон Ванька-тюремшик снова пришел, а так боле ничё. Опять болгат свои сказки. Мужики, слышь, какие довольные? Огород-от вспахали, выпили, ну и Ванька тутока, как без его!

С Катиного огорода доносились дружные раскаты хохота — веселились несколько мужиков.

Маленький тощий Ванька-тюремшик был народным поэтом в деревне. Нигде Ваня сроду не робил, тем не менее всегда бывал сыт, пьян и доволен жизнью. Его кормили и поили «сказки» — так он называл свои бойкие и похабные стихотворные сочинения. Тяжелая работа в деревне каждый день: кто-нибудь да огород пашет, или тёс дорожит, или сено возит — мало ли дел. Намахавшись, мужики подносили Ваньке стакан-другой и были согласны до утра гоготать над его сказками.

Баба Поля не раз советовала:

— Ты, Ваня, зашейся! Тогда, может, и жену найдешь. Вон девки-то мои мужиков позашивали — красота. Мужiku ведь чё? Только ему одно и надо да еще бутылку водки. Как же с имя с незащитыми жить?

Соседки кивали головами:

— Правильные у Польки девки! Знают, как жить, мужики у их не балуют, хоть и пьющие. Вон зятевья — городские, а все лето из огорода не вылазят, все чё-то робят, как девки скомандуют. И за ребятами своими девки следят: Таньке глазик выправлен, Ваське зубы сдвинули, Кольку в специнтернат для слаборазвитых определили — хороший интернат, с зимним садом.

Что странно, урожая завидного у Польки сроду не бывало. Лук вечно сгнивал, картошка желтела в августе, а помидоры уходили в ботву. Сколько ни горбатились Полькины зятевья, зашитые невольники огорода, земля, хоть тресни, не рожала от их усилий. Однако ни эти неурожай, ни потомство с кривыми глазиками, зубками и мозгами нимало Полькиных девок не смущали. Они впрямь знали, как надо жить, и могли научить кого угодно. Поля на старости лет была своими дочерьми довольна:

— Хорошо девки живут, хорошо. Робят, все по шубе цигейковой справили, и шапки у их дорогие, норковые.

А если Ванька случаем поинтересуется, каким это ветром надуло девок сроду незамужней Польке, у той, будьте уверены, найдется что сказать:

— Ну дак и чё, бегивала с мужиками вон на угор, мясо-то живое, просит. Я, Ваня, зла на баб не дряживала, даже кода и поругамся. Жизнь, чё поделашь. Я, милай, за мертвым замужем. Секретарь поселковский менделеевский мамоньке бумагу такую

сделал, свидетельство, чтобы мне паспорт дать, из колхоза уйти. Я ушла, дак и живу вот. А деревня наша помёрла вся в тридцать шестом годе. И мама с тятёй. Жизнь, Ваня, жизнь така... Зато робила, а ты вот не робишь!

Он к Ванькиным рукам не липла деревенская работа. Сказки возникали из него сами собой, поэта кормила его поэзия, а губили, естественно, женщины.

— Он ведь чё болтат, Ванька-то, — докладывала Катя. — У меня, говорит, от тюрьмы сила мужская возрастат, и меня за это бабы шибко любят. Я и то козу-то пасу, дак вижу: идет-идет баба по улице, шасть — и к Ваньке!

Бабы у Ваньки — исключительно крупные, в теле — впрямь не переводились, и очередной финал его деревенской жизни приближался с неотвратимостью осеннего листопада. Рано или поздно наступал момент, когда дверь Ванькиной избы распахивалась, оттуда с душераздирающими визгами-воплями выскакивала полуголая бабища и, колыхая телом, сыпалась вниз по улице. За ней несся и размахивал топором маленький кривоногий Ванька в черных трусах до колен. Слабогрудому Ване хватало дистанции до ближайшего поворота. Проорет он дурным голосом: «Ой, ты, милочка моя, симячко рассадно, посулила — не дала, али не досадно?» Потом он, закинув топор за тощее плечо, удалялся в свое имение. А визг ухажерки еще долго радовал деревенских собак.

Никто из односельчан в эти разборки не лез, баба Поля с бабой Леной на своей лавочке судили о происходящем спокойно, как о погодной примете: «Опеть Ванька бегат, значит, скоро сядет».

Тюрьма Ваньку не пугала: «Тамока все мои сказки любят: и ребяга, и охрана. Напоят-накормят! Хоть от баб отдохну».

...Промчится лето узенькой дорожкой по улице Садовой, свалится в речку золотом осенних листьев. Потом засверкает речка зимним серебром. Простывшего, замерзшего Ваньку увезут в туберкулезную больницу. Насовсем.

— Сгорел Ванька-то, — скажут в народе.

Этого еще никто не знает. На улице Садовой самое начало лета, теплый ветерок доносит с огородов смех и сырой запах свежей пашни. И я как автор не в состоянии отменить печальный конец: сами понимаете — судьба поэта.

В телевизоре ноне шутников — каких хочешь, Ванепохабнику не чета. Кнопочкой шелкни — и отдыхай культурно. И жена довольна. Так? Нет?

ТЕЛУШКА КРАСУЛЯ НА ФОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

— Слышь-ко, Таисья Васильевна, Зойка-та, стерьва-та, свою телушку ноне опять продавала! Ты видала у ей телушку-то, Тая? У Зойки и старая корова хорошая, на всю деревню одна такая, доит по три ведра, масло Зойка прямо из молока сбиват. Зойка-то сама стерьва стерьвой, а телушка у ей, ничё не скажешь, — загляденье одно, а не телушка.

Годовалая белая телушка у Зойки была и в самом деле одно загляденье. Между коровами ведь тоже бывают просто коровы,

а бывают красавицы. Рога у Зойкиной Красули были ровненькие, вымечко круглилось нежно, и даже копыта на ногах блестели, как туфельки. Вся она, большая, без пятнышка белая, со взглядом спокойным и добрым, была, ну прямо, как хорошая деревенская девушка на выданье. Зойка, которой и деньги нужны были сыну на дом, и продавать Красулю до смерти не хотелось, этой телушкой уже свела с ума полдеревни.

— Она, Зойка-то, все решат да перерешиват: продам не продам, — уж сколь народу с ей торговалось! А ноне сторговалися с Тамаркой из ляги.

— Из какой ляги, Катя? Что за ляга?

— Ты чё, Таисья Васильевна, как не деревенская! Ну, ляга и ляга, лог будто, но такой широкой — ляга! Дак вот, Тамарка из ляги, дом-от у ей вон там, в ляге, стоит. Тамарка-то уж и деньги отдала, и телушку в стадо привела, а туто поругалася с толстой Наташкой, знашь толсту-то Наташку? У ей дом-от на Военной горе, в аккурат над лягой. Наташка в магазине увидела Зойку и говорит: ты чё, мол, Зойка, вовсе задешево телушку продала? Мол, фермер из Карповки вдвое тебе дал бы против Тамарки! Зойка-то прямо из магазина побежала в поскотину, телушку нашла и домой увела. Тамарка бегат-ревет: или, мол, телушку отдай, или деньги. А Зойка отвечат, что, мол, телушку она ей продавать раздумала, а деньги уже отдала своему Витьке на цемент да Гальке на квартиру. Врет, ведь врет стерьва: Гальке она никогда на квартиру не даст! Галька тутока с одним мужиком сошлася, у его квартира в Кизелях. А он возьми, да и попади пьяный под машину. Галька-то думала, что квартира теперя будет ее, под платье подушку подлаживала, будто она беременная,

чтобы в сельсовете на ее квартиру-то записали. А тут бывшая законная жена в квартиру приехала, Галька без ничё осталась, пришлось подушку выбросить. Мне Гальку-то не жалко, мне телушку жалко: продержит ее Зойка дома, не обгуляется телушка, чё тогда, только ее на мясо. И ты вот помяни меня, Зойка все лето эту телушку будет продавать, пока Витька-пожарник дом новый не построит!

Еще много интересного сообщила бы Катя про Зойку, Гальку, Тamarку из ляги и толстую Наташку, но тут в спокойном течении беседы неожиданно обозначился странный поворот. Из Тасиного дома прискакала ее же внучка Ленка и протаторирила, что покупать картошку для посадки придется завтра, а сейчас они с мамой собираются к тете Руми.

— Уж не ураган ли над твоей ямой прошел, тетя Тася, — изумилась Таисья, — семенную картошку покупаешь! А тетя Руми? Имя какое-то нерусское, я и не знаю такую в деревне. Она тебе кто?

Какими-то очень тяжелыми и, быть может, неуместными тут же показались ей собственные вопросы, вполне естественные в своей деревенской бесцеремонности: тут дело обычное — нимало не смущаясь, и выспрашивать, и выкладывать всю подноготную.

— Да, считай, сватья она мне: от чечена Ленка-то у моей Любашки.

Любашка была младшей дочерью тети Таси. Двое старших детей жили за речкой своими домами. В большом двухэтажном Тасином доме жили только сама хозяйка да хромая Любашка со своей нагуляной дочкой Ленкой.

— Вишь ведь, какая она у меня, где тут, думаю, женихов дожидаться. И на тебе! Ей еще и восемнадцати не было — объявляет: мол, есть у меня жених, и он чечен. Мать Пресвятая Богородица, говорю, Любаня, да ты чё, Любаня, и боле ничё сказать не могу. А она только вот это мне сказала и тоже молчит, боле ничё не говорит. И как они с Ахметкой-то этим сошлись, так я и не знаю. Ахметка-то не из богатых, шабашит с отцом на стройках. У их тоже не все торгуют, есть и бедные. И ты подумай, свататься ведь Ахметка-то пришел: будем-де тут у тебя с Любашкой жить. Я его застыдила: ты, мол, обзарился на дом да на мое добро, совесть-то у тебя есть ли, уродинку хромую сумускаты! Иди и уходи, мне тебя не надо, зятек нашелся! Ну, он спорить не стал, ушел сразу, а на следующий день украл ведь, гад, Любашку!

— Как это украл?! На коне, что ли, увез?

— Зачем на коне, на автобусе увез, Катя вон их увидела.

— Я козу пасла, возле Ванькиного дома, вижу — идут! Ахметка Любашку за руку держит, у его чемодан, у ей тоже чего-то. Да быстро так идут, Любашка еле ковылять успеват. Меня как толкнуло: дак ведь это оне на городской автобус, убегают ведь оне! Я козу к заплоту привязала и — к Таське, несусь-падаю. Та в огороде капусту полеват шлангом. Таська, кричу, Таська, Ахметка твою Любашку украл! Таська кинулась в чем была. Я пошла, у ей воду в шланге выключила, чего зря лить воду-то.

— Бежу я к автостанции — автобус уж пошел, и оне в окне, обоё. Всю деревню за автобусом бежала — ревела, да где догонишь! Через полгода является Любаня, и — пузо на носу. Ленка-то на моих руках все и росла. Чеченка у меня, внучка-то, господи-господи!

— Ну и чё, Тася, ну и чё? Ты, Валя, знашь, ране-то бы пальцем тыкали да страмили всяко, а сейчас сколь в деревне таких, как Ленка! Полно! А Ленка-то девка хорошая, и баская, и толковая. Шесть лет ей, а уже книжки читат. Ты, Тася, лучше про эту зиму Расскажи, про квартирантов-то своих!

— Да ладно тебе, Катя! Съехали, в Кизелях теперя, слава Богу, я и избу вон вымыла, чтобы и не пахло имя.

— Избу, что ль, ты зимой сдавала, Тася? Кому это?

— Да какое там сдавала! Зимой родня Ахметкина из Грозного свалилася на мою шею, восьмеро. Двое стариков, да две бабы, да ребят четвёро. Квартиру, мол, у нас разбомбили в Грозном, прими.

— Ага, прими! Ближе, вишь, не нашлось никого. И богаче никого нету, чем Тася-пенсионерка. Хитрые оне, Тая, вот что! У их, будь ты хоть свой, хоть чужой, все за рупь — копейечку. Никто ничё просто так не даст, хоть запросись!

— Свои, мол, Ахметке сказали так: оставляй эту кучумалу у нас, а сам езжай в Чечню и воюй. Это мне Любашка сказывала. А он будто бы воевать не хочет, а своих боится. Вот и выходит, что, окромя меня, и не к кому.

— Телушку она имя за зиму-то скормила, картошку до единой картошинки выгребла, всю мужнину одёжу отдала, ведь восьмеро, зимой, ты подумай.

— Что телушка, вовсе боялась с имя без крыши над головой остаться! Телевизор-от посмотрим вечером, а там все убитые да покалеченные. Господи, твоя воля! Всю ночь меня вот так вот всю трясет и спать не могу. В деревню зимой-то два гроба привезли из Чечни: у Мишки Шмырина Серега погиб, да у толстой

Наташки — Леха. Хорошие все ребята. Думаю, ну как напьется кто с горя да и подпалит избу-то со всеми с нами. Или Ленке чё делают: народ-от знашь какой злой сейчас! А чё, разе их выгонишь: война ведь там, настоящая война! Я, девка, в Отечественную-то войну в Перми на Кировском пороховом заводе робила, на станке точила. Нас, угланов, в сорок третьем годе облавой с милицией по деревням наловили. Я на сеновале спряталася, нашли, за ноги меня стащили и в Пермь увезли. Точу, бывало, а на соседнем участке как чё-то взорвет, только приседай, летят через мою головушку чьи-то руки-ноги. И взрывы, и кровь, и рев, и когда руки-ноги отдельно и головы нет — этого я навидалась. Ой-ёй-ёй!

— Ладно, ты, Тась, про ту войну не поминай, ты скажи, спрашивала ты у етех Зуль... Гуль... ну у Соньки-то с Галькой, у баб-то чеченских, где ихние мужики в эту зиму были?

— Да оне сами не знают, где мужики, чё ты с их спросишь! И своих боятся больше, чем нас, и по-русски плохо.

— Ты слышала? По-русски плохо! Как у русского чё выпросить — русский знают, а чуть чё — сразу по-русски плохо! Шибко оне хитрые, вот чё! Удивляюся я тебе, Тася! Любашку оне от себя выжили. Вот сгори у тебя случаем дом, оне тебя к себе приняли бы? Ну до войны еще, когда жили-то в Грозном? А ты имя — все!

Возразить было нечего. Всем троим было очевидно, что при таком раскладе никто Тасю в Грозном и на порог напустил бы. Тася только махнула на Катю рукой, тяжело поднялась и молча ушла в дом.

— Шибко она свое добро-то жалеет, и телушку, и картошку. Она ведь скупая, Таська-та, всю жизнь, всю жизнь каждую

копеечку выжимала. У ей корова-та старая, она хотела нонче телушку запускать, тоже хорошая телушка-та была. А счас где она таку телушку купит! И Таська-та, говорю тебе, шибко все жалеет, да только Любашку ей жальче. Хлебнула она с этой Любашкой, вишь, она какая у ей уродинка, да угрюмая, да сердитая. Мужик-от у ей, у Таськи-то, говорят, из-за Любашки и задохся.

— Дядя Костя? Я маленькая была тогда, не знаю ничего.

— Да я сама плохо знаю. Тася-та и мне не больно чё скажет, рукой вот эдак махнет и уйдет, если чё спросишь. У ей этот Костя, Любашкин-от отец, уж второй муж, она чё-то рано овдовела, с двумя ребятами от первого осталася. Костя-то был моложе ее, из армии пришел и женился, привез ее вроде из Менделеева. Такой был мужик хороший, Костя-то, уж теперя и нету таких. Пока молодой-от был, так и не пил, все шабашил, все строил. Шибко для Таси старался. Дом-от, вишь, у их какой, со всем хозяйством. Машину купил, «Жигули», гараж каменный поставил — уж, куда богаче-то жить, сама посуди! И вот чё на его нашло, в гараже-то в етом закрылся и от машины задохся.

— А почему? Тася-то что говорит?

— Ничё! И не поминат никогда Костю. Первого своего, охранник какот был, поминат, а Костю вовсе не поминат, как и не было его.

— Любашка-то его ли?

— Его, его, и лицом-то вся на его. Только он ее не любил и раньше маленькую, что есь, на руки никогда не возьмет. Бабы магазинские сказывали, что, мол, корил он Тасю Любашкой. Своему первому дак хороших ребят нарожала, а мне — только эту лягуху. Она и верно чё-то не хотела ему рожать. Все аборты

делала или к Маремьяне за травкой бегала — была тогда у нас такая Маремьяна. А Любашку-то ей чё-то не удалось скинуть, вот, видно, она от Маремьяниных травок такая кривая и вылезла. Тася-то шибко ее всегда жалеет, уж не и спорит с ей, ничё. Это ведь шибко тяжело, Валя, матере-то всю жись на свою уродинку глядеть да каждой день, каждой день думать: а не я ли тебя спортила, бедная ты моя! У Таси одна радость — Ленка. И растет она, и кормит, полностью на ей Ленка-то. Чеченов, и тех приняла, господи ее прости: мол, они Ленкина родня. Меня, мол, не будет, на кого им с Любашкой опереться? Етех ребят так и не рожать бы, одни из-за их переживания. Правда ведь, Тая? Толстая-то Наташка, ну вот, за чё она к Тамарке прицепилася? Ни за чё, со зла. У меня, мол, Лехи нету, а ты разбогатела, телушку покупашь! Нашла виноватую, что Леха-то у ей в Чечне погиб. У Наташки ребят семеро по лавкам, мужик пьет, не робит, Наташка санитарка в больнице, как ребят подымать, скажи! Леха-то у ей хороший парень был, помог бы, да вот чё... Наташка-то раньше веселая была, все пузом трясет-смеется, на всяко слово у ей кака-нинабудь частушка:

В огороде от жары
Я сняла купальник.
Что ты вылупил шары?
Заходи, охальник!

Матершинница така была, и все ей будто ничё, а теперя озлилася. Карповского-то фермера она и в глаза не видывала, ничё про его не знала, просто так Зойке брякнула, чтоб только Тамарке было хуже. Зойка телушку сама в Карповку увела, там фермеру сразу и продала. А вот Тася свою-то телушку зря

ОНЬКА И МОЯ ВАСЯ

чеченам скормила, я все же так, Тая, думаю. Тоже ведь хорошая телушка была. Ну, как перестанет у ей корова доиться, чё тогда?

И ведь как в воду глядела. Тасина корова этим летом и в самом деле перестанет доиться, и ее продадут на мясо. И Тася вся как-то осядет, стихнет и уедет жизнь доживать к старшей дочери в Кизели. Опустеет еще один дом в Мудомоях.

А Зойка-стерва попыталась-таки и фермера надуть тем же способом, что и злосчастную Тamarку из ляги. Но карповский фермер оказался мужиком крепким. Увидев пропажу телушки, он с бутылкой самогонки явился к Зойке на переговоры. Ты, мол, Зоя, отдавай телушку добром. Зойка ему выдвинула встречное предложение: «Я тебе сейчас не отдам ни телушку, ни деньги, а отдам по весне свою старую корову. У тебя будет старая корова, а у меня молодая корова с двумя телушками: от молодой коровы и от старой». — «Ты, Зоя, — вежливо ответил ей фермер, — отдай мне телушку, и у меня к лету будет молодая корова с телушкой».

Стороны встали на свои точки зрения и там твердо стояли. Зоин мужик Толя ничего не говорил, только пил самогонку. Пока фермер вел дипломатию, фермерский сын Сашка, здоровенный дембель-десантник, размял косточки, взяв с ходу двухметровый Зойкин забор. Потом он так же лихо высадил дверь сарайки и увел Красулю в свою деревню Карповку. Когда Зойка вышла на крыльцо, увидела сарайку и открыла рот, чтобы заорать, фермер молча подставил к ее носу свой крепкий кулак. Зойка понюхала кулак и орать не стала. Фермер спустился с крылечка, закурил и пошел спокойным шагом вниз по улице. Думаю, он мог бы затребовать телушку, к примеру, через сельсовет. Но какой тогда был бы в жизни интерес, верно?

— Посиди, Таисья Васильевна, посиди ино с нами, сколь тебя не видывала. Вот туто-ка бегала, маленька-то, помнишь? А родители твои вон на лавочке, будто так и вижу, сидят обое: и Она, и Вася...

— Сегодня ночью тебя унесет Большой Ымме, — сказала тогда старшая мать. Девочка молчала, все другие в доме тоже сидели молча. Еле различимые в тусклом свете очага, лица были спокойны и неподвижны. Дело старшей матери — сказать, кто должен уйти.

В землянку под корнем громадной березы старшая мать унесла горшок с угольями и мешочек сухой травы. Она знала, какую траву надо бросить на уголья, чтобы дым дал ей силу говорить с Ымме и не позволил бы сойти с ума. Три дня она беседовала с Ымме и Оомой, его супругой, которая должна была сказать, кого из детей она забирает. Все лесные люди были детьми Оомы. Это она говорила старшей матери, кому будет дан ребенок, и назначала день зачатия. Старшая мать уводила назначенных в землянку, ставила горшок с горящими углями и бросала на него шепотку травы. Зачатого по своему велению нового человека Оома сама встречала на пороге мира.

Тлели угли в землянке, и тонким длинным дымом исходила горящая сухая трава... Тишина стояла в темной землянке, и никто не мог разглядеть страшный лик Оомы. Она же видела всех и знала, кому черед прийти, а кто должен уйти от людей в страну Ымме за дальней рекой. Уходящий ничего не ел от новолуния до полной луны и снимал одежду, чтобы слугам Ымме было легче его нести...

Старые или пораненные на охоте сами знали, что им надо уходить к Ымме. Иногда Оома забирала молодых, иногда — младенцев. Кто же, кроме нее, мог знать, какие будут в лесу зима и охота. Сколько будет еды, столько и останется лесных людей.

В том году большой голод пришел в землянки. Кончились запасы у людей, и Оома навевывалась чуть ли не каждую неделю. И завтра снова придет...

Старшая мать встала и вышла, откинув полог дома. Девочка поднялась и пошла за ней. Она шла медленно, пошатываясь от голода и ничего не видя перед собой. В землянке старшая мать стащила с девочки меховую одежду и усадила перед тлеющей на углях травой. От резкого холода и дыма девочка очнулась, открыла глаза. Старшая мать стояла на коленях спиной к ней, лицом к выходу.

— Э-э-э! — протяжно прокричала она. Пусть слышит Ымме.

Как кружится голова, и вновь закрываются глаза. Это от дыма. Сейчас она уснет, и Ымме заберет ее навсегда... Страшно стало девочке. Нет, не хочет она, чтобы ее унес Ымме! Она легонько подула на дымную струйку, и та отклонилась, унося сон. Старшая мать вышла, не взглянув на девочку. Нельзя оглядываться на тех, кто назначен Ымме.

Девочка встала, пошатываясь, натянула одежду. От тепла ее снова стало клонить в сон. Но тут раздался леденящий вой. Это выли серые слуги Ымме. Они слышали призыв старшей матери и были готовы. Ужас охватил девочку. Она выскочила из землянки и тут же остановилась. Крепче капкана держали ее страшные запреты. Но снова взвыли слуги Ымме — и девочка бросилась бежать. Нельзя ей было идти к своим лесным людям. Страхась

гнева Ымме, никто и никогда не посмеет впустить ее под полог своего дома.

Неизвестно, сколько дней она блуждала по тайге и каким чудом ускользнула от голодных слуг своего страшного бога. Ее подобрала ссыльнопоселенцы на улице своего поселка. Отогрели, как могли, накормили. Жить пристроили к столовской поварихе. Спрашивали: «Ты кто?» Девочка поняла вопрос и попыталась по-своему ответить: Оомы дочь. Так девочка и стала — Оня, то есть Анисья, и жизнь прожила как Анисья Ивановна Векшина, по пап-спорту — русская.

Ссыльнопоселенцы приютили Оню, как брошенного котенка. Сами лишенные всех человеческих прав, они испытывали смутную радость оттого, что могут ей помочь. Значит, есть кто-то, кому хуже, чем выпало им. Оня скоро затосковала среди русских. Какие они некрасивые: лица белые, глаза круглые! Оня вспоминала, как лесные люди вечером садились вокруг очага и молча разговаривали. Русские же умеют разговаривать только словами, они знают очень много слов. Как можно знать столько слов? Трудно разговаривать с русскими.

Оня долго боялась смеха: только звери в злобе скалят зубы, сын Оомы никогда не оскалит зубы на другого сына Оомы. Страх со временем забылся, но улыбаться она так и не научилась. Повариха, бывшая поповская дочь из-под Москвы, с грехом пополам заставляла ее умываться, силком водила в баню. До конца дней своих Оня так и не постигла смысл русского обычая стирать одежду. Нет, жить с русскими ей совсем не нравилось, но и к лесным людям она никогда уже не сможет вернуться. Очень долго опасалась, что серые слуги Ымме все же найдут ее и исполнят

назначенное. Потом поняла, что русские сильнее слуг Ымме, может быть, сильнее самого Ымме. Так и пришлось ей жить среди русских, запоминать их слова, мыться в бане и стирать белье.

Кто мог и хотел, ставили дом и заводили семью. Многие жили в бараках, надеясь на скорый отъезд. Поселок где-то значился как леспромхоз, поэтому время от времени приходило распоряжение вырубить столько-то гектаров леса. Приезжало, неведомо откуда, начальство и выгоняло всех рубить лес. Иногда бревна увозили, но чаще они так и оставались гнить на делянке. Рубили прямо около поселка, поэтому поселение представляло собой несколько десятков поставленных как попало домов, окруженных широкой полосой изуродованной тайги.

Где-то далеко поворачивались колесики государственной машины, и тогда раз в год приезжал «газик» с зарплатой, а вместе с ним грузовая машина с мукой, солью и ситцем. Зарплату выдавали и тут же обменивали на товары. Зачем, в самом деле, ездить дважды?

Оня жила вне времени, не зная, какой идет год, не понимая вообще, что такое год. Между тем год подошел 1941-й. В жизни поселка многое изменилось. Кого-то забрали воевать, другие стали проситься на войну добровольцами, надеясь по дороге в армию сбежать домой: лишь бы вырваться из этих лесов. Жителей стали чаще гонять на вырубку деревьев, но вывозили лес еще реже, чем раньше.

Весной грузовая машина с продуктами не пришла, и голод заставил людей завести огород, выискать в дальних деревнях скотину на развод, охотиться и ловить рыбу. Многие умерли, кто-то сбежал, осмелев от ослабленного надзора.

Выжившие радовались Победе, думая, что всем теперь будет амнистия, но никакой амнистии не было, только прислали в поселок новых поселенцев из лагерей. Те рассказывали, что в лагерях появилось много пленных, поэтому всем русским сократили лагерный срок в честь Победы и выкинули на поселение.

Беда случилась с Оней, когда ей было лет шестнадцать. Только кто знал ее года? Лишь Оома... Валили лес на дальней делянке, ничего ближнего уже не осталось. Бригадир велел Оне к полудню принести мужикам обед, то есть хлеб, вареную картошку и сало. Она отправилась на делянку, а вечером злые и голодные мужики вернулись в поселок: Оня исчезла. Искать ее никто не стал, подумали: может, к своим ушла?

Недели через две пришли машины с военными. Оказалось, что был большой побег пленных из лагеря, поэтому вокруг всякого человеческого жилья пытались найти беглецов. Или отогнать их дальше в тайгу на погибель. Несколько дней в окрестном лесу раздавался лай овчарок. Вот тогда и вернулась в поселок Оня, зареванная, в изодранной одежде.

Повариха выведала, что девушку схватил в лесу какой-то беглый, когда она уселась справить нужду. Он утащил ее к себе в землянку. На дальнейший рассказ слов у Оньки не было, только вой в голос. Так она и провела все девять месяцев, с ужасом глядя на растущий живот. Никогда дети Оомы не видели своего совокупления, роженицы не чувствовали родов. Онька преступила законы Ымме, за это она, как дикий зверь, видела свое совокупление, и Оома не пришла принять ребенка.

Роды у Оньки прошли легко, на свет появилась хорошая беленькая крупная девочка. Онька отказывалась брать ее на руки, не хотела прикладывать к груди, да и молока у нее скоро не стало. Повариха, кляня Оньку на чем свет, таскала новорожденную к молочным бабам, да мало было таких в голодное время. Пришлось кормить ребенка и супом, и картошкой, и хлебом. Повариха крестилась тайком, боясь, что уморит безгрешное существо. Но девчонка уродилась крепкая, все ей было впрок. Ну, живи тогда. Назвали ее Таисьей. Поварихе нравилось: красивое имя.

...На войну Вася по возрасту попал уже в августе сорок четвертого года. В деревне он шоферил, посадили и тут за баранку, стал возить по тылам всякие припасы для армии. За полгода парень успел исколесить Западную Польшу и почти всю Германию.

Ничего не видел Вася в своей жизни, кроме родимой вятской грязи, и сельская Германия просто потрясла парня.

— Ё-моё, как живут!

В любую свободную минуту он ходил и, пугая жителей, смотрел, как устроена жизнь в сельских домах: сады и огороды, кухни и подвалы, колодцы и уборные. Любому попутчику он, простота деревенская, лепил все, что думал:

— Видал? Все богатые. Ни одной избы бедной нету! Бабы, правда, в Германии не такие, как в Польше. Не-е-т, полячки немкок намного красивее. Там, в Польше, такие полячки! Что ты! Но зато у немцев все уж больно умно устроено. Сады какие, а уборные, етить твою... Одного не пойму: чего их к нам-то понесло, в нашу нищету?!

Так у Васи и сложились на всю жизнь убеждения: полячки — самые красивые женщины, а немцы живут богато.

Видимо, начальники сильно опасались таких настроений в армии (насчет немецкой жизни), поэтому Вася за антисоветскую агитацию праздник Победы встретил в уральской зоне. Ладно хоть жив остался. Вышел на поселение по амнистии через три года после Победы, в сорок восьмом году. Еще два года поселения, до пятидесятого. Вот какая у Васи была война. Вот поэтому встретились Вася с Оней.

Онька после родов стала бабеночка хоть куда, вся округлилась и спереди и сзади. А если еще умоется, то и щечки, как яблочки. Вася любого мог убедить, что самые красивые женщины — полячки, а жизнь довелось прожить с грязнопузой узкоглазой Онькой. Но он никогда не замечал противоречия между своим убеждением и действительностью. Так у двухлетней Таечки появился папка. По малости лет она и не помнила, что его когда-то не было. А в деревне, куда они перебрались после ссылки, все сразу сказали, что Тая — вся в папу. Онька, сидя на лавочке перед домом, говаривала соседкам: «Вон моя Вася идет». Поэтому Василия Михайловича, начальника деревенской почты, все до одного за глаза звали Моя Вася.

Обжившись, Вася принялся устраивать дом по-европейски. Выкопал в крытом пристрое колодец, обложил досками, настелил пол. Деревенские ходили поглядеть, но никто собственный колодец копать не стал. Кухню в избе он тоже мечтал иметь на германский образец. Притащил списанные почтовые весы, настрогал разделочные доски и принялся делать из Оньки немецкую хозяйку. Вася объяснял супруге, что бабы в Германии все продукты взвешивают. Поняла? Перед тем как кинуть в чугунок кусок мяса, надо его взвесить. А картошку в чучунку

не с руки резать надо. Картошку-моркошку режут на разделочной доске. Почему-то именно доска поставила точку в воспитательном процессе. Онька завизжала, кинула картошку в Васю, а доску — в печь. И по-прежнему порядка на кухне не было никакого, даже русского.

Развели полный двор деревенской скотинки, крупной и мелкой. Любил Вася с ними возиться, кормить, выхаживать, а вот колоть — никак. После войны не переносил вида крови и дымящихся внутренностей. Курам Онька сама бестрепетно рубила головы топором, колоть свинью звали кого-нибудь из деревенских, и Вася уходил из дома на целый день.

Самым большим делом Васиной жизни стал сад. Соседи в толк не могли взять: зачем в огороде сажать смородину и малину, когда ее полно в лесу?! Вася ездил в областной питомник и притаскивал большие вязанки неведомых саженцев. Одно растение оказалось грецким орехом. Регулярно обмерзая, оно все же упрямо отрастало после весенних холодных утренников и над половиной сада раскидывало свои перистые нездешние листья.

— Пальма! — любуясь, говорил Вася. — Скоро у нас финик вырастет, Тая. Или кокос.

Председатель сельсовета, встречая Васю, заявлял:

— Ты мне тут немецкие порядки не разводи! Мы не буржуи — пальмы растить! Убирай из огорода сады свои неположенные, а то землю отрежу!

Ладно спился вскоре, а то... Все могло быть.

Долго не везло с яблонями, все оказывались дичками, и Вася пересаживал их на улицу. Те из них, которые уцелели от деревенских коз и пьяных трактористов, быстро вымахали

в громадные раскидистые деревья. Они так цвели по весне, что потом всю улицу назвали Садовой.

О реабилитации отца Таисья Васильевна хлопотала с самого начала хрущевских времен, но статья у него была «за антисоветскую агитацию»... Реабилитировали его только перед 40-летием Победы. Вызвали в военкомат, вручили юбилейную медаль. И 9 мая 1985 года, впервые за сорок лет, он пошел на праздничную демонстрацию к сельсовету. Потом они с мужиками выпили за Победу, за красивых полячек, помянули тех, кого нет. Ночью Васю рубанул обширный инфаркт. Потом врач сказал опухшей от слез Таисье, что доброе сердце Васи было все в шрамах, а сосуды забиты бляшками. Было Василию Михайловичу Векшину всего пятьдесят девять лет.

...По мнению деревенских, оставшись без Васи, Оня тронулась умом, хотя никто точно не знал, был ли у нее ум и в чем он заключался. И раньше-то не очень ласковая мать, она стала относиться к дочери едва ли не враждебно. А однажды сквозь бессвязные ее крики и визг Таисья услышала про какого-то лохматого мужика и землянку в лесу. Не сразу дошел до нее смысл сказанного, и никаких подробностей ей добиться не удалось. Высказавшись, Оня замолчала и отвернулась.

...Оня собралась в далекую страну Ымме. Пусть русские глубоко закапывают в холодную землю своих умерших. Она не хочет туда. Пусть покачает ее Оома на больших теплых руках и потом Ымме заберет в свою далекую страну. Там ее встретят лесные люди, такие красивые и умные. Вместе они сядут вокруг очага и молча поговорят. Как долго она не видела этих лиц! Как она тоскует по ним! Пусть Ымме унесет ее.

— Ты, Таисья Васильевна, пригляди за матерью, чё-то с ей неладно, — тут же сообщили соседки. — Вчерася со всеми с нами распрошалася. Мол, уйду. Куда, спрашивам. В лес, говорит, уйду. Кто-то, мол, тамока ее ждет, в лесу-то. Надо приглядывать. А то и запри. Убредет, где тогда найдешь!

Таисья и сама видела, что с матерью творится что-то неладное. Совсем не склонная наводить порядок, Она вдруг прибралась в избе, приготовила узелок в белом головном платке и резиновые сапоги. Но караулить ее целыми днями не было никакой возможности. Скрепя сердце приняв совет соседок, Таисья заперла дом на ночь. Утром пришлось вызывать врачей. Она буянила, кидала посуду, во что бы то ни стало пыталась вырваться из дома. Врач признал у нее острый психоз, и недолгий остаток дней Она прожила на успокоительных и снотворных уколах.

Далекая страна Ымме так и не дождалась своей беглой дочери...

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЗИММЕРА И КЕРЛЯ В ДЕРЕВНЕ КРАСНЫЕ МУДОМОИ

— Ране-то, когда народ-от здесь селился, деревня называлась Верхние Кизели. И вот чё на их нашло, не знаю, верхние по речке начали над нижними изгаляться: мы, мол, станём муди мыть — вам достанёт воду пить! Ну, дак их и назвали — Мудомои!

А может, кто по насёрдке брякнул, да и пристало. При советской власти велели называть деревню Красные Кизели. Стали Красные Мудомои. Колхоз тут «Имени Зиммера и Керля». Почему он так называется, никто из деревенских вам про Зиммеркерля этого ничё не скажет. Мало ли почему... В Меновщиках колхоз был имени Карломаркса, в Турёнках — имени Энгельса, был у Карломаркса такой брат. Может, Зиммеркерль — это другой брат?

Вот и все.

...Году в двадцать первом продотряд из области в составе командира и пяти солдат на одной телеге прибыл в деревню. Советской власти позарез нужен был хлеб: города голодали. Основу отряда и составляли посланцы умирающих городов, рабочие активисты. Они знали, зачем ехали: дома остались семьи, и если не придет в Саратов баржа с хлебом... Пути назад у них не было. Они крепко сжимали в руках винтовки. Эти мужики в Гражданскую воевали за общее счастье, правда? Они победили помещиков и капиталистов, так ведь? А когда вернулись домой, увидели своих голодающих ребятишек. Разве это справедливо?! Винтовка есть — хлеб добудем.

При отряде были двое иностранцев: молодые австрийские коммунисты Генрих Зиммер и Август Керль. Страстно желавшие принять участие в историческом процессе созидания нового общества, они оставили ради этого философский факультет Венского университета. Им достался самый трудный участок борьбы: темное русское крестьянство, как им сказали — STAROVERY. Русский язык ребята знали плоховато, написали на бумажке и всю дорогу разучивали речь с призывом отречься от старого мира.

Неспокойно было на сердце командира. Неспокойно. Тяжело. Он, простой русский парень, рабочий Мотовилихи, неделю назад застрелил мужика деревенского. Нипочем тот хлеб не отдавал. Этот чертов старовер — он же не человек, это столб, врытый в землю на три метра. Его не то что не сдвинешь — не пошевелишь! Ты ему все по полочкам разложил: мол, революция победила, наше все теперя, скоро научимся хлеб на заводах делать, так говорит писатель наш пролетарский Максим Горький. Не будет никакого крестьянства. Не надо будет пахать, не будет доли твоей тяжелой, ты только подмогни сейчас, не дай погинуть трудовой власти. Дай хлеб! А он, мужик деревенский: пошто ето? Вот тебе и все разговоры.

Вопреки опасениям командира, староверческая деревня приняла отряд спокойно, хлеб, как было приказано, отдали весь. Не успели еще смолоть, а то бы не видать никакого хлеба: муку в мешках в пруд поскидывают, хрен найдешь. Ночью кидают, чтобы каждый только про себя и знал. А пруд громадный, на два рукава, весь гусями покрытый. Ведь не голодают же! Забрали хлеб, ничего, есть еще у них и мед. И гуси. И овечки. Вон домины какие, — дивились саратовские работяги. Крепость целая, а не дом. Чисто в деревне, окурки на улице не валяются. Ну, дак раз не курит никто, откуда бы и окуркам быть? Сарай все рубленные, иные дома и железом крыты. Лапотных нет. Ребятишки — босиком, а народец постарше — в сапогах. Куркули. Воды из колодца чужому не дадут, а то, мол, колодец опоганится. Староверы, одно слово.

У мужиков побогаче под хлеб было взято две подводы, их тоже отдали безо всякого возражения. Перед отъездом устроили митинг:

надо было объяснить людям текущий момент, чтобы поняли, ради чего надо терпеть сегодняшние лишения. Идти на митинг народ не хотел, пришлось сгонять силой. Все же темнота и отсталость, дикость еще такая! Тот из австрийцев, что постарше, в круглом пенсне, произнес призыв к отречению. Потом они вдвоем на родном языке взволнованно пропели Интернационал. Разве мог кто-то остаться равнодушным к этой великой музыке, разве не могла тронуть чье-то сердце грандиозная идея всеобщего счастья?! Так, наверно, думали молодые хорошие парни Август и Генрих.

Молча слушала деревенская толпа. Пришли неведомо откуда вооруженные люди и хлеб выгребли до зернышка: сеять будет нечем. Кто они? Грабители. Кроме того, табакуры и сквернословы. Значит, слуги диаволовы. А эти двое, со стеклянным сатанинским глазом, призывающие к отречению и поющие диаволовы псалмы, не иначе как и есть сыновья самого сатаны, главного искусителя рода человеческого. Приговор, как говорится, был подписан.

Нагруженные хлебом подводы тронулись в путь к оханской пристани только под вечер. Вперед них деревенскими уже загодя была выслана засада. Темной августовской ночью охрану перебили, скинули на дно глубокого лога, закидав сучьями и придавив сухостойной елкой. Австрияков же распяли на громадных осиновых крестах, выколов винтовочным шомполом сатанинские глаза и забив каждому в живот по осиновому колу, чтоб не ожила нечистая сила.

Баржа с хлебом ушла в Саратов, не дождавшись возвращения отряда. Край был опасный, случалось, хлеб отбивали на железнодорожных станциях и пристанях, а то и прямо на реке. Поиски поручили местному совету и малочисленной партийной ячейке.

А где будешь искать? Командир толком не знал местности и мог завернуть в любую деревню. В лесах старообрядческого Поречья, как в болоте, бесследно исчез не один этот отряд. Случайно наткнувшись на следы страшной расправы, они бежали в страхе, заранее договариваясь потом молчать. Слух до городского совета дошел только под осень. Выехали на место, нашли у казненных документы.

Срочно решили хоронить тут же, над речкой. Собрали митинг из пяти большевиков тележных мастерских да двух десятков окрестных жителей. Клялись отомстить за павших товарищей. Деревенские слушали. Каки-те кулаки кого-то убили. Что за кулаки?! Сроду у нас таких не бывало. А так, говорят, и стоят кулаки ете поперек крестьянского счастья. Уж давно, говорят, было бы полное крестьянское счастье, если бы не кулаки. Ну дак, видно, те, которые хлеб-от забирают, оне кулаки и есть. А Зиммеркерль не давал крестьян зорить, заступался, вот оне его и убили. Так думали.

Областные товарищи, конечно, охотно бы душу вытрясли из этих чертовых староверов, крестьянского мелкобуржуазного болота, но сил пока было мало. В городской газете появилась статья, на три четверти состоявшая из призывов и лозунгов и содержащая описание героического боя юношей с кулацкими «выродками». Наверно, и новой власти пришлось объясняться с Интернационалом. Потому что очень быстро, лет через пять, вместо фанерного постамента с красной звездой в чистом поле возле реки был установлен прекрасный, бронзового литья памятник, на котором двое юношей погибают так, как было написано в газете. Колхоз в Верхних Кизелях впоследствии назвали именем Зиммера и Керля. Возле памятника деревенских ребятишек при-

нимали в пионеры. Под скрип горна и стук барабана они клялись быть похожими на героических австрийцев и идти дорогой отцов. Никто в этом никакого противоречия не видел. К погибшему Зиммеркерлю относились хорошо и памятник не обижали.

При демократах принимать в пионеры перестали, памятник зарос дикой травой, а вблизи разводили костры сплавлявшиеся по речке туристы. Они уже вообще не знали не только Зиммеркерля, но и Маркса с Энгельсом.

Деревня Мудомой расположилась на широком южном склоне по-над речкой, с севера — высоченная зеленая стена елового леса на пологом гребне Военной горы. Улочки старой части деревни сбегают по склону к речке и утыкаются в проспект под названием «Улица Советская». Пробитые тяжелыми тракторами метровые колеи Советской с весны принимают все талые воды и не высыхают ни в какую жару. Ни прохода, ни проезда. Жители говорят: «железный занавес». Собирались по этому поводу сходы, даже приезжала из города перед выборами депутатская комиссия.

Поняв, что ничего не изменится, люди стали из Мудомоев потихоньку переезжать. Дома новой деревни облепили, как опята — березовый ствол, проходящую рядом асфальтовую магистраль на Пермь. В новой части деревни много приезжих; как у них в паспорте обозначено, так и знают свое местожительство: Верхние Кизели. А старая часть так и осталась: Мудомой. В Кизелях бурлит новая жизнь.

Народ при дороге торговать приспособился, люди куда-то ездят, возят громадные сумки. Настроили навесы с шашлыками для проезжающих дальнобойщиков, рыночек всю неделю кишит, как муравейник. Выросли новые кирпичные здания

администрации, налоговиков, связистов. Место голое, на юру, даже и в тихую погоду все ветерок посвистывает, крутит в воздухе мусор, уносит тепло человеческого жилья. Из птиц — только вороны да галки. Пыльно, шумно, земля бедная, однако же посуху ходим-ездим. Все-таки цивилизация.

Колхоза в Мудомоях уже, считай, и нет: остались одни старики да пьяницы. «Мой контингент», как говорит Миша, Михал Викторович Катаев, участковый милиционер. «Ну, до чё ленивый мужик, — ругается Мишино начальство. — И отчета толкового сроду не напишет. Был бы не ленивый, разве торчал бы в Мудомоях? Кого на его место-то найдешь?» И верно, никого другого, желающего исполнять службу в Мудомоях, найти невозможно.

Миша поселился на Садовой три года назад своим домом. К большой радости соседей. По опустевшей было улице забегали-завизжали Мишкины ребятишки с друзьями-приятелями, потянулись местные жители с безотлагательными делами. То есть со всяческими происшествиями, которые старухи норовили узнать прежде милиции. «Сегодня у нас какой день? Пятница? Сегодня Михал Викторовича в деревне нет. Отгулы. Будет где-нибудь ко вторнику. А может, к среде».

ТУРОВЫ И КАТАЕВЫ

А Мишаня Катаев, милиционер тутошний, вот он, по лесу бродит. Лет ему тридцать, не более. Миша не прост, за плечами высшее сельхозобразование, фермерство было неудачным, и вот уж года четыре он исполняет милицейские обязанности.

Мужик он контактный, свойский такой мужик, любит «жизнь пожить». На работе не день-деньской сидеть, если надо — на охоту-рыбалку уедет на неделю. Деревня — не Чикаго, и без него мужики пару раз подерутся. Транспорт дали, бензин казенный. Объединил свой, родительский и тестя огороды, вложил все свои сельхоззнания, ведь, говорит, «в Голландии столь же земли-то, обходятся». Скотину не держит: под зиму берет лицензию, заваливает лося и кабанчика. Ничего Миша в дальней стороне не искал, жена — соседка и одноклассница. И все слава Богу, дети, как на заказ, двое: мальчик и девочка. И живет Мишаня со вкусом.

С пятницы Миша взял отгулы, ходил присмотреть тропу, задумал лося отстрелять. Лосей и кабанов развелось много, даже слишком. Трудно зверью совместиться с сельхозугодьями. Заряются на дармовое, портят лесные посадки. Вон кабаны молодые сосновые посадки перерыли. В эту пору в лесу народу нет еще, зверь спокойный, вся жизнь его звериная как на ладони. Не только на Дальнем Востоке бывают Дерсу Узала. Миша сам будь здоров какой Узала. Медведи и кабаны, лоси и зайцы — у каждого свои тропки, свой помет, свои лежки-кормежки. Все понятно знающему человеку.

И человеческий след в лесу виден и понятен. Вот на старой заросшей дороге велосипедный след. Кто-то сегодня, в пятницу, проехал туда, из деревни, и обратно, в деревню. Причем туда — до дождя, а обратно — после. Когда у нас дождик прошел? Прикинем. Далеко, однако, ездили. Километров за десять-пятнадцать. Не нравится ему этот следок. Как бы не порубка. Рубит народ лес на дрова, а это не положено. Выписывать надо, а денег у людей нет. Придется потом следок отсмотреть. А тут интересный

сюжет имеется. Нарыт холмик, когтями нарыт. Медвежья схоронка. Но закидано кое-как, видна заячья шкура, уши торчат. Миша дернул за уши. Э-э, да зайца-то не медведь свалил! Это кто-то не в сезон поохотился, зайца освежевал, голову и шкуру бросил. Медведь-то и пришел. Мишаня след осмотрел: все понятно. Следок отчетливее некуда, знакомый следок. Миша, конечно, не охотинспектор, но все же не порядок это. Придется поговорить.

Тропинка вывела на берег речной поймы. Гляделка, далёко видать отсюда. Широкая пойма как в ладонях держит прихотливо выюшуюся речку, заливные луга, там и сям вставшие деревни — староверческое Поречье. На той стороне поймы красуется Мишина деревня. Хорошее место, умели предки селиться, ничего не скажешь. Мощный гребень Военной горы поднялся над деревней с севера. На самом гребне — высоченный еловый лес, это забытое старое кладбище за горой. Там уже никого не хоронят. Давно упали и сгнили кресты, сровнялись с землей могильные холмы. Из земли пришедшие в землю ушли, и вознеслись к небу громадными елями, и стоят безгласно. Все — Туровы. И глядят молча на беспмятных своих потомков, принимая на себя холодные ветры с неласковой стороны.

«Мы шли. У ручья стали. Тутока и будем жить», — вот и все, что смогла доложить Мишане баба Сина о том, кто они и откуда. Ветер забвения свистит-посвистывает над деревней. Уходит на дно памяти деревенская Атлантида.

...Это они, Туровы, основали деревню, когда прибрел в дикие уральские места откуда-то с Вятки православный народец и рассыпался посемейно вдоль речки. Вот тутока и стояла деревня лет, может, двести.

А Катаевы повелись в деревне от вотяка, взятого в дом. Это, пожалуй, еще дед Григория Филипповича выглядел в вотяцкой деревне бойкого парня, умелого овчины квасить (выделывать). Выдал дочь за него и дом молодым поставил. Вотяки народ не крупный, светлоглазый, с жидкими светлыми волосами. С вотяками староверы не роднились, но куда денешься: без овчинного тулупа в наших местах не прожить. Катаевы и овчины квасили, и тулупы шили на всю округу. Уж на что тяжела деревенская работа, а скорняжная — тяжеле.

Мужики из рода в род были у Катаевых мелкие, бойкие, до смешного скупые и сварливые. Вырученные деньги складывали в железный сундучок, заведенный еще Антипой Катаевым. Наемных работников впроголодь держали, а баб колотили. Поэтому катаевских сватов заворачивали у околицы. Видно, Антипа Катаев, разозленный отказом, и брякнул, что он сейчас домой приедет и пойдет кое-что мыть, а вы, мол, напьетесь. А может, слил в речку пониже пруда вонючую жижу, в которой шкуры квасил, и это нижним, конечно, не понравилось. Так что прозвище деревня нажила, конечно, из-за Катаевых.

Привозили они в жены сыновьям, а себе в работницы только вотянок да девок из погорелых семей. Хозяйки они были никудышные. В деревне говорили, если блины не удадутся: блины, как у Агафьи Катаевой. В катаевских тулупах ходило все Поречье, волей-неволей с Катаевыми все имели дело, развозили по деревням быль и небыль. Василей Михальч Катаев первую жену Евдокею уморил. Забил: безответная бабенка попалась. Перед войной привез себе в жены сепычанку. Сепычане тоже староверы, но в наших краях от всех наотличку. Говорили, что они

из вотяков. Как сели одним большим селом, так и живут, никого к себе не пуская, ни попусту, ни по делу. Изредка только девок на сторону замуж отдавали: надо ж их куда-то девать!

Баба-сепычанка всегда невысокая, подбористая, лицо круглое, нос курносый и светлые глаза навывкате. Но, главное, в сепычанке есть характер. Мужик, заговорив с супругой-сепычанкой, никогда не знал, получит ли он ласковый ответ или скалкой по лысине. Василья Михайловича, пожелавшего командовать, женушка без лишних слов огрела ухватом и стала в доме полной хозяйкой. Где-то за год до войны осенним вечером занялся пожаром сенной сарай у Василья. Когда он вернулся в избу, обнаружил, что сундук пустой. Хватились — а сепычанки нет. Интересно, далеко ли ушла-уехала по советской стране глупая баба с полным мешком царских денег самого разного достоинства? Василей совсем тронулся умом, все стал складывать в подпол: и яйца в корчагах, и мед, и даже репу. А к подполу приделал замок.

В неласковый скупой катаевский дом, на тяжелую работу, на голодуху и пришлось идти Сине Туровой. С самого детства говорили ей, Ксеньюшке: «Шибко ты небаская». И верно, по деревенским понятиям, небаская: худая шибко, глаза вон лупастые какие. В деревне не любили большеглазых, от них, мол, порча на человека приходит. Сватов не было, отдали Сину за Николу Катаева, младшего сына Василья Михальча. Вся жизнь Сина низко повязывала белый платок, чтобы закрыть лицо. А когда внук Миша говорил ей: «Ты, баба Сина, красивая!» — она улыбалась и качала головой.

Баба Сина — теплое, ласковое место в Мишиной памяти...

— Не толкую я сказки рассказывать. Книжки читай, тамока сказки. А у меня откудова сказки-те? Только чё помню. Жили тутока в одной деревне пятеро братьёв и ихна сестра. Ну, братовья — мужики богаты, усадьбы у всех хороши, да и саме хоть куда: и ростом удалися, и мастеровиты, толкуют во всем. Кто хозяйство большое держит, кто торговлю развел, кто опеть образа писать наловчился. А сестрица — ни то ни сё. Сама горбатенька, личиком страшненька и по хозяйству — ничё ни к чему. Дом-от и то на болоте поставила. Разе толковой-от человек дом на болоте строит?! И вызла ее черная зависть. Пошто у братовьёв дома богаты, пошто свадьбы по седмице гуляют, пошто гостей полон двор, а ко мне никто не едет?! Точит ее зависть, точит. Пить-исть не может сестрица, думает, как бы ей над богатой родней возвыситься. И нашелся злой разбойник, проторил к ей дорожку. Ты, мол, помоги мне братьёв одолеть, уж я тебя не обижу. Ты к им хаживашь, запоры знашь, отвори задние ворота, а мы свое дело сделам. Братья-те, хоть и не дураки, ворота поло не дяржи-вали, ну дак наверняка только обухом бьют, да и то промашка бывает. Ухватила сестричка минуточку, разбойников-то и провела. Всех братьёв поразорила горбунья. Хоромы белокаменные стали над болотиной. Все богатство туда от родни свезла. Кто чё поперек сделает — разбойник тутока, как был. Ох, уж она при ём над братьями чё хотела, то и творила. Веле-ла себе в землю кланяться, а сама сапожок на голову ставила. И каблучком-то — вот едак, вот едак. Вовсё в говно мужиков растерла. Разбойник уж давно конец себе нашел, а сестрица все так же над братьями изгалялася.

— Братья ее, ка-а-к...

— Как, как! Никак! Так, сказывали, и живут по сю пору. Глянь, уж время-то сколь! У нас с тобой в огородец не роблено, сказки-те сказывать.

ХОХОТУН

— Чё ты придумывашь, Мишка! Нашто тебе страшное-то, вон тёмно как! Спи давай.

— Ну, баба Сина! А страшно будет, так я зажмурюсь и усну! Ну, давай, про чудище какое-нибудь таинственное, ну расскажи!

— Чудищё-то, и верно, заводилося у нас в деревне одино-ва. В акkurat в лето перед войной. На пруду, за плотиной сразу. Ты уж и не знашь, где плотина-то была. Где липа большая, дак вот дале маленько пройти — и была тамока плотина. Место узкое было, бережки крутые. Пруд-от дальше разливался, на два рукава, большой пруд-от был. Биль-билева от гусей было. Все лето гуси паслися, а к холодам домой шли сами. И ведь помнили, откудава весной гусятами ушли, вот кака толковая птица.

— Ты про чудище давай.

— Но-о, я про чудище тебе и толкую. Плотина, мол, была ране-то. На плотине — мельница. Колесо большое, сверху желоб, по нему вода текет, колесо крутит. На том берегу был мельников дом. Ране-то, я кода ишо маленькая была, тамока крестной мой жил, дядя Антип, и тетка Федосья. Хорошей мужик был дядя Антип, да так и помер ни за что. Он сидорятским молод. У наших-то деревенских две ветрянки было на угоре. А он давай плотину

ладить да мельницу ставить. Ветер, мол, переменчив, а вода текет. А у сидорятских болтали, что на той мельнице лешак живет. И дядя Антип ему заклад обещал: мол, кажно лето по двое станут тонуть на той мельнице. И от того обещания лешак ему стал колесо шибко крутить, разбогател Антип. Он торговался с имя, с сидорятскими кажно лето. Оне к ему подступят: давай, мели из десятого зерна. А он: из девятого, и точка. Жернов съмет, под горку укатит, пока не согласятся, мелево не начинат. И оне все ругались: мол, богачество твое на закладе. А тутока возьми да и утони на пруду пьяной сидорятской мужик. Вечером шел по плотине, тёмно, упал, да и все.

А дядя на мельнице в акkurat был... Вдруг, слыш-ко, жернов-от стал вовсё. И вода, ровно как сквозь колесо, текет, а колесо не вертит! Пошел дядя к жернову, глядит — а на жернове черный кот сидит и жернов-от лапой придряживает. Подошел дядя ближе, хотел схватить кота, а тот на другу сторону перескакиват, дядя туда, а кот опять прочь. А потом как скрозь землю провалился котяра, и жернов пошел ровнехонько. Так сказывали, не знаю — правда, не знаю — нет. А дядя Антип домой пришел и помер. Федосья к дочери уехала в Запольё. И так все пустое и стояло.

А потом отселил тятя Григорий Филиппович старшого своего, Михайлой звали. Да сын у его вырос, у Михайлы, Дементей, здоровенный, как ровно уже мужик. Во-о-от. Они плотинку починили, меленку снова запустили.

Во-о-от. А за плотиной бережок-от был пологой, дно ровненькое, ивовы кусты кругом, мы девками туда летом купаться бегали. И вот чё-то завелось в том пруду. Только мы в воду залезем, откудава-то как заухат да захохочет! Гулко так, ровно

в бочку. Мы — визжать, в чем были бегом домой. Маруся сама видела, где хохотун-от сидит. На том берегу под ивой, говорит, всплыло чё-то тако зеленое. Мы пуше того боялися, а все равно купаться лезли. Все вместе соберемся — и идем. Визгу потом — на все деревни! Чё, спишь? Спит. Ну, и ладно, спи, нашто тебе про самоё страшно-то знать! А у меня и сон пропал... Лето-о како начиналося хорошее. Отсеяться хорошо успели, скотину на траву выгнали. И уж у пчел был первый взятки. А потом как все пошло, как пошло... Кто же мне про Зинаиду-то сказал, что убили ее? Не помню.

Как Денис с Зиной приехали — помню. Оне в городе жили, на заводе он робил. Как колхозы начались, тятя Григорий Филиппович ему сказал приехать. До нас это дело уж году в тридцатом дошло, колхозы-те. Стал у нас Денис Григорьевич первый председатель колхоза. Боле нету таких мужиков-то. Нету, нету. Ни одного в деревне не обидел. Как жнитво пройдет, хлеб соберем, он его поделит и по дворам раздаст. Зерно — на мельницу, днем и ночью робили мельники, лишь бы смолоть. Потом мучку-то в мешки, да в пруд. Так схороняли. Хорошо мы и при колхозах жили. Нечё у нас было отобрать-то. Тутока главна-то скотинка мелкая: овца, да гусь, да пчелка. Их, Сталин сказал, не отбирать в колхоз. А коров у нас и так было по одной на двор, их тутока помногу пасти негде. Лошадей собрали, правда, да и то для виду. Староверческа была деревня-то, богатая, ленивых да нищих не бывало. Робили много, жили как-то по совести. Хоть перед Богом сказала бы: в деревне никто на Дениса зла не держал. Зинуту в огороде убили среди бела дня. Ее же тяпкой ей голову раскроили. Сроду у нас такого не бывало. Ну иной раз поругаются

мужики из-за покоса али чего еще, дак, в крайнем случае, по стогу сена спалят друг у друга. А такой грех на душу взять...

После похорон приезжал из района военный. Сказывали, велел Денису указать, на кого он думает. Того, мол, и заберем. Денис Григорьич никого не указал. С неделю прошло — увезли ночью брата нашего мельника Дементя Григорьича, всю семью туровскую увезли, с маленькими дитями. Мол, Дементей и убил Зинаиду. Так военный сказал на собрании. Заклеймим, мол, убийцев, кулаков, ненавистников! А Дементей-то с Михайлой весь тот день плотину подсыпали у своего берега, где хохотун-от завелся. Михайло на лошаде глину возил, а Дементей плотину ровнял. Цельной день и пласталися. Да Дементей каждо лето плотинуту подбивал, чтобы весной не размыло. Все видели. И никто рот не раскрыл, не сказал ничё. Ой, ране-то шибко боялися чё сказать. Скажи, дак за имя уйдешь. Тятя Григорей Филиппович тогда болел шибко, мало не помер, всё из-под святых встал.

А через неделю — война. Дениса Григорьича забрали, других мужиков да парней. Человек по пять от каждой семьи ушло. Мой-от дурак председатель колхоза стал, из района назначили. Перво дело велел мельнично колесо разрубить и выворотить. Весной плотину стало размывать. Года за два не стало пруда. Ране на ту сторону по плотине ездили, а теперя низинка такая стала, посуху не пройдешь, вечно тамока мокро.

Сну ничё нету. Расскажи да расскажи, а теперя вот спать не могу. Ну, хоть помянула их, Туровых. Помяни их, Господи, а меня, рабу твою Ксенью Турову, прости и наставь...

...А хохотун-от ведь замолчал, как Дементя нашего забрали. И купалися иной раз, и половики мыли — никто его боле не слышал.

ЖАРКОЕ БЫЛО ЛЕТО...

Из Туровых в деревне уцелела только Сина. Никола Катаев, «мой-от дурак», председательствовал в Кизелевском колхозе. Начинал ретиво: дорвался до власти над односельчанами в восемнадцать лет и всякое указание районных хозяев исполнял в точности. Успел разворотить мельницу, порушив основу крестьянской жизни. Пруд в две весны ушел, молоть хлеб стало не на чем, негде и муку сокрыть. Гуси перевелись. Пчелы перемерли, поскольку животинка эта запаха бабского не переносит.

Власть, свалившаяся на голову, пьянила парня. На колхозной конюшне выбрал себе хорошего жеребчика. Прокопий Блинов на нем недавно красовался. Где теперя Блинов из деревни Беляевка? Там, куда Макар и телят не гонял. Повезло, что одного забрали, семья хоть и живет в бывшей своей баньке, но все же живые остались. И за то скажи спасибо родной власти. Дом его разобрали: будем строить сельсовет и клуб. Новая теперя власть. Он, Никола, и есть новая власть. Пусть люди это видят. Да и по полям колхозным надо ездить, не дело председателю пеше ходить. За голенищем первых в его жизни сапог красовалась казацкая нагайка. Выбивал в райкоме и оружие посерьезнее: мол, злобятся многие за свое добро. Много лет спустя только одного он будет просить у Бога: забвения... Но забвения не было, и картина ранней весны 1946 года вставала и вставала перед его глазами.

...Повезло Прокопию Блинову: попался в лагерных начальниках хороший мужик. Не только отпустил его через год, но и паспорт дал со строгим наказом немедля из своей деревни уйти и затеряться в большом городе. В родной починок Проко-

пий пришел, как ровно вор: ночью. Не знал, где и семью найти. Хотел было переночевать в своей бане на берегу пруда, глянь, а там-то они, родимые, все и уютятся. Запрягли Прокопий с Ириной корову в тележку, посадили сонных ребятишек и тронулись в дорогу. Эх, рано весной светает! И черт же дернул Николу в то утро в район ехать. Как увидел беглецов, злоба ударила в голову. Истоптал бы их конем, да не идет жеребчик на бывших хозяев, храпит, пятится.

— Бежать вздумали?! — Выхватил нагайку, полоснул Ирину по согнутой спине, лупцевал Прокопия, пока тот трясушимися руками доставал что-то из котомки.

— На, видишь, документ имею! Не колхозник я боле! Всё!

А Никола, потерявший голову от бессильной злобы, все кружил и кружил вокруг них, свистела нагайка, храпел жеребец, во весь голос ревела ребятня.

...И крик, и рев, и этот свист останутся в памяти его навсегда. Спасительного забвения не будет.

На фронт Николая взяли поздней осенью 1943-го, а домой он пришел уже другим человеком. Пока собирали мужиков по деревням уральским да сибирским, куда ехали в теплушках, было время словом перекинуться, узнать, как жизнь идет в разных местах. Костерили мужики новую власть, говорили о разгромленных хозяйствах, о голоде. Везде с мельниками-то расправлялись, — дошло до Николы. Не Дементей, видать, Зинаиду-то... А кто? Да оне же и убили, те, кто потом увез Дементя. А зачем? Страх чтобы был, чтобы не заступилась за их деревня.

— Имя только надо, чтобы власть у их была, — говорил он потом повзрослевшему сыну.

«Они, им, их», — так безлико, но точно говорили в деревне о советской власти. Неизвестно откуда взявшиеся «оне» объявили все в каждой деревне своей собственностью, и довоенная деревня лютой ненавистью ненавидела новый режим. На фронт ехали силой согнанные рабы, не имевшие ни малейшего желания воевать. Случалось, сбегали, убив лейтенанта еще в эшелоне. На фронте тоже при малейшей возможности бежали, многие сдавались в плен. Разве так защищал бы крестьянин свою богатую, сытую деревню?! Вот когда увидели, какой немец зверь, тогда и воевать начал народ. Себя спасать.

Заградотрядами, пулеметами их гнали в наступление. Под танки, на минные поля, на Сапун-гору, в днепровскую темную воду, через Одер, на Берлин. Не жалея. Устилая путь Денисами, да Михайлами, да Николами. Отборный человеческий материал. Сильные, здоровые, честные мужики из Кизелей погибли все.

— Пошто ето хорошие мужики полегли, а мой-от дурак вернулся, — удивлялась Сина. За всю жизнь она ни разу добрым словом не отзывалась о муже. Может быть, говорила обида за то, что взяли ее, небаскую, одного тятиного приданого ради. Она и не подозревала, какими горячими виноватыми слезами обливалась порой Николина душа. С женой Никола был молчалив, только подростку сыну поверял свои мысли. Гулял от жены много, но семью и все старые порядки сохранял. Повидав людей, увидел ли он когда-нибудь в своей жене красивую женщину? В нараставшей годами корке воспоминаний, обиды, вины, привычных взглядов так и жил каждый из них.

Даже детей поделили: старший, Виктор, был больше с отцом, а младший, Шурка, был мамин сын. Виктор был парень серьез-

ный и подсаженный маленько папаней, пошел и пошел двигаться в районной администрации, замглавы теперь. А вот Шурка, Шурка-то чего накуролесил по жизни... Тяжко болело сердце по непутевому сыну, тысячу раз пересчитывалась собственная вина...

Да успокоится душа твоя, Ксения Григорьевна. Доподлинно мне известно, что на окраине областного города, на кухоньке в сером панельном доме был такой разговор:

— Ну, моя фамилия. Да, я это. А вы из жэка, что ли? Да мы заплотим. Я завтра пойду и...

— Не из жэка, нет... Я... К вам я... Дайте, я зайду. Сумка тяжелая, да по лестнице подымалась.

— Проходи на кухню, раз уж зашла. Како дело-то ко мне?

— Сяду я, руки-ноги чё-то трясутся. Папа, я... это... я к вам приехала, папа... Нина я, дочь ваша. Вот карточка мамина, вот, узнаете? Маруся ее звали. Маруся, из Турёнков... А это ваша карточка, как вы молодой были. Я даже и похожая на вас, на молодого-то. Чё-то слезы текут. Я так и думала: мол, увижу папу, дак вся обревуся. Больно уж мне вас повидать-то хотелось...

— Ты чё... Кака Маруся? Чё тебе надо, женщина? Как звать-то тебя, говоришь?

— Нина я...

— Турёнковская? Етить твою, каки дела... А я думал, может, из жэка...

— Я, папа, тут привезла, вот... Угостися давай. Посидим да поговорим. С стола счас все уберу да выгтру. Огурчики соленные, помидоры, сало свое, яички, картошка вареная. Селечочку взяла. И закусить, и выпить у нас будет. Посидим, как люди. Погляжу на папу...

— Да чё на меня глядеть... Ничё хорошего.

— Я, папа, одёжу вам привезла. Поди, думаю, некому за им присмотреть-то, в старом, поди, ходит. Счас достану, руки чё-то трясутся. По росту ли, боюся. Мне мамка ваш рост показала, когда я маленькая еще была. Спрашивала я ее: какой, мол, папка-то у меня был? Она мне по косяку дверному показала. Я карандашом отметила. Потом лялочкой смерила, с собой увезла лялочку. Вот куртка, костюм спортивный взяла, он мягче, спортивный-то. Зачем, думаю, ему пинжак-то, верно? Двойной костюм-от, к телу трикотаж хлопковый, приятно телу будет. А внутри тамока еще белье завернутое, майка и прочее. Выдь покуда, надень. А я на стол соберу.

— Ну, пойду, заодно руки вымою, я работал тутока, руки-те грязные.

— Ну, вот штаны-то в аккурат будут! Штаны, главно, в аккурат, а остатне и вовсе в самой раз. Как ровно на тебя и было, папа! Бирки я уже отрезала, чтобы не мешались. Так уж ты и не снимай. Вот, садися, полной стол у нас с тобой. Налей, помянем всех...

— Да я чё-то как не в себе. Ты ничё не путашь? Мать-то твоя живая еще? Как ее звали-то, говоришь?

— Маруся... Год, как нету мамоньки. Так и жила все в Турёнках. У ей квартирка, правда, хорошая была от колхоза. Полдомика деревянного. Из бруса. Я уж в школу ходила, когда дали. А так мы с ей при ферме жили. Рядом с кормозапаркой. Как ее из дому-то выгнали. Опозорила, мол, отца-мать, нагуляла, живи, как хошь. Выгнали, вот так вот, в чем была, в том и ушла. На ферме закуток нашелся, там и жили, там и я родилась, с телятами вместе. Староверческая, вишь, у нас деревня-то. У их, у староверов, с етем строго. Не дал ей Бог счастья, чё говорить! Ксенья Григо-

рьевне она не поглянулася. Сказывали мне потом, что не давала она вам жениться-то. Из-за ее, мол, все...

— Самому думать надо было. Молодой был, глупой. Осенью было в армию: чё, мол, зачем жениться? Комиссию призывную я прошел, обещали на флот взять. Хотелось на флот, на Дальний Восток. Да вот не было мне никакой армии. Загуляли с парнями, как повестка пришла, а глаза протер — за решеткой. В зоне подрался — срок намотали; вышел — опять подрался. И туда же. Уж и забыл, сколь раз туда ходил. Считаю, всю жизнь на лесоповале проробил. Ничё хорошего, ничё. Тебя, говоришь, Нина зовут. Вот, Нина, ничё хорошего.

— Да ты закусывай, папа, вот сало попробуй. Хорошая свинка была, жоркая. И сало мягкое такое получилось, как масло сало-то. Ты ведь и не бывал боле в деревне?

— Нет, мать писала, да редко.

— Мамонька моя все на ферме робила, она тихая была, слова никому поперек не скажет. Жалко мне ее... Замуж так и не ходила. Последние годы шибко молитвенная стала, в церкви стала помогать.

— Про меня поминала?

— Нет, не поминала, врать не буду. И у Ксеньи Григорьевны, что есь, не спрашивливали, где, мол, Шурка-то. Фотографию я одну только у ее нашла, в сундуке на дне. Молодой вы там еше. Красивый.

— Все тамока, на лесоповале, осталось: и года, и зубы, и волосы. Нечего тебе было и приезжать. Я тебя не знаю, не растил. И ты меня не знашь.

— Ой, папа, чё это я! Вот карточки погляди-ко. Вот мои: муж со старшим сыном и с внученькой. Ты-то уж, папа, и дед,

и прадед, смотри, каки ребята! А младший у нас, Шурка, в аккурат в Москве служит, папа! В кремлевской охране. Вот погляди. Парень видный такой, взяли в Москву. Глянь, на тебя похожий.

— Постой, погоди маленько. Голову у меня обносит иной раз. Попал под еловой хлыст я одиново. Пила сыграла на сучке, и елка здоровенная пошла на нас падать. А куда убежишь — снегу по пояс. Звездануло крепко. Ладно калекой не стал, жалко, что насмерть не пришибло. От того хлыста двоих похоронили, а трое переломанные остались.

— Муж у меня, папа, хороший. Дом построили двухэтажный в Верещагине, на железнодорожной стороне. Помощник машиниста у меня муж-то. С семнадцати я за им. Это мамонька мне хорошу жизнь намолила, так я думаю. А все ж вас, папа, увидеть хотелось. Ой, как хотелось! Я через тетю Нюру не одиново адрес ваш у Ксеньи Григорьевны просила. Ни за что не дала. Тетя Нюра говорит: обидно, мол, ей, Ксенье-то, было, что я, выблядок, счастливая.

— Может, и так. Мне про тебя мать ни слова не говаривала. Знала, говоришь?

— Знала...

— Дай на Марусину карточку погляжу... Плохо я ее помню. Мы и погуляли с ней одно лето. Я тогда на колхозной конюшне робил. Хорошие две лошадки у меня на конюшне стояли. Жеребец громадный серый в яблоках, производитель на весь район. И кобылка вороная, я на ей председателя возил. Молодой был, глупый, погулять да покрасоваться хотелось. На лошадях ее катал, Марусю-то. Рубаху белую надену, жеребца — под седло,

Марусю — перед собой... А то кобылу в тарантайку запрягу. Как пташечка, слушай, летала лошадка. Лето жаркое было, ягодное. Земляника сладкая была... Да... Сладкая, вся рубаха, помню, в землянике в етой... Накатали вот...

— А вы с кем живете теперя? Говорят, жена умерла. С неродным сыном, мол, живет, не ладит. Чё, и верно?

— Слышь, орут под окошком? Каждной день так. Сколь денег ни получу, все имя отдай. Я туто по соседям столярничаю. Пока срока мотал, всему научился. Тамока все ждешь, когда выдешь. Когда, когда... Когда черт помрет, а он ишо и не хврывал. Пенсии нет, считай, надо так кормиться. Да я бы и прокормился, а их разе прокормишь, имя каждой день пить надо. Видно, под старость это мне наказание такое за жизнь мою.

— Тяжелая у вас жизнь была, папа.

— Глупая. Всю жизнь на лесоповале проробил за пайку хлеба, под пинками, под гавканье собачье — как же не глупая.

— Поедем ко мне, папа! Хоть в гости, хоть совсем. Муж согласный. Он сам родителей не видывал, из детдома вознесенского. Тоже ему шибко охота, чтобы ... ну, чтобы папа был.

— Может, тебе квартиру эту надо? Дак она на сыне, жена так отписала, женина квартира была. Ницё у меня нет. Не было жизни хорошей, и начинать не надо.

— Я, папа, билеты-то купила уже. Вдруг, мол, опаздывать будем. Сколь время-то? А время-то уже вышло, папа. Счас на автобус да на электричку. Тебе и собираться не надо, одетый уже. Пошли?

Чем закончился этот разговор, мне неизвестно. И автор всего не знает.

РЕБЕНОК И БАННЫЕ КОВШИКИ

«У нас самоглавные-то мудромой вон там, — подвыпив, тыкал пальцем Никола куда-то вверх, — оне моют, а мы пьем». И сосед его, Моя Вася, кивал головой: «Ихна воля — наша доля».

Намыли после войны много. На обезглавленную деревню шла одна компания за другой. Объявили войну браге: мол, из нее гонят самогон. Староверы никакого самогона не знали, но веселые городские комсомольцы с милицией обшаривали в колхозных избах подвалы, вытаскивали фляги с брагой и выливали прямо на улицу. Бабку при всех честили самогонщицей и отравительницей. Позже, уже при Викторе Николаевиче, мелиораторы приходили.

— Дорогая цена за твой дом заплочена, Мишка, — говорил старший Катаев.

Пустил он мелиораторов похозяйничать на заливных лугах напротив Кизелей. Мелиораторы спустили две большие проточные старицы, полные рыбы. Русло речки спрямили, чтобы не было разливов. Посреди луга взрыли канаву и проложили трубы. Метров через сто установили гидранты. Луг теперь поливной будет, а насосную станцию мы в будущем году поставим. Никакой насосной станции никто не поставил, луг обсох, и только вороны облюбовали столбики вечно сухих гидрантов, восседая на них, как на кладбищенских крестах.

Зато в рамках программы преобразования села закупили в Финляндии штук двадцать комплектов бревенчатых домов,

немедленно отданных начальству на дачи. Один из комплектов и ухватил Катаев. С виду дом был как будто обычный, бревенчатый, под тесовой крышей. Собрали его с сыном Мишаней за неделю, периодически отдыхая. Они уставали — морально. Комплект был из лиственничного, кедрового и соснового массива. И точная целесообразность деталей, безупречно соединявшихся паз в паз, угол в угол, им, понимавшим толк в плотницкой работе, надрывала душу. Вот так можно жить, оказывается, так можно делать-то, а мы...

— Мудромой поганые, — матерился старший Катаев, но исправно вез начальству мед, окорока и парную телятину. За район отчитывался мастерски. Мол, в новое, демократическое время мы урожайность картофеля подняли со 100—120 центнеров с гектара до 200. Приехали, проверили: и верно — 200, а то и 220. В старые сводки глянули — было 100. Вот это да! Какой мощный аргумент в пользу успешного преобразования села, не правда ли?

Но без напастей нам никак нельзя. Кто бы в главные мудромой ни выбился, деревня свою порцию получит. Новая власть пришла и своих калачей принесла. Рванувшегося было в фермеры Мишаню отец осадил:

— У нас теперя, Мишаня, хуже, чем при крепостном праве: один процент земель — крестьянские, девяносто процентов — господские. Объясняю. Будешь фермер — плати налог, как любой торговец или шашлычник. Подсчитай — это полностью в наших условиях убыточно. То есть это — фактически запрет. Кака разница, как написано: налог или запрет? Свободно ты работать не будешь. Только бери дотацию или льготный кредит. Кто хозяин дотаций и льгот — тот и есть твой господин. Он поймеет

и с налога, и с дотаций. Он хорошо будет жить, а ты будешь на его робить за гроши. Ты хоть надвое разорвись, скажет: а что не начтвёро? Не-е, Миша, про фермерство забудь. Огород в двенадцать соток — вот все, что у тебя есть. Наш с матерью еще пригороди, тестя. Это все твое пространство. В Голландии столь же земли-то, ничё, живут!

Вот Миша в милиционеры и подался.

— У Гальки Бараношиной цыганы ребенка стащили! — общает ему мать. — Сёдня у нас какой день? Вторник? Во, значит, вчера, в понедельник. Оне с Серегой у свекровки Галькиной в огороде картошку окучивали, Олежка в избе спал. Хватились — нету!

Воистину милиционер всегда на службе. Спокойно и в родительском доме поужинать не дадут.

— У какой свекровки? У Таисьи Васильевны?

— Да ты чё, оне с Таисьей вовсе разругались, Галька-то и ребенка ей боле не кажет. Вот и помогай имя! Сколь у Таи на шее сидела, неработь! А даве, слыш-ко, Галька эта всяко-всяко Таисью же и выставила, вот глаза бесстыжие! Мол, Олежка не от Женьки! Она уж давно с Серегой Тупицыным сошлася, вот и парочка — баран да ярочка. Допились, не знают, куда ребенка дели! А может, и сами цыганам продали, зачем он имя?

— Чё, Миша, в деревне делается, какая пошла безобразия! Даве по всей нашей заречной стороне ковшки банные украли. А ноне зауголок от сруба у меня унесли. Как баню теперя подрубить?! Запиши, давай, Владычных Зинаида Ивановна...

Обычный рабочий день деревенского милиционера Михаила Викторовича Катаева. Михал Викторыч хоть и в годах еще со-

всем молодых, но серьезен и обстоятелен. Беседу с населением ведет уважительно и спокойно.

— Я, тетя Зина, про всех наших деревенских жителей заранее могу сказать, у кого что произойдет, а у кого — никогда. Могли у сына твоего, Николы Владычных, зауголки унести? Могли! Сруб у твоего Николы уже неделю разложен на улице. Зауголок короткий, под мышку возьми и унеси. И я могу предполагать, кто унес. Ты, Зинаида Степановна, дрова у кого купила?

— А тебе чё? Я — про зауголки.

— А я про дрова. Соседу твоему, непутевому многодетному отцу, их выписали и бесплатно привезли. Детям привезли. Он их туг же по соседям продал. И ты же их купила.

— Не я одна покупала. А чё?

— А то, что он их тепер у вас же и ворует. Баню-то ему, к примеру, хоть раз в месяц истопить надо? Оставь заявление, разберусь.

Женщина, ворча, уходит. К милиционеру разом два посетителя.

— Так, пишем, что случилось, и побыстрее. У меня дела на участке.

Читает заявления: «Так, у гражданки Тамары Ивановны украли белую годовалую телушку, увели из стада. Когда? Позавчера. У фермера из дер. Карповка... Тоже из стада украли годовалую белую телушку! Вчера. Маньяк какой-то завелся на белых годовалых телушек! Будем разбираться. Все, некогда мне сегодня, пошел на участок».

Ребенок не банный ковшик, надо пойти выяснить, то ли слухи, то ли и впрямь начался в деревне... этот... кидхаппинг.

С одного конца деревни до другого и так-то путь не близкий. Да еще и до Миши у каждого есть дело.

Пошел глянуть на пострадавших. Выяснить, было ли чего, откуда разговор пошел.

— К Гальке идешь? Нету, нету их, бутылки в Кизели пошли сдавать. Сядь, посиди с нами, подожди, скоро придут: у их денег-то нету, много по магазинам не находишь. За спиртом в чепок заскочат — и домой. Ты, Михал Викторыч, когда ете шинки закроешь?! Внаглуую спаивают народ, и все. Последнее ведь туда из дому, от детей несут, и всем хоть бы хны!

Соседки на лавочке — следственный комитет, прокуратура и суд присяжных в одном месте. Не пожалей полчаса — узнаешь все, что к делу относится прямо или косвенно или вовсе не относится. Но о якобы пропавшем Олежке толком сказать никто ничего не мог.

— У их с пятницы пьянка, вчетвером пьют без передышки: Витька с Генкой да Галька с Серегой. Вот на какие шиши эта неработь пьянствует?! Ребенок то у Гальки, то у свекровки, и вот не стало ни тутюка, ни тамюка. Галька говорит, что украли Олежку от свекровки, дак кто его знат!

Вот и вся информация, непосредственно относящаяся к делу. Моральный облик пострадавших, к делу относящийся косвенно, обрисовали подробнее, а больше всего было разговору, совсем к делу не относящегося: сочувствовали Таисье.

— Очень переживают! Олежку этого она с рук не спускала, нянчилась, любила шибко... Галька-то сама у Таисьи Васильевны отъелася-отлежалася, прости господи! Ушла и Олежку забрала.

— Дождешься от ее спасибо! Оня, мать-то ее, хоть не дожидила до этого. Жалела она Таисью.

— Ага, жалела... Жалела, что аборт не сделала!

— Ты чё? Куды бы оне с Васей без Таи? Тая, смотри, какая хорошая женщина. И ухаживала за имя, и схоронила — все она.

— Мне самой Оня не одинова говаривала: жалко, мол, не было, где аборт сделать, глядеть мне на ее, на Таисью-то, неохота. Ты вспомни-ко, Оня какая была: узкоглазая, не то ханта, не то манся, не то ишо кто. В войну, говорит, токо к русским прибилася. Беглый немец какой-то ее высмотрел, уташил к себе в землянку и неделю ли боле тамюка держал. Вот Таечка в аккурат оттудова, из землянки. Нисколь не вру, это мне сама Оня сказывала. Ох, говорит, и ревела, а по пузу-то нагулянному иной раз и поленом колотила...

— Господи, твоя воля!

— И хоть бы тебе чё, Таисья, смотри-ко, хорошая, здоровая. А лицом-то вся на его, на беглого. Оня и кормить ее не хотела, а маленькую-то что есть и на руки никогда не возьмет. Ну, выросла вот все же...

— Тая и верно, наособицу, как не тутюшня. Сама высокая, глаза таки светлые, большие. Онька-то, царство ей небесное, засранка засранкой была, а Тая всегда чистенькая, одевается по-городскому, и дома у ей, сколь я бывала, все удивлялася, как можно так уладить. И училася хорошо, теперя учительница.

— Жись только несчастливая. С Витькой своим Тае не пожилось, развелася: пьет, да и не пара он ей. Она вон какая, а он чё? Шофер, да и все.

— Не надо было ей все же эту Гальку принимать: беженка, неведомо кто. Все ради сына Женьки, охота, чтобы семья у его была. Ты чё, Миша, пошел уже?

— Некогда мне их больше ждать, тетя Нина, пусть в участок придут да побыстрей! А то я их оформлю как соучастников!

В отделении его уже ждали. Убитые горем родственники пропавшего ребенка добрались наконец до милиции. В ходе взаимных обвинений свекровки и Гальки получилась версия, которую и оформили письменно. Де, в понедельник вся семья дружно робила в огороде, окучивали картошку. Ребенка оставили одного на минутку, буквально на минутку, поспать в прохладе. Хватъ — а его уже нет. Избегали всю деревню — как сквозь землю! Это, наверно, цыганы сперли, у их ребятни не сосчитать, вместе со своими увезли в Пермь, там продать нищенкам.

— Пусть пермская милиция нам найдет дорогого сыночка, — пошвыркала носом Галька, — фотографии вот только Олешкиной нету, еще не успели сфотографировать, вы уж у Таисьи Васильевны возьмите.

Надышали в комнате участкового перегаром, написали заявление о пропаже, пошли это дело отметить. Таин дом обошли за три версты: боялись, что та Гальку пришибет. Таким образом, согласно документам, ребенок потерялся в понедельник в деревне Пермской области.

Миша положил заявление в папочку, а папочку, как положено, в сейф. Глухо. В деревне ребенка нет, а если его и впрямь цыганки украли, то шансов найти очень мало. Однако надо отправлять заявку на розыск, за фотографией идти к Таисье Васильевне. Еще собутыльников опросить: свидетели, уж какие есть.

Все же подозрительно, на какие шиши эта команда пьянствовала четыре дня?! Может, и впрямь спьяну-то продали ребенка? Тряхнул собутыльников.

— Начальник, пили заработанное! Мы с Геной, скажи, Генакл, в пятницу с утра у Таисьи Васильевны дрова кололи. Она подтвердит. До обеда кололи, а потом она нас отпустила и вперед рассчиталась. Деньги дала и водку. Мы, конечно, не все еще сделали, но мы с Генаклом все дрова у ей исколем. Скажи, Генакл.

— Ладно, зайду к Таисье Васильевне, проверю, за что она вам столько заплатила.

— Проверяй, у нас с Генкой, ну скажи, Генакл, слово крепче железа, начальник.

— Что можете сказать по существу дела: где был ребенок и когда вы его видели в последний раз.

— Мы с Генкой, ну скажи, Генакл, про ребенка ихнего не знаем ни-че-го. На кой ляд нам этот ребенок?! Мы на кухне сидели, а потом... спали где-то потом.

— А Галина с вами была?

— Была. Когда была, когда не была. Пришла — ушла. Не привязанная, поди.

— А ребенок?

— Ну ты чего, Михал Викторыч! За стол с нами он сядет, что ли? Мы с Генкой, ну скажи, Генакл, не знаем мы про ребенка, не знаем.

Пытать дальше бесполезно. Да и обедать пора. К Таисье вечером придется идти, когда она из школы придет, с делами управится, тогда и поговорим спокойно. Учила когда-то его Таисья Васильевна. Молодая еще была совсем.

СВЕТКА, ДОЧЬ РАЙКИ

Сейчас появится новое действующее лицо. Да вот оно, точнее, она появилась и с криком: «Миша, Мишечка!» — кинулась к милиционеру. Остолбеневший Мишаня, проморгавшись, провёл опознание.

— Светка? Ну точно, Светка!

Опустим обычные в таких случаях восклицания, узнавание и неузнавание. А вот кой-какие пояснения требуются. Далее невозможно скрывать тот факт, что у бабы Поли, помимо трех правильных девок, была одна неправильная — Райка. Она в последнее время крайне редко показывалась у матери, а мать и сестры вовсе не хаживали к ней. Райка, по словам Поли, была пьянь и последняя бестолочь. И замужем была за такой же пьянью, за Сашкой-туберкулезником, царство ему небесное. И девка у них, Светка, неработь, только чудом по тюрьмам не пошла, а уехала за границу: тамока, видать, таких-то мало. Сперва еще сколь-то робила, официанткой вместе со своим Сашкой. (Райка, когда приходила деньги к матери занимать, показывала письма.) Потом Поля ей приходится совсем отказать: мол, не позорь. И о Светке сколь и знала, только стороной, от соседок. Каки-то вовсе сказки Райка рассказывала, врала, поди. Мол, Светка с Сашкой разошлась, вышла она замуж за француза и уехала во Францию. И ее теперешний муж мечтает приехать в далекую Россию, чтобы поцеловать руку у матери своей любимой жены. Во как! У этой пьяни, котора за была, когда мылася! А Светка-то, конечно, не робит, стала художница, картинки рисует и продает. Сочинила Райка, чтобы

денег занять на опохмел, — такова была версия родни. А может, и Светка назагибала, тоже та еще... Поди, давалкой тамока робит, худо-о-жница!

Милиционер Миша волей-неволей в курсе всех этих дел, поскольку Райка была одной из его подопечных, как он говорил: мой контингент. Квартира ее в одноэтажном деревянном сохозном доме была открыта для любой пьяной компании — так Райка выпивала и кормилась. Что ни день, шум-гам и пьяные драки. Уже было тридцать три распоследних предупреждения. Толку — ноль. От мужа Райка подцепила туберкулез (нарочно, считал Миша), была на инвалидности. Второе действующее лицо и есть Светка, Райкина дочь. И не случайно она Мишу встретила, а имеет к нему дело.

— Пойдем, Миша, посидим в машине, поговорить надо.

— Это твоя? Сама за рулем-то, что ль? По всей Европе? Мужик-от где?

Миша разглядывал Светку. Интересно все же, далеко ли от яблони упало это яблочко. На давалку вроде не похожа, хотя Миша не видал французских давалок, да и нашими не интересовался. Но то, что не пьет, — точно: уж тут у милиционера глаз наметан. Вроде бы мало изменилась Светка со школьных лет, а уже не наша. Даже не то что не деревенская, а и вообще не русская. Говорит не так и улыбается по-ихнему. Но улыбка выходит грустная, а глаза, похоже, на мокром месте.

— Дела у мужа. Одна гошу вот тут.

— У бабки-то была?

— Не хочу. Тетки понаехали.

— Не любишь родню?

— С чего бы мне их любить? Опять начнут жизни учить. Маму будут ругать, а я этого не люблю. Мне и так тут работы хватило.

— С матерью?

— Ну да. Квартиру наняла почистить. Маму в баню сводила, в парикмахерскую. Белье купили, платье, плащ.

— Пропьет.

— Наверно. Миша, я тебя прошу, ты уж как-нибудь тут ее... Ну, присмотри. Чтобы хоть пьяная где-нибудь под забором не валялась. Я тебе денег оставляю.

— Про деньги не надо, ты лучше со времём моему Тимохе приглашение пришлешь, пусть тоже Францию поглядит. А маманю твою я присмотрю, не волнуйся. Мне так и так приходится.

— Я очень там по ней скучаю. Она такая ласковая, тихая, не то что тетки. Те только знают аргаться. Хлебом не корми, дай покомандовать! И отец был ласковый. Мы очень хорошо жили. Да, хорошо! Мама не любила огород, не садила картошку. Был цветник, она даже из Москвы семена выписывала. Родня, как увидит, что картошки нету, просто в обмороке. У меня не было валенок, только резиновые сапоги. Но школа-то через дорогу, магазин рядом. Куда еще ходить? Зато у меня был аквариум с золотыми рыбками. Аквариум! За него тетки маму поедом ели: «Вам, мол, что, в речке рыбы мало?!» А еще мама привезла мне из города краски. Масляные! Я их целыми днями по дощечке пальцем размазывала. Сижу, мазюкаю, и больше мне ничего не надо. Я цвет люблю, как иной — шоколад. Разных оттенков вижу, наверно, миллион. И родители ко мне не приставали:

мазюкаешь — мазюкай. Папа очень уставал на работе. Он классный печник был, помнишь?

— Ну да, у меня успел еще печку-то сложить. Все хитрости в этом деле знал. Много печек по себе в деревне оставил.

— Хорошо мне было с ними. А как подросла, вот родня и давай мне объяснять, какая я несчастная, какая пьянь мои родители. Не дай Бог, в гости заглянут, хуже ревизии: «Пошто полотенцев мало? Тут надо трехстворчатый шифоньер, тут — диван-кровать, тут — тумбочку... Почему картошку не садишь? Пошто парника нету? На кой ляд тебе эти цветы-те? Светке ерунду каку-то набираешь, купи вон платье кримпленовое!»

— Помогали?

— Ага, на кукиш: чего хошь, того и купишь. Мама только молчит или плачет... Во Франции я очень по ней скучала. Красочками мазюкала-мазюкала, а потом стала малевать пальцем мамины цветы, золотых рыбок. Вот, посмотри. Там нравится. Покупают уже немножко. Говорят, ты у нас, как Ван Гог.

— Ван — кто?

— Ван Гог, художник был такой французский.

— Ну... Конечно, имя нравится, раз на ихнее похоже. Ты когда обратно?

— Поехала уже. Тебя вот только найти хотела. Так присмотришь за мамой?

— Сказал же, присмотрю. Довези до отделения, раз поехала. Возле сельсовета, не забыла еще?

Мягко заурчал мотор, темно-синий «Рено» тронулся и, покачиваясь на колдобинах деревенской дороги, скрылся за углом.

ИСЧЕЗ В ПОНЕДЕЛЬНИК — НАШЕЛСЯ В ПЯТНИЦУ

После обеда Михаил заглянул к родителям. Мать уже дождалась его с нетерпением.

— Мишаня, прокатись на Ласточке, выкупать надо да и разогреть чуток. Не утомляй только. Ложкин звонил: женишок к нашей Ласточке приехал.

— Жених? Жеребца привели? Замечательно, сделаем и моему Тимофею жеребчика.

— Ну да, как бы ему не жеребчика. Опять твой Тимка на соседском баране верхами гонял! Тот чуть себе ноги не переломал, попал в канаву. Кобылку, кобылку заказывай, спокойнее.

Миша выкупал в реке спокойную вороную Ласточку, проехался вольным шагом по краю деревни, свернул на дорожку. Вот как раз и отсмотрю давешний следок: нет ли порубки или, того хуже, лосиной туши. Следок был еще заметен. Широкий, от старого велосипеда; у новых — шины узкие. Поворот за поворотом, ни порубки, ни лосиной туши. Лес кончился, вдали виднелся только леспромхозовский поселок. Это уже не только другой район, но и вовсе не наша область. Мишаня завернул лошадку, сожалея о потерянном времени и боясь, что Ласточка устанет.

— Ну, приспичило кому-то сгонять в леспромхоз, мало ли заделье какое.

Миша заехал на ветучасток. Это обширное огороженное жердями пространство, сбоку стоит одноэтажное деревянное здание ветлаборатории.

Мишаня поздоровался со стариком Ложкиным. За Ласточку, конечно, немного попало, жеребца надо было вскоре отдавать. Легендарный на деревне фершал Ложкин когда-то лечил и Мишаню. «Коростой ты, Мишка, весь изошел, ничё сделать не могли, а Ложкин дал мазь каку-то, и все прошло», — такие рассказы помнит не один Миша, а каждый житель деревни. Старик давно на пенсии, но каждое лето работает ветеринарным фельдшером, занимаясь в основном случками. Процесс размножения живности в деревне, естественно, важнейший. Вся живая тварь без конца совокупляется: куры, утки, гуси, кошки, собаки, козы, овцы, лошади, коровы. Мелочевка занимается этим бесконтрольно. Крупный же рогатый и безрогий скот нуждается в присмотре.

— Ты что думаешь, тут раз-раз, и все? — Ложкин недоволен, что Миши долго не было. — Вымыл кобылку-то? Раньше иной хозяин и гриву причешет кобыле, ленточку вплетет, это ж у нее свадьба.

Ложкин увел Ласточку в загон, торопливо вернулся.

— Ты бы зашел как-нибудь, Мишаня. Я в журнале повесть нашел занимательную. Про деревню. Я там карандашом отметки сделал — где неправда. Врет много! Разе так можно писать, когда не знашь! У его хозяйка одна описана, трепаный лен в предбаннике хранила. Кто же так делает! Он отволгнет и сгниет, лен-от, да и все. И сажа ведь иной раз бывает, копать. Ерунда написана. Ты бы вот почитал, дак смеялся бы. Но-о. У его тамока еще баню подпалили. Дверь поленом подперли и подпалили. Вот, погляди, я те нарисую. Вот полено однем концом в дверь, так? А другим-то, Мишаня, говорит, в дверной порог! Даке кто в предбаннике

дверь в дверь ставит? Дверь обязательно в угол рубят, и никак дверь не подпереть. Вот так он будто дверь подпер, а лен поджег. Врет, да и все. Никак пожар не мог случиться. И как-то в журнале написали. Как это, Миша? Почему?

Мишане некогда слушать воспоминания и рассуждения. Покивал, со всем согласился и уже включил мысленно первую скорость, но старик не отпустил:

— Пойдем, Миша, вон на лавочке посидим. Дело есть.

Ну, сели. А до дела разговор у Ложкина все как-то не доходит.

— Сколь уже Тимохе-то? Шесть? А большой. В Туровых. Пробился все же росток от Григория Филипповича, прадеда твоего. Ты-то в катаевскую породу, оне мелкие были. Все Туровы — тамока (кивнул в сторону кладбища на Военной горе). Никого Туровых в деревне нету. Знал я Григория Филипповича, он меня на две головы выше был. Не пил, не курил, не сквернословил николи. Старовер, одно слово.

Хоть и крестьянин, а повидать он, Миша, всякого повидал. Знашь-нет, он армейскую повинность отслужил кремлевским охранником: и во дворцах, и в оцеплении стоял, когда царская-то фамилия выходила из Успенского собора. «Царя видел, вот как тебя». Рассказывал мне: в оцеплении стояли исключительно староверы. А в чем болячка-то была тогда? Да в том же, что и сегодня: терроризм. Глядишь телевизор-то? И ничем от него не оградишься, разве совестью только. Ведь все, что за деньги куплено, за деньги и продать можно. Вот и искали тогда непродажных, оперлись на тех, кого веками гнобили. Уж на таких, как Григорий, можно было положиться, на чем

перекрестится — не сдвинешь. Из глухой деревни да прямо в царские палаты, это ж, сам подумай, умом можно тронуться. Но ничего, не тронулся. В палатах-то, говорит, богатство, конечно. А в уборных — грязь.

Мишаня сидит-ерзает. Некогда до ужаса, а тут старика не переслушаешь.

— На первую германскую сходил, вернулся георгиевским кавалером. Пешком — из Австрии. Маленько, говорит, до Беловодья не дошел. Дело-то простое, противосолонь шел, на солнышко. В плен он попал в Австрии, так, чтобы в лагере не сгнить, выпросился в работники. Робил, как умел, как привык. А сын у хозяина, мозгяк такой, маленько дурачком уродился. Взъелся на Григория, пахать на нем давай. Ага. В оглобли поставит и кнутиком поигрывает. Доигрался. Положил его Гриша отдыхать на совсем на пашню и ушел. Только до первой пореченской деревни дошел, а тамока уж тятина кобылка с телегой дожидается. Такой вот деревенский телеграф. А ты как думал? Бывало, Филипп Логинович еще только запрягает с оханской ярманки домой ехать, а в Кизелях уж знают, завозно ли было. И вниз по речке слово катится, и вверх, только подуть надо маленько. Так говорили.

Ты вот, Мишаня, подумай, вот этот самый темный крестьянин был тогда сам себе и агроном, и экономист, и зоотехник, и ветеринар. И метеоролог. И плотник. И у него, хозяина хорошего, каждую весну кобыла — жеребая, корова — стельная, а баба — на сносях. Одиннадцатью десятинами кормил восемь детей, и никто не голодал. Даже лаптей не носили, а были у всех сапоги: хорошо медом расторговывались на ярмарках, овчинами, шерстью, льном.

Уважал Миша своих предков, но в голове его крутились проблемы сегодняшние, и он все наловчился повернуть ход мыслей Ложкина на дело, если таковое действительно имелось.

— Что за дело-то ко мне?

— Хорошо, что ты седня ко мне пришел, Мишаня. Меня Федька, внук-от мой, обокрал, похоже.

— Что унес? Когда? Почему на него думаешь?

— Да я, дурень, даве ему карточки детские стал показывать. Больно ему надо! Достал старый-то чемодан, а тамока книга лежала. Видно, углядел, стервец. Седня стал фуражку искать, двинул чемодан — больно легкий. Открыл — книги-то и нет.

— Что за книга?

— Вот как раз от прадеда твоего, Григория Филипповича. Он перед смертью отцу моему этот чемодан отдал. Отец набожный был и старовер тоже. Икон много было, а их роздал в поминанье тяти. Одна книга осталась. Большая, корки толстые, с запором. Говорят, дорого теперя такие книги стоят. Федька стырил, продать, видно, хочет. Чем-то ведь живет. С кем-то он, слушай, связался, шибко с нехорошим народом. Ездит к нему один на иностранной машине. Чё, спрашивается?! Видно, пропала книга, ты уж меня прости. Все собирался тебе ее отдать.

«Что ж прособирался-то», — мысленно вздохнул Миша, кивнул, что, мол, все понял. Ситуация ему и впрямь была понятна. Дочь Ложкина, Лизавета, в юные свои года уехала в город, устроилась на завод, жила в бараке на окраине. Город изжевал и выплюнул деревенскую деваху. Лизавета вернулась в Кизели с Федькой на руках горькой алкоголичкой. И до самой своей безвременной гибели от перепою сидела на шее родителей. Федька

пошел в мать и неведомого папаню. Перепробовал уже все способы травли организма и начал тащить в деревню наркотики. Так что та надобность, по которой приезжала к нему иностранная машина, была Мише вполне хорошо известна. Но... бодаться с этими людьми он не собирался. Поскольку хотел жить. Только тронь этого говнюка Федьку — и останется от тебя горсточка пыли. У мента деревенского защита — фуражка, и больше ничего. Ну, сейчас все одно к Таисье идти, заверну к Федькиной сожительнице. Мало ли...

Стоящий на отшибе домишко оброс бурьяном и завален нечистотами. Дверь была открыта. Несколько человек в отключке валялись прямо на полу. На грязной кухне неопикуемая вонь, стоят какие-то черные котелки. Разлита коричневая жижа. Книгу и не спрятали особо, негде попросту: из города никто не приезжал, а сам Федька явно не представлял, куда ее девать. Миша засунул книгу в большой полиэтиленовый кулек, распахнул окно. Бурьян, неподалеку густой ивняк. Мишаня размахнулся и выбросил кулек в кусты ивняка. И вышел беспрепятственно. По делу службы он заходил. В полном праве. А книгу потом заберет, попозже. Вот так, в десять минут все и получилось. Видно, строгий староверческий бог еще посматривает иногда на свое заблудшее стадо...

Пошел к Таисье Васильевне. Да, приятного мало сейчас представлять к ней с разговорами. Но куда не денешься, придется спрашивать, кололи ли ей дрова и как она расплатилась. Да и фотография Олешки нужна в розыск. В ограде заглянул за поленницу. Свеженаколотых дров совсем немного, за что платить? Ну, Генка с Николой, тряхну я вас завтра! Но! За поленницей

стоял старый велосипед с большой корзиной на руле. Велосипед... В Мишиних мозгах что-то замкнуло: он вдруг увидел все произошедшее с такой ясностью, как если бы ему это показывали в кино.

Преступление было тщательно продумано и осуществлено именно этой хорошей женщиной. Олешку украла Таисья.

Она умная, Тая, она все сделала, как надо.

В пятницу с утра Генку и Николая, обычных собутыльников Галькиного Сереги, Тая действительно наняла колоть дрова. Сколь ни накололи эти хмыри с бесконечными перекурами, Тая с обеда их отпустила, щедро расплатившись водкой: это, мол, вам вперед, ребята! Должно было хватить и на Гальку с Серегой. Ребята, естественно, тут же покатали на квартиру к Сереге. Глядь, Галька уже несется с Олешкой к свекровке: мешает парень-то, в хате сесть негде! А у свекровки — огород, полоть, поливать, окуривать... Парня кинули на кровать и разбежались: маманя — на пьянку, бабана — в огородец. Он поорал-поорал и затих, заснул. Так что взять Олешку не составило никакого труда. Хватились ребенка только на следующий день к вечеру, когда компания, во-первых, проспалась, во-вторых, опохмелилась. Галька явилась к свекровке: где Олешка? Я думала, ты забрала... А я думала, он у тебя... Короче, без бутылки не разберешься. Все вместе выпили, молодежь продолжила до понедельника. В понедельник вся эта неработь до полудня спала, потом потянулась в милицию. Оказалось, участкового нет. С облегчением вернулись, сдали бутылки, снова загудели. В среду долго вспоминали, какой день сегодня и какой был вчера. Потом беседа в милиции, в ходе которой было документально закреплено, что ребенок пропал в понедельник.

А нашелся этот ребенок (опять же, согласно документам) в пятницу в деревне соседнего национального округа, куда Таисья увезла его на велосипеде в большой корзине. Олешка был в грязном белье, закусанный комарами, с расчесанной в кровь грязной физиономией. Руки тянулись отмыть, переодеть. Нельзя, нельзя, потерпи, милый! До деревни, где жила родственница матери тетка Фаина, путь неблизкий. Километров пятнадцать по лесной дороге Тая отмахала единым духом. И ни один корень под колесо не подвернулся, ни один человек не встретился. Деревушка в четыре дома, тишина, дороги травой заросли. Таисья присмотрелась: на улице никого. Подъехала к дому тетки, слезла с велосипеда и, представьте себе, на пороге нашла ребенка! Крикнула тетку, занесли в дом, распеленали, рассмотрели: хороший мальчик, только больно грязный, немытый. Видно, какая-то пьянчужка бросила дитё. Пошли в сельсовет, оформить находку. В сельсовете одна секретарша сидит, да и то вот-вот убежит домой. Поглядела на замызганные одежды, на грязную физиономию, поохала. Но не удивилась.

— Бегут люди из леспромхозов. А куда с ребенком? Вот подкидывают.

Так Олешка в пятницу и нашелся. А девать его представителю власти абсолютно некуда. В больницу разве в соседнем поселке — десять километров отсюда, а кому везти?!

— Вы нашли, вы и держите покуда. И ко мне больше не ходите. Вот ваше заявление, я его подписала, зарегистрировала, печать поставила. Вы с этими бумагами потом езжайте прямо в детский дом.

Таисья изобразила большое недоумение и даже негодование, забрала свое чудо ненаглядное и побежала к тетке. Наконец-то быстро-быстро вымыла и передела Олежку, оставила Фае баночки мясного пюре, пакеты с крупой и уехала. Она не боялась, что тетка будет размышлять и с кем-то обсуждать ее поступки. В понимании манси Фаи все русские были сумасшедшие. Жили не так, ели, пили, говорили и делали все не так. Стоило ли их обсуждать. Таисья вернулась домой под вечер с полной корзиной травы для поросенка. Она правильно рассчитала: больше, чем за Олежку, Галька с новой родней испугаются за себя, за то, что придется отвечать. Поэтому будут тянуть-вольнить с заявлением, в извечной надежде, что все как-нибудь обойдется. Тая была спокойна.

«Правильно, — думал Миша, — ребенок, пропавший в понедельник в Пермской области, и ребенок, подобранный в пятницу в национальном округе, — это два разных ребенка. Скорее всего, Таисья к осени продаст дом и уедет, в деревне ее больше ничто не держит. Ее поймут: что в этом удивительного — уехал человек оттуда, где не сложилось счастье. Она усыновит Олежку и будет учительствовать где-нибудь в глубинке.

На Мишу, прервав его размышления, бросается черное мохнатое чудовище.

— Шварц, чудородье ты, Шварц!

Черный ньюфаунленд Шварц любил всех людей без исключения. Всех приветствовал и готов был облизать. Только поиграй с ним, погладь, потрепли громадную башку. Охранник — никакой. Для охраны у Таисьи имелась небольшая беспородная сучонка, злая и хитрая.

— Таисья Васильевна! — Это Миша кричит хозяйку, боясь, что сучонка, гадина такая, выскочит. Доводилось ему быстро-быстро бегать от этой сучонки.

— Кто там, проходи в огород, — откликается хозяйка.

Она выметает стружки на пороге новенькой красивой баньки. Банька — просто игрушечка. Деревянные лавочки, вешалки — все сделано мастерски. А главное — с любовью. Вряд ли это замечает хозяйка. Таисье около пятидесяти, не больше. Высокая крупная блондинка. Сдержанная, владеющая собой, холодноватая. Типаж не русский, отдает прибалтийским или немецким. Миша зашел поглядеть, как банька внутри. Сел на лавочку. Он растерян, хочет собраться с мыслями. Думает, как теперь вести себя с Таисьей.

К Таисье является некая деревенская баба лет тридцати, по типу — халда.

— Отдавай деньги за баню, Таисья! Витька мне муж; значит, и деньги эти — мои!

— Раз он тебе муж, у него и спрашивай. Я тут ни при чем. Он приходит и сам все делает. Я его не прошу, а иной раз и не вижу. Ключ есть, собаки его знают. Его квартира-то.

— Робил-робил на шабашке всю вёсну, у мостовиков у пермских, и как денег ни спрошу, все: не было расчета. А потом на лесопилке узнаю: сруб-де купил и всю столярку к бане. Вона где банька-та, где мои-то денежки! Отдавай деньги добром, Таисья!

— Слушай, ты не первая тут. У Виктора каждая жена приходит мне скандал учинять.

— Ах, ты...

— Кто тут выражается? — Это оказался Миша из бани. Обалдевшая баба убегает.

— Пойдем в дом, Миша. Посидим, поговорим.

Зашли в квартиру, это половина деревянного дома. Все сделано с умом, чисто, удобно. Много зелени, цветы. Полки с книгами, альбомы по искусству.

— Посидишь, Миша? Попробуй винца моего из смородины.

Миша не планировал задерживаться, но понял, что тут торопиться не нужно: «Осторожненько-осторожненько мы этот узелок и будем развязывать».

— Мне, Таисья Васильевна, нужна фотография Олежки. Для следствия.

— Сейчас посмотрю, — глухо ответила Тая.

Достала альбом с фотографиями. Это повод для воспоминаний. Мать в молодости. Раскосая, широколицая.

Миша спросил, кто была Оня по национальности, вспомнил, что Оня была лесной женщиной. Сидит, бывало, на лавочке, старая уже, полуслепая, а бабы деревенские ее спрашивают: «Ну чё, Оня, земляника-то пошла или нет?» Оня им и говорит, поспела ли в лесу земляника.

— Я все хотел у нее места выведать, где ягод много. Сколь раз на мотоцикле возил. Не-ет, за ей не уследишь! Вот только платок ее белел, глядь — это уж ствол березовый! Одинова за подол схватился, только на сторону посмотрел — уж у меня в руке не подол, а ветка от ивова куста!

— Придумываешь, Миша!

— Честное пионерское, Таисья Васильевна! Говорит мне: «Вы, русские, очень даже глупые, раз в лесу можете заблудиться!»

— Ну, да она в детстве вообще в лесу с родичами охотилась. Помолчали. Тема матери — сложная для Таисьи.

— В детстве я ее боялась. Она часто ругала меня на своем языке, я не понимала за что. Мне так и не сказала ни единого слова, кто я и откуда. Тетка Фая рассказала.

— Жива еще тетка Фая-то? — уцепился Миша.

— Жива.

— А где живет, все там же?

— Да, старая уже стала.

Ну точно, к Фае свезла. Собственно говоря, все, что положено было узнать милиционеру, Миша узнал. Сейчас бы на Малинку и к Фае. Преступление раскрыто. Да еще какое! Ребенок не банный ковщик... Но Миша медлит. Миша сидит и сидит, смотрит фотографии, слушает Таисью, что-то спрашивает.

— Свадебные. Вышла замуж за Виктора после школы сразу же: хотелось от нее уйти. Он шоферил на автокране, шабашил, как мог, зарабатывал. Ну и жили, как жили. Это Женька маленький. Обыкновенная такая деревенская жизнь. Это лет в двадцать я стала учиться заочно в пединституте, поехала в город. Я совсем другая стала в городе. Не знаю, жив ли ОН, отец мой, или нет, во мне он ожил. Эти книги как будто я уже видела. В зеркало совсем по-другому стала смотреть. Пыталась понять, какой он был. Да, я совсем другая стала. Муж начал пить. Наверно, из-за этого разошлись. Он тут же женился, бабы его прямо караулили: хороший мужик, с руками, зарабатывает. Но он по-прежнему приходит сюда и молча все делает. Баньку вон сложил. Дома только ест и спит. Баба поживет-поживет, бежит сюда скандалить. Эта — уже третья.

Оба задумались.

Таисья — о своем неудачном замужестве, в очередной раз не находя ответа на вопрос: почему? Деревенские не умеют говорить об отношениях мужчины и женщины. Таисья не знала себя. В темном мороке ночи ее наполняли неодолимая сила и темная власть Оомы. И тело ее, и волосы источали одуряющий дымный запах тлеющей на угольях травы. Таяло и исчезало тело, обвиваемое руками Оомы. Виктор, уже оттарабанивший нескольких торговков из Верхних Кизелей, не без оснований полагал, что мужик он хоть куда, и даже не стал проверять это до свадьбы. Его торговки, побывавшие в городах и турецкой загранице, делали все, как положено: надевали кружевное белье, изображали несколько разученных по телевизору зазывных фигур, а в постели умело скакали сверху и извивались снизу. И все, как говорится, путем. А тут, какие позы, какие фигуры, он вообще ничего не понимал. Из всего того, что он испытал в жизни, это больше всего походило на прыжок с парашютом, единственный раз осуществленный в армии. Никола тогда обделался от страха и долго не мог в небо посмотреть без тошноты. И вот, чтобы с законной женой каждую ночь лететь в бездну, когда даже нет спасительного парашюта, а только удар — и темнота... Оома все же не зря лишает своих детей сознания и памяти в ночь соития. Но Никола не был сыном Оомы, и она ничем не могла ему помочь. Не связал их и сын.

— ... Я даю тебе сына... Сына...

— Кто ты? — силилась произнести Таисья, но губы не разжимались.

— Сына...

...Таисья проснулась, с трудом открыла глаза. Ветер, распахнувший форточку, гулял по комнате. И виделась, чудилась тонкая струйка тумана, скользнувшая за окно.

Беременность протекала тяжело. Все виды токсикоза, какие есть, днем и ночью выворачивали Таисью наизнанку. «Как можешь ты, мой плод, мое дитя, отравлять меня и так мучить? — спрашивала она у неведомого существа, поселившегося в ней. — Мой ли ты?»

Роды тоже были тяжелыми. И когда наконец ей показали маленькое тельце с желтым скуластым личиком, Таисья закрыла глаза и отвернулась. Это был сын Оомы. Женьку с малолетства приняла Оня, Таисья начала учиться и уезжала из деревни с радостью.

Эти трое, стиснутые в семью, так и не стали единым целым. Никола свое внутреннее смятение принялся лечить естественным для русского мужика способом: пьяный бывал груб, брал Таисью, не гася света, пытаясь силой восстановить свое поруганное мужское господство. Пожили, помучились, а конец, что ж, конец известный:

— Чё тако делатся, ты подумай! Таки оба молодые, только живи да радуйся, а оне разводятся. Ну, Никола виноват, конечно. Пьет, чё с им жить. А Таисья — славная така женщина. Все теперя в город ездит. Учится. В школе робит, надо институт кончать. Так положено.

Женька вышел весь в свою лесную породу: смугл, узкоглаз, скрытен. Парень чуждался деревенских и мог часами молча сидеть рядом с Оней. С девочками Женька не дружил, а когда природа потребовала свое, привел в дом Гальку-

беженку. Галька блудовала направо и налево, не ставя мужа ни в грош и в глаза называя импотентом. Может быть, Женькино тело жаждало забытья Оомы? Во мраке соития властвуют неведомые человеку веления, мощные силы родовой памяти слепают или разводят людей. От Женьки ли Олежка или нет, было для Таисьи неважно. Малыш оказался единственным существом, в чьих глазках она видела любовь и понимание. Но Гальке, чтоб быть матерью-одиночкой, нужно было детское пособие, а не Женька.

Миша размышлял о другом. Он хорошо знал мужа Таисьи и сочувствовал ему. Такая вот в деревне любовь: в виде банки. А ведь получается, что она, Таечка, всю жизнь просидела у Витьки за спиной. Цветочки садила и любовалась книгами по искусству. Витька у нее как пахал, так и пашет. Наверняка, запал уже прошел, ей шаг ступить страшно из этого устроенного дома.

— И мать с возрастом стала во мне ЕГО видеть. Как зайду, так закричит и полезет под кровать.

Миша мучительно соображал: что сказать?! Надо бы вытащить Таисью из этой ситуации так, чтобы она «сохранила лицо».

— Ну, мне пора, Таисья Васильевна. Сколько уже? Ух ты, семь часов, а светло еще, и солнышко высоко. Лето!

Уходя, задержался в дверях. Посмотрел не на Таисью, а на косяк.

— А вы, Таисья Васильевна, садитесь-ка сейчас на велосипед и езжайте к своей Фае. Надо вернуть Олежку, Таисья Васильевна... Корзину с ребенком поставьте на скамейку возле свекровкиного дома. Я часов в десять проеду на Ласточке по деревне, прослежу. Так мы ребенка и найдем еще раз.

А Гальку я прижму. Вы Олежке настоящая мать, а она угробит ребенка.

Таисья стояла, отвернувшись к окну.

Михаил возвратился, когда уже начинало вечереть. На него налетела Зойка.

— Украла телушку!!! Белую годовалую телушку украла прямо из стойла! Сегодня!

Ну, точно, завелся в деревне маньяк. Позавчера, вчера и сегодня ворует по белой годовалой телушке.

— Зоя, расскажи-ка поподробнее, когда это произошло?

— Да седня, пока я тутока в избе с карповским фермером про покос разговаривала, ее и не стало. Фермер-от со мной про границу покоса несогласный, ты, говорит, на мое залезла. Кар-ту показыват, да я не толкую. Вышли, сарайка открыватая, а ее нет.

— Ты почем Тamarке-то телушку продала?

— За три тысячи... — машинально ответила Зойка и тут же прикусила язык, да поздно.

— Та-ак, значит, Тamarке телушку продала, потом ее из стада сперла и тут же увела в Карповку к фермеру. И той же дорогой обратно. А куда она из твоего стойла девалась, это я подумаю. Видно, фермер не дурак... Оформляю тебе мошенничество, Зоя.

Миша закончил рабочий день в своем кабинете. Зашел Витька-пожарник.

— Ты, Михал Викторыч, уж как-нибудь маманю... Это она мне все на дом таскат. Тamarке отец уже мотоцикл отдал взамен телушки. Она довольная. Отдай заявления! Я на энту ночь две пожарных машины тебе на огород привезу. Сухо ведь счас. Прольем картошку-моркошку, весь огород прольем.

Мишаня махнул рукой, отдал заявления, посмотрел в пустую папку: целый день робил — трех телушек нашел!

— Ладно, доставай. Чего там у тебя.

Пожарник Витька достал бутылку, сало, хлеб, лук.

— Другой на моем месте сѣдня пересадил бы полдеревни, а у меня отчитаться нечем!

— А без меня остатки сгорело бы!

— Пропала бы без нас деревня Мудомой! Ну, бывай здоров!

— Бывай!

— Слышал? Женька Таисьин в федеральную программу записался. «Родовые угодыя» называется, землю дают националам и стройматериалы для дома. Женька и вспомнил, что он манси. Коренной народ, называется. Ё-моё! Баба Оня и то по паспорту, поди, русская была. И Таисья, конечно, русская, хотя у нее русской крови ни капли. А этот предьявит свои узкие глаза, и на тебе: родовые угодыя на нашей дедовой земле. А я, к примеру, кто? Никто. Хотя мои деды туто лет пятьсот мордовались, все обжили и обустроили. А любой мудомой, что хочешь, творит. Любой черный приедет и живет, и меня не спросит, а нравится ли он мне. Во, блин, порядки!

— Да не будет у Женьки никаких угодий, там, поди, хозяйство надо ставить. Чего он может-то? Одне токо узкие глаза и есть.

— Не в Женьке дело, а в том, что его назовут коренной национальностью. Понимаешь? Коренная. А мы — никто. И вслух не скажи. Будешь враз националист.

— Да хоть горшок. Давай, налей остатне. Будь здоров.

УТРО, НАТЬ-ТО, МУДРЕННЯЯ БУДЕТ...

Баба Маня тяжело разогнулась над луковой грядкой, поправила сползающие очки и пригляделась.

— Тебе чѐ, мужик?

Прямо на нее, ступая по всходившей картошке, пер смуглявый, черный парень.

— Эй, парень, ты чѐ?

Не обращая на Маню ни малейшего внимания, парень выдрал из грядки луковицу попышнее, еще...

— Да ты пошто... пошто ты воруешь?!

— А я не ворую, я беру.

Парень оглядел грядки, дернул полной ладонью пучок петрушки и, спокойно ступая по любовно окученной картошке, ушел через щель старого огорода. Баба Маня, заливаясь бессильными слезами и хватаясь за сердце, побежала к соседке через дорогу. Все бы, конечно, кончилось Маниными слезами и увещеваниями соседей, но тот вечер был для Шмыриных не просто вечер. Пришел из армии внук. Старший, любимый. Народу набезало много: одноклассники, друганы, родня со всех окрест. Счастливый Санѐк, в тельняшке и увешанном аксельбантами дембельском мундире, был уже сильно навеселе и встретил Маню распростертыми объятиями. Тут-то и упала искра на солому. Поддатый дембель разом вспомнил, как мордовали его, салагу, кавказцы в бершетской казарме, и рванулся немедленно обидчика найти и уделать. Его схватили за руки два деревенских парня,

мать бросилась поперек пути, опять налили, выпили, песни начинали было петь. Но тут залилась слезами Сашкина тетка из Верхних Кизелей, сестра матери.

— Чё имя, имя все можно! Сестрянку твою, Наташку, неделю назад на танцах чуть не изнасиловали, тоже они. Двое, говорит, держали.

Орава пьяных парней вывалила на улицу, бабы кинулись за ними. Улица враз стала многолюдной. Субботним вечером, закончив окучивать картошку, народ выпивал здесь и там. В благодатной тишине вечера гул толпы разнесся далеко. Толпа затягивала все новых и новых и, клубясь, катилась к дому на отшибе, у самой Военной горы. Там жило неисчислимо количество невесть откуда взявшихся кавказцев: мужики, бабы, ребятня. Торговали копеечной водкой, скупали краденую с огородов картошку-моркошку. В общем, на что жили — неизвестно.

В тот вечер обошлось, слава Богу, без убитых, но шум вышел большой. Кавказские джигиты успели скрыться в темнеющем на закате лесу Военной горы, оставив толпе только баб с ребятами. Тех пинками вытолкали за околицу. Больше делать было нечего, и, матерясь, толпа стала было разбредаться. Но в суматохе кто-то подпалил хибару кавказцев.

Все происходящее Миша наблюдал издали, поджидая Таисью у отворота лесной дороги. С высокого пригорка вся деревня была как на ладони. Мог бы он остановить толпу? Мог, если бы рванул на Ласточке сразу же. Но он спокойно встретил Таисью, отнес, как договаривались, ребенка к свекровке, составил акт. И только потом подъехал к месту событий. Была одна причина

Мишиной неторопливости. И она вскорости, минут через пять, прояснилась.

Витька-пожарник, заправившись, как раз ехал поливать Мишин огород. Увидев, что дом кавказцев, стоявший высоко возле Военной горы, задымил, развернулся и был бы на месте через две минуты... Но завяз посреди улицы Советской. Пока его поддерживали трактором, дом выгорел, стены рухнули, а машина пожарника только-только показалась в конце улицы. Но у Миши были свои соображения, и Витьку он тормознул на месте, а немногих глазевших (большинство от страха разбежалось) отогнал от пожара. Отъехал и сам. И правильно сделал. Пол прогорел, и два мощно прогремевших взрыва разметали горящие бревна далеко окрест. Ладно, дом стоял на отшибе. Горящие головни попали только в два огорода.

— В подвале у них, ети ее, похоже, склад был с боеприпасами. Видал ведь, сколь раз к ним джипы подъезжали. Чё, спрашивается? Я отсмотрел одинава из лесу. Ящики носили, тяжелые. В дом зашел на следующий день — ничего не видать. В подполе было, не иначе.

Так Мишаня объяснял Витьке, но тот вряд ли что-то слышал, поскольку от страха непрерывно матерился.

Честно говоря, Миша испытывал удовлетворение. Напряжение между местными и кавказцами росло, и все равно должно было что-нибудь произойти. А так, все хорошо обошлось. Главное, не изувечили никого из черных. Пугнуть-то их отсюда все равно надо было. Но за ними явно неслабая сила, а Миша — кто? Считай, никто. Да и семья есть, на рожон-то переть. И что у нас получилось-то, считал плюсы Миша: склад обнаружили,

факта уже не скроешь. И одновременно уничтожили. И он тут ни при чем. А деревенских — не видал он их никого. И точка. Деревня большая, всего не углядишь.

Подождал, пока из Верхних Кизелей примчится переполоханное начальство. Сдал погорельцев на руки заместителю администрации по соцвопросам. Все, чист. Сторожить пожарище незачем: до утра ничего не остынет, не сунешься. А утром придут специалисты из города. Вызвать их тоже не его обязанность, а главы администрации. На него и все остальные шишки.

Ленивый мент развернул Ласточку и поверху деревни, вдоль кромки леса, направился к своему дому.

Вся деревня и подернутые легким вечерним туманом заречные луга были как на ладони. И вдруг Миша увидел широкую плотину и пруд на два рукава, камнем-плиточкой замощенную дорогу по-над прудом, сады и парк, огороды и теплицы, а чуть подале — дом, его, Миши, дом, его имя. Картина этой маленькой вселенной в раме лесной стены на Военной горе была такой ясной, что у него заньло сердце. Он потряс головой и углубился в свои мысли.

Да, может, когда-нибудь люди и в самом деле поймут, что лучше жить в теплом, уютном, насиженном месте, чем на юру. Вместо «железного занавеса» будет хорошая дорога. И плотину додумаются восстановить, будут тут купаться и отдыхать. Может, когда-нибудь. Лет через сто. Не при нас.

Это вы так думаете. Миша, между прочим, думает совсем по-другому. Почти все дома в Мудомоях уже принадлежат разветвленному Мишаниному семейству. Народ съезжает в Верхние Кизели, дома в Мудомоях ничего не стоят, перетаскивать старые

гнилушки на новое место почти никто не пытается. Кавказцы были бельмом на глазу — сегодня вычеркнули кавказцев. Тут их больше не будет. Галька, опять же. Упала со своим блядством как снег на голову. Серега один-то уж давно бы подался на железнодорожную станцию на заработки. А тут Галька да еще ребенок. Сделаем сразу несколько добрых дел. Гальке пригрозим уголовным делом. Основания есть. От ребенка она откажется, может быть втайне облегченно вздохнув. И они с Серегой улетят из деревни, как пташечки перелетные. Таисья усыновит Олежку и уже к осени переедет. Кому она продаст свой дом, и совсем недорого, а? Прикидывая так и эдак, Миша был сегодняшним днем доволен. Он все сделает так, как замыслил. Пусть эти мудомой живут в Верхних Кизелях. Он будет жить тут, в родовом своем месте, в родовом гнезде. И называться место будет Турово. И сам он будет Михайло Туров. Вот так.

Так думал Миша. А мысли отца его, Виктора Николаевича, были тяжелыми и отгоняли сон. Миша-Миша, да кто ж даст тебе хорошо жить! Прапрадеду твоему не дали, прадеду не дали, деду не дали, я не жил, и тебе не дадут. Найдется, ох, Мишенька, найдется до твоего родового угла охотник. Уже присваиваются. Мол, ферму лошадиную заведем, базу отдыха поставим. Проплатят, кому надо, и поставят. А тебя, Мишенька, в лучшем случае могут конюхом нанять али охранником, раз ты малопьющий. Пока.

Еще есть у старшого Катаева маленькая власть, кое-какие старые связи в городе, но все это тает на глазах, в городе новые люди, сила перетекает к другим. И запросы другие, телятиной не обойдешься. Хитростью тут надо брать, Мишаня, хитростью.

И третий аппаратчик прикидывал, к кому, с кем, против кого, так и эдак мысленно тасуя колоду с городскими фигурантами. И тревожно было ему, и сон не шел.

Такой вот в наших Мудомоях выдался суетливый день. Утро, нать-то, мудреня будет. Видняя будет, как дале жить.

РАСЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

...Поплыли туманы над рекой.

«Ниву» качало на размокшей лесной дороге. За поворотом лес заканчивался. Борис Иванович, хоть и торопился в аэропорт, остановил машину, опустил стекло и оглянулся. Хорошо видный в надвигающихся сумерках, догорал мощным костром родительский дом, стоявший у самого основания Вотяцкой горы. Дом, поставленный руками отца. Уже занялась крыша, пошли корежиться и падать стены. Борис Иванович провел по лицу задрожавшей рукой...

— Ну на чё это Борис так сделал — дом отца спалил, ну на чё? Жаль какая, шибко домик-от ладной был. Хоть продал бы кому...

— Продавать-то, видно, жальче. А так, если стоять будет, кто-нинабудь да спалит.

— Вовсе пропали мы с тобой тожно. Ране-то хоть их с женой ждали. Приедут, дак и веселяя.

— Как не веселяя. Таня еще сердце послушат когда, таблетки привезет. Хорошая женщина. И собой не худая,

мягкая. Сказывала, что у ей отец-от немец. Мать хохлушка, а отец из немцев. Сосланные. В Гайнах жили.

— Борис-от сам из Туренков. Нету боле той деревни. Его отцова сестра ростила, Марeya Васильевна, тетка Маня. Дом-от у ей тамока под горой в аккурат возле пруда стоял. У его отца с матерью посадили в пятидесятом годе, дом забрали, а его, маленького, Маня взяла, как она жила одна. Так оне и не воротились, живы ли нет, никто не знат. У ихнова дома хозяева-те уезжать стали, дак Боря его и купил.

— И ете уехали. Ну, помянем давай. Боря-то оставил мне бутылочку на помин.

— Ете не померли покудова, поминать-то.

— А чё не померли-то? Все одно боле ты их не увидишь. Сказывал, шибко далеко уезжает. В заграницу, во как! В Германию.

— Как-то у людей на все денег хватат. На машину, на заграницу. Ну, будь здоров, сосед.

— Будь.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

— Ванькя-я! Ванькя-я! — В ответ на приближавшийся девчоночий крик белобрысыи веснушчатый Ванька только нахмурил брови. Не слышит он. Уши отсидел. Все, побегал Ванька. Теперь он в МТСе тракторист. Это тебе не вожжой трясти. Иван Васильич он теперя — во как! И точка.

Мне не нравится машиночка,
Не нравится мотор.
Только нравится в машиночке
Молоденький шофер.

Он вскочил на подножку трактора, стоявшего на краю поля, открыл дверцу кабины.

— Ванька-я! Ванька-я! Тятка мамку убил!

...Худое жилистое тело Евдокеи, покрытое большими и маленькими, старыми и новыми синяками, омыли, надели чистую понёву, дубас и белый платок. Василий Михалыч лупил жену с первого дня после свадьбы. Парень был дурной на характер с малолетства. Девкам он не глянулся, да и семейство на деревне не жаловали. Старшой Катаев, Михайло Леонтьич, только Евдокею из Заболотова и смог ему высватать. Отдали с радостью: подмочен был подол у Евдокеюшки. Вовсе ни за что ославили девушку, навели напраслину, расписали дегтем ворота родительского дома. Будто бы кто-то видел, как туровский Тимка-гоёнок увозил ее верхами в поля. И поясок Дусин показывали: мол, потеряла в поле-то. Ревмя ревела Дуся: не бывало этого, наговаривают на меня! Тятя, жалея, сильно не бил, но с рук сбьть постарался: посватался Катаев, ее и отдали Катаеву.

Четверых ребят живыми родила Евдокея. Сколько скинула после побоев, родила мертвыми — и сама не помнила. Ванька, старший сын, за мать заступался, как мог, но Василья Катаева не укараулишь. Уедет, бывало, в лес за дровами, а с полдороги вернется и так отходит вожжами безответную жену, что та с кровавой пеной на губах свалится в сенках. Из леса вернется: где ши? И опять в руках полено или вожжи. Свекровка, мать Василья,

не очень одобряла эти избиения, но и не останавливала сына. Муж жену учит, что тут особенного. Старшой Михайло Катаев ворчал только, если сноха, провалявшись в сенках, кашу не сварит или не вымоет рубаху.

Ваньке жалко было мать, но пуше того томило, что не отдадут теперя за него Турову Елену. Не отдаст Григорей Филиппович Елену в катаевский дом. Младшая она у него. Счас ей семнадцать годов. Елену тятя замуж не торопит, учит, на семилетку в Очер отправлял. Теперя на учительницу учится. Косу отстригла, завилася, тятя ей в Оханске туфли справил и часы. Дубас не носит. Научилася на машинке шить, себе платьё изладила. Вся круглая да белая, как мытая репка. Ни одной мечты у Ивана без ее нет. Иван уже заговаривал с Григореем Филипповичем, когда зябь подымал прошлой осенью. Мол, не надумали ишо Елену замуж отдавать? Григорей Филиппович не шибко разговорился. Про Елену, мол, и разговору покуда нет, пушай учится. Ксения, старшая, на выданье. Сначала ее, чтобы Елена ей дорогу не заступила. Ивану того и надо. Ксения у Туровых страшная, худая, глаза лупастые. Покуда оне Ксенью выдадут, Ванька в люди выдет.

Тятя Василий Михалыч кобенится, нипочем не хочет к Туровым ийти Елену сватать.

— Мне таку невестку и вовсе не надобно. Мне ее чё, на божничку заместо иконы ставить? На туфлях, при часах по деревне ходит! Конечно, у Григорейя Турова Денис в председателях колхоза, Дементей — мельник, можно и часы покупать, и машинки швейные, и патефоны. А нам это и на хер не надо. Ты чё, Ваня, ты думай маленько, сам заместо ее к печке-то станешь? Робить-то кто будёт? Шубы квасить?

Василей Катаев на шубах зарабатывал не меньше, чем все туровское семейство, но денежки он складывал в железный сундук, а семья вечно сидела впроголодь. Ваня досыта наелся, когда сам зарабатывать стал. В стары времена Ивану не видать бы Елены, как ушей своих. Теперя не старо время. Он теперя сам себе голова. Григорей Филиппович, конечно, высоко голову носит. Кого попало, не видит. Дак и Ваня теперя не кто попало, а тракторист. Ну и что, Василей Михалыч сватать не хочет! Теперя ему тятя не указ. И без сватов сосватаем. Осенью ему в армию, с Еленой сговорился, чтобы ждала. Лишь бы она ждала, уж Ваня всего добьется.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

«Ивану Васильевичу Катаеву из деревни Туренки сестра твоя Маня Катаева пишет. Ваня, мы твои письма из армии получили, и тебе за память об нас все наши сказывают спасибо. Карточку тоже получили, где ты возле машины, на стенку повесили. Тятя женился вдругорядь. Взял сепычанку вдовую, как сам немолодой уже. Она грамоте не толкует, дак и напишу про ее, как есть баба шибко вредная. Чуть чё — и ухватом хватит. Нам с Анной жизнь тяжелая. Анну уже просватали из Тараканова. Хилой мужик будет, дак она опеть шибко характером у нас крутая. Ей все командовать охота, с новой хозяйшкой и на кулачки сходились. Уйдет Анна, кто за меня пристанёт? Приедешь ли ты, напиши. А Елену Турову тоже просватали, на Покров обвенчали.

Григорей Филиппович богато приданого за ей дал. Две коровы, пчелосемей сколь-то, овечек, гусей, машинку швейную и деньги. Так сказывали. А взял ее Никола Смирнов из Кленовки. Он уже в армию сходил. Парень видный, выучился, теперя радио у нас налаживат, столбы ставит и провода тянет. На гармони играт. Елена уже с пузом. Ты, Ваня, не серчай, но она мне сказывала: мол, тятя за тебя ее отдавать не хотел. Мне, мол, Василья Катаева в сватовья не надо. Чтобы ты не надеялся. Замужем Елена скучат, сказывала, не глянется ей. Мол, хозяйства много, и Никола-то неразговорной, мол. Ничё, ребята пойдут, некогда скучать будёт. Всего тебе, Ваня, хорошего. Ты нас не забудь, а уж мы тебя помним. Прощай. Сестра твоя Маня Катаева. Писала 3 апреля 1939 года».

«Елене Туровой от Ивана Катаева солдатский привет. Уж видно пишу в последний раз. Чё, думаю, не отвечат, пообиделася на чё. А на меня тебе обиду держать не за чё. Я своим словам не изменял. Все думал замуж тебя взять по-честному. Отслужил срочную, остался на сверхсрочно. Тутока в аккурат мы в Литву выдвинулись. И по радио сказывали, что Красная Армия вошла в Литву и Западную Украину. Я теперя старшина, мне квартира положена, жену можно выписать. Я в Каунасе квартиру выбрал. Место шибко хорошее — Литва, наше теперя. Мне тутока нравится. Думал: вот приедет Елена, ничё не дам ей робить, только пусть платьё красивое наденет да с корзиночкой на рынок сходит. Ты, может, думала: если за меня пойдешь, так и будешь всю жизнь у Василья Михайловича шубы квасить? Я ведь вовсе не так думал. Ты бы вот поглядела, как туто люди живут. Как все изобихожено. Ну да чё теперя говорить. Я не женатый. Кажду ночь снится,

как я с тобой в койку ложуся. Мне боле никого не надо. Ну, прощай. Иван. 17 июля 1939 года. Каунас».

«Здравствуй, брат Ваня. Шибко мало ты нам пишешь. А нам неоткуль боле известий об тебе ждать.

Не хотела тебе сказывать, да всеж-таки напишу про сватью туровскую, Мавру Смирнову. Как она, ишо пока Никола в армии служил, все к Туровым бегала. Мол, нашто вам зять от Катаевых, вон оне какие. И, мол, сам он, Василей Михалыч, выблядок. Его, и верно, в девках ишо родила бабка Агафья. Ее потом замуж отдали за вдовца в Лошкаревский починок. Тятя и жил все у Михайлы Левонтьевича, отчество-то у его дедово. И вот Мавра-та давай все собирать. Мол, у меня сыновья-те один к одному, четвёро, старшие своими домами живут. И Николе дом поставим и хозяйство справим, ежели Елену отдадите. А от Василья, мол, ничё не дождется. Да и Никола-то, мол, видный будет против Вани. Чё ни попадя болтала, вот баба какая. Теперя шибко радуется, что стала Туровым сватья, а у Николы жена учительница. Ты, Ваня, не розостраивайся понапрасну, я это письмо счас пойду в печке сожгу. Написала, дак ровно поговорила с тобой. Мне боле некому чё сказать. Вовсе я одна, брат Ваня. Прощай. Твоя сестра Мария».

«Здравствуй, Ваня, брат родной. Пишет тебе сестра Маня Катаева. У нас в деревне шибко нового ничё нетука. Только Анну замуж отдали. А мы с тятей живем теперя одни. Как 15 сентября сарай загорелся, побежали тушить. Вернулися — сундучок с тятиными деньгами пустой, и сепычанки нашей нетука. Утекла с деньгами вместе. Тятя переживает, а я нет. Я тех денег так и так не видывала, чё мне оне. А с мачехой нажилася. Одно плохо, тятя меня замуж не отдаст. Жениться боле не хочет и один остаться

боится. В колхоз он не пошел, так и живем единоличники от своих трудов. Роблю много. Така моя горькая доля, брат Ваня. А ишо случилася беда со Смирновым Николаем, за которм Елена Турова была. Я тебе сказывала, что он радио налаживал, по столбам лазал. Чё-почему, не знаю, со столба упал и насмерть разбился. У Елены одна девочка, скоро год. Она учительница в Кленовке. Пиши нам, брат Ваня, все описывай. Мы завсегда твои письма все читам. Вся родня тебе привет сказывать. И Анна сестра тоже привет шлет. У ей парень народился. Васька назвали. Мария Катаева. 28 мая 1940 года».

«Елена, проверь в военкомате, переслали ли тебе от меня аттестат. Я тебя записал как мою невесту. Ты как знашь, а мне боле некому аттестат послать. Чё деньгам пропадать. А тебе теперя одной тяжело. Отпиши, как живешь, ежели охота. А я тебе посылаю привет. Иван. Каунас. 25 июня 1940 года».

«Ваня, мне Сина Турова сказывала, что ты Елене аттестат послал. Чтобы она получала, как твоя невеста, деньги. Ты своим умом живи, но и нас слушай, мы твоя родня. Мы с Анной обе за тебя переживам. Одинова тебе уже отказали, зачем опеть стараться, как ровно наш петух возле чужой курицы. Елена уже ломоть отрезанной. Пушай за вдовца идет. Уже в Кленовке за ее учитель сватался. А ты теперя можешь за себя взять городскую, лучше того. Не бери богату, бери непочату. Пиши нам, дорогой брат Ваня. Сестры твои Маня и Анна. 19 сентября 1940 года».

«Сестрам Анне и Марии шлет привет брат Иван. Пишу вам из госпиталя в городе Саратове. Ранения у меня нет, была контузия и беспамятство. Письмо передаю с земляком города Чусового. Обещал отправить из Молотова. Поэтому опишу все

подробно. Войну я встренул на Украине. С неделю, как нас перевели из Каунаса. Еще только начали обживатьсья. Ударили крепко, я попал в окружение и выходил к своим два месяца. Из-за контузии попал в госпиталь и теперь готовлюсь вернуться в строй. Это обо мне все. Напишите мне, где Елена. Если чё знаете. Мы с ней сговорились, что она ко мне приедет по последнему адресу. Тамока большой военный городок закладывали, мне обещали хорошую квартиру, как только приедет жена. Списались в начале 41-го года. Елена обещалась приехать, как у ей кончитсья учебный год, в июне. Все ж таки хозяйство ей бросать было страшно, свекровка уговаривала. Мол, живи со мной. И ребенка подымам. Али тут в Кленовке замуж иди, как ты вдова теперя. Но Елена меня послушалась, что со мной ей будет лучше. И квартиры у меня есть, и денежное довольствие. Мы еще в 1937 году сговаривались, и я ничё не забыл, в чем ей обещалсья, все исполнил. Я ей послал на дорогу. И она написала, что поехала. Последнее письмо я в мае получил: мол, жди. Так и не знаю, куда она уехала и где теперя, жива али нет. Если чё знаете, дорогие сестры, напишите. Если встретите где, скажите, что я живой и про нее помню. Я вам вскорости пришлю номер части, куда меня определят. Брат Иван. 25 ноября 1941 года».

«Брату Ване пишут с родины сестры Маня да Анна. Радые мы были, как получили от тебя весточку. Уж думали, нету тебя в живых. Чё тамока на войне делается, кака страсть. Ты пиши чаще, чтобы мы тебя не теряли. У нас в деревне ничё нового нетука. Только женился ишо вокурат перед войной брат наш Никола. Ничё ни к чему. Взял Сину Турову. Видно, про вас, катаевских, энти туровские девки под юбкой нарощно медом мажут. У их-

то, у Туровых, теперя в деревне и нету никого, только Григорей Филиппович со старухой. Дениса Григорьевича в армию взяли. И других мужиков тоже. Дак наш Никола теперя председатель колхоза. Переехал в избу Дементя Турова, за прудом, как его забрали в 41-м годе и изба пустовала. Мы с Марией на его ругались, что на чужо добро обзарились. Его тако сердце взяло, к нам боле не ходит, и мы с им не знамсья. Вот как жить довелось с родным братом. Ты, Ваня, опеть все об Елене. Она в 41-м годе в сентябре вернулася в деревню чуть живенька. Уезжала с девкой своей малой, годе с два девчонке было. А воротилась одна. Сперва у Григория Филипповича жила, а потом уехала в школу в железнодорожный поселок. Тамока ей квартирку дали, Сина сказывала. Я с тятей ездила одинова в поселок-от в магазин, да ее и стрень на улице. Она только здрасьте-здрасьте и дале пошла. Как бы чё-то про тебя не спросить: живой, мол, али нет. Нет, ничё, ни слова не спросила. А ты все об ей переживашь. Нет, Ваня, чё из зубов выпустил, того губами не прихватишь. Бывай, Ваня, жив и здоров ради Бога. Твои сестры Маня и Анна. 19 мая 1942 года».

«Здравствуй, Ваня. Тебе с горячим приветом сестра твоя Маня Катаева. У нас в деревне нового ничё. Только забрали на войну нашего Николу. Мы с им ради этого помирились, благословили, поревели и распрощались. Увидимсья ли нет, Бог знает. Тятя плохой, лежит в лежку уже неделю. Неужто я вовсе одна остаюсья? Анна своим домом живет. У ей мужик-от то ли дурачок, то ли придурочёк, но на войну не берут. Она ишо одного родила, тоже парень. Пишет ли нет тебе Елена? А если пишет, то ты ей, Ваня, не верь. Тутока приходила ко мне Ефимья Коньшина, изба-то у ей под низом возле лога стоит. У ей сватья — поселковская.

Сказывала, что Елена робит в школе и живет с одним вакуированным. Он тоже учитель. А Марие сказывали, что он в милиции. Люди врать не будут. Пришла похоронка на Турова Дениса Григорьевича. Умер от ран 22 сентября 1943 года. Похоронен в деревне Бедрино Калининской области. Сина ревела шибко. И то жалко, хоть он нам не родня. Тягу мир с Туровыми не брал. Чё-то все ругались. А Денис был мужик хороший. Ты, нать-то, помнишь. На этом писать кончаю. Сестра твоя Маня. 8 января 1944 года».

«Здравствуй, Елена. Пишет тебе с фронта Иван Катаев. Помнишь ли ты меня? Я дак не забыл. Мне про тебя сказывала сестра Маня в письмах, что ты живешь в железнодорожном поселке и в школе учительница. Не довелось свидеться из-за войны проклятой. Маня сказывала, что ты от Бреста ехала железной дорогой на платформе до Сталинграда и потом по реке до Молотова. И все голодом. Конечно, хотя я и не виноватый, а все же это из-за меня. Я шибко винюся. И что ты переживашь по своей дочери, дак я тоже жалею. Елена, уже начал виднеться войне конец. Все же мы их пересиливам. Елена, помнишь, как мы в 1937 годе с вечерки шли и под липой возле пруда друг другу обещались. Я свои слова не забыл, а ты забыла. Конечно, раз я на войне, дак седня живой, а завтра нет. Но я остануся живой, Елена, приеду и лягу с тобой в койку. Я своим словам не изменщик. Не живи без меня ни с кем. Аттестат я тебе снова перевел. Всегда твой Иван. 24 февраля 1944 года».

На Муромской дороге
Стояли три сосны.
Мой миленький прощался
До будущей весны.



Прощался, обещался
Одну меня любить,
На дальней на сторонке
Меня не позабыть.

«Здравствуй, Иван. Пишет тебе Туров Григорий Филиппович. У нас в деревне все по-старому. Николай у Сины живой тоже, пишет ей. Кормимся от двора своего да от пчел. Я пасеку перевез в Маремьянин починок, чтобы поближе. Все лето тамока живу, а под зиму перевозжу ульи в омшаник домой, и сам — на печь. Мед продаю да меняю. Так и живем. Сине даю тоже, как она одна осталася. Не на кого мне в старости опереться. Ездил в поселок железнодорожный, мед отвозил. Был у Елены тоже. Она живет хорошо. Корову держит. У их квартирка в доме, где сельсовет, только с другой стороны. И огород есть, и сарайки. Дрова бесплатно дают, от колхоза. Так жить можно. У ей муж есть, скоро распишутся. Он в милиции робит, одной ноги до колена нету. Ты уж, Ваня, ей боле не пиши. Видно, и Богу не угодно, раз не дал вам свидеться. Туров Григорий. 15 ноября 1944 года».

«Здравствуй, Елена. Пишет тебе Иван Катаев из Германии. Вот и закончили мы войну проклятую. Я обещался тебе, что жив останусь. В войну примета была такая промеж солдат: как кто начнет рассказывать, как он после войны жить хорошо будет, так завтра и убьют. Я ни про чё не загадывал. Но я остался живой, я приеду и лягу с тобой в койку, Елена. До свидания скорого. Иван. Кенигсберг. 20 мая 1945 года».

Каким ты был, таким ты и остался,
Орел степной, казак лихой!



Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?

Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала!

— Вот, Борещька, погляди, это тятя с мамкой твои. Катаев Иван Васильич да Турова Елена Григорьевна, царство им небесное, дай им, Господи, успокоение, а уж мы их не забудем. Карточки я ихные схороняла-прятала, теперя давай вот тутока на стенку повесим. Это оне в 1937 годе, вот написано Ваниной рукой. Как сговорилися, так сходили и на карточку снялися. Это он в армии, написано — Каунас. На машинах он все ездил, шоферил. Это Елена, на учительницу выучилась, послала Ване карточку в армию. Это Иван на фронте, вишь, машина какая у его большая. Это карточка тоже оттудова, Победа. Мог в армии остаться, был бы теперя живой. Елена сказывала: иду, мол, по тракту из Турят в Кленовку. Летом в 1945 годе. Как из деревни вышла, туфельки сняла, чё их топтать-то, несу, мол, в руке. Тамока недалеко от Туренков-то до Кленовки. Ране-то было верст десять. Встречь машина идет грузовая. Уж проехала, кто-то ее скричал. Оглянулась, Ваня на ходу из кузова выскочил. С 1937 года не видалися. И как-то уговорил ее Иван, сошлися. Жили в поселке железнодорожном сначала у ей в школьной квартирке. Робить устроился в сельпо, дак Ваня парень бойкой, стал в начальниках. Она учительница. Дом построили, в поселке на краю, от Вотяцкой горы недалеко. Ты родился в 1946 годе. Я Елену-то уж на сносях видела у нас в деревне, когда Вассу

Васильевну Турову хороняли, бабушку-то твою. Зимой дело было, Елена одна приходила. (20 километров. Пешком. Зимой. Женщина беременная. — *Прим. авт.*) А у нас в ту зиму тятя простудой помер, дед-от твой, Василей Михалыч. Шубу ему заказал мужик один из Менделеева, он сшил да и понес. (50 километров в один конец. Старику 70 лет. — *Прим. авт.*) А мороз шибко стоял. На обратном пути догоняет его сельсоветская машина, шофер-то знакомой, возьми, да и посади его. Шел бы тятя пешком, дак досё жил бы. А в кабине-то простыл. Два дни на печке полежал — и хоронить пришлось.

А Елена с Ваней хорошо жили, весело, я у их сколь раз бывала. Ваня-то все песню петь любел и нас научил:

При лужке, лужке, лужке,
Во широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял по воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю.
Как споймаю, зауздаю
Шелковой уздою.
Вот споймал парень коня,
Зауздаю уздою,
Вдарил шпорами под бока —
Конь летит стрелюю.
Ты лети, лети, мой конь,
Лети, веселися,
Возле милкиных ворот,
Конь, остановися.

— К Елене бывшая свекровка приходила, Николы Смирнова мать. Заставит нужда — найдешь дорожку. Шибко гордилася, а вот чё, всех у ей трех сыновьев на войне убили. Старик помер, сама в колхозе робить не может, ложись да помирай. Просилася: возьми, мол, в няньки. Шибко просилася. А оне уже Матрене Федотовне из Малой Кленовки обещалися. Тоже одна осталася. Всех мужиков на фронт проводила. Ни один не пришел. Помнишь баушку Федотовну, водилася с тобой котора?

...А потом на Ивана чё-то написали. Анна сказывала, Еленин бывший милиционер на ее пообиделся, что с им жить не стала. И чё-то написал. Кто знат, так ли нет было. Эта сатаната усатая сколь народу заглотила, не подавилася. Чё, смотри, кака была деревня, чё нас зорить было. Их с Еленой в пятидесятом годе забрали обоих. И ни-и-чё, ни слуху, ни духу, никакой весточки.

«Катаеву Борису Ивановичу. На ваш запрос можем сообщить следующее. Ваши родители Катаевы Иван Васильевич и Елена Григорьевна погибли в 1950 году при этапировании на поселение в Тюменской области. Обстоятельства гибели и место захоронения неизвестны».

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

— Жил-жил, а в пятьдесят лет понял, что я сирота. Не хватает тоски по родителям, их лиц в прошлом, их могил. Приди ко мне, тетка Маня, хоть во сне приди, обними...

— Ну, ты, Борещька, и набаловал в гостях у тетки Анны! Тебе годов пять было. У ей гусак был серый. Большушкой, шею вытянет, дак мне выше пояса. Я гляжу: на тебя гусак бежит, крылья раскинул. Господи, кака страсть! А ты его руками за шею-то хвать! Чуть не задушил гусака-та! Мы подбежали — он уже и голову повесил. Откачали гусака, только отвернулась — ты пошел жеребенку хвостик гладить. Тот как шваркнет копытком — тебе в нос. Умыла-выгерла, посадила тебя возле крылечка на половичок играть, кияночку деревянную дала. К тебе цыпленок подошел, петушок, ты его стук кияночкой по головешке... Анна мне тут и говорит: мол, Марeya, Митрей уже кобылку в телегу запряг, дак вы и поезжайте с Богом. Выгостилися. Анна-та, царство ей небесное, скупая у нас была.

С туровской, материной, стороны навещал их с Маней дед Григорий Филиппович. Дед высокий, прямой, в аккуратной косоворотке навывпуск, подпоясанной тонким кожаным ремешком. Приносил бидон меду. Посидит недолго. Отпусти, мол, Борьку погостить. Поедут на лошадке в деревню Нижние Кизели. Недалеко. Тоже там Боря недолго погостит. Пусто в дедовом доме. Стены темные, гладкие, чисто. Книги большие, иконы, много икон. Посидят с дедом да друг на друга поглядят. Скучно Борьке у деда. Не виноват был дед, что опустел его дом, что внуки неведомо где. Дочь сгнула с Иваном Катаевым вместе, пацан растет с этой засранкой катаевской, Марией, вон у ей куры в избе. Жизнь сама по себе пошла, ничё сделать не можно, никак ее не направишь.

...А вот у тетки Сины веселее было. Это даже с дедовым домом не сравнить, как было у тетки Сины. С Шуркой они были почти ровня.

— Этот Синин Шурка себе где-ниабудь да башку сломит, — утверждала тетка Маня.

Боря смотрел Шурке в рот и ходил за ним, как хвостик. Вся скучная жизнь моментально преображалась, если ею занимался Шурка. То он делал снаряды из пыли, то шел на Маремьянин починок за пиканами, и из них получались замечательные брызгалки! Шурка научил Борьку кататься на баране. Гольшом. Борьке сначала было даже глядеть страшно, как, полулежа на спине обезумевшего барана и крепко держа его за рога, Шурка со свистом пронесся по краю лога.

— Ты, главное, не дрейфь, вбок не свались, а то попыткою попадешь. А слезать как, рога отпусти и ляг на его совсем. Он сам из-под тебя выскочит, а ты на ноги станешь.

У самого Шурки получалось блестяще. Борьке и копыткою доставалось, и синяков насшибал. Но тот, кто никогда не скакал гольшом на баране, не знает, что такое кайф.

Оглядываясь сейчас на свою жизнь, видел Борис Иванович, что всегда жил, зная, что настоящая жизнь идет где-то там, далеко. Там бы ему было интересно. Ну что интересного в поселке, в деревне! Как скучно у деда! Как тоскливо теплится пред иконами лампада, тикают часы в тишине. Все рвался к материальной обеспеченности; раз наследства нет, беднота деревенская, надо рваться-стараться. Нет наследства! А те десять десятин земли, а две мельницы, плотина, веками создававшаяся, дома... А эти неподъемные книги дедовы, староверческие рукописные книги, стопами до пояса лежавшие в чулане, стояли столько, что и в Париже хватило бы учиться. Почему при таком наследстве он стал нищим и десятки лет ютился в общагах? И кажется, что кто-то,

зная все это, уводил его, завлекая копеечными фокусами. На каждого Маркела, Боря, найдется свой нукудышник...

— Давай, Борецька, теляток сосчитам. Вчерася, ты когда ушел, я вон позатем кустом волка серого видела! Но-о, волка. Уши виднелися. А сзади хвост. Конечно, ты бы не испугался. А я одна была, без тебя, дак испугалася. Палку в его бросила. И вроде стало не видать. И, главное, Мамайко его тоже не видит. Эй, Мамайко, ну, беги, давай, волков ищи, чего разлежся! Ровня вы с Мамайкой. Ты вовсе малой был, а он — шенок. Да бойкой такой! Убежит, а ты реवेशь: Тетьманя, мамай его, мамай!

...А еще была одна зима, шуликаны были. В ту зиму был Борис, уже студент, жил в городе. Однокурсники, городские мальчишки и девочки, о деревне знали меньше, чем о какой-нибудь Австралии. Не отличали колос овса от колоса ржи. Не верили, что на елках бывают ягоды, похожие на землянику. Очень смеялись. Как и в еловые ягоды, не верили, что у колхозников не было паспортов и им не платят пенсий. Говорили: нет, ты что-то пугаешь, это рабство какое-то, не может этого быть в Советском Союзе.

Приехал в деревню на денек-другой: сессия. С утра Тетьманя, как заведенная, стряпала картовные и творожные шаньги, лазала в подпол за брагой и наказывала Боре, чтобы он всю брагу не выпил: шуликаны придут. Боря был комсомолец, Рождество не праздновал, но для шуликанов тетка всегда пекла шаньги и заранее ставила брагу. Их только не угости — всю ночь будут в доме частушки горланить, намусорят, натопчут, всяко набезобразят. И хоть какой будь год христианства и советской власти — эти бесстыжие шуликаны все равно придут в дом со своими плясками

и похабными припевками. Тётманя готовилась основательно: достала с холодного чердака сало, отрезала ломоть, подумала — добавила еще. На сметане замесила ржаное тесто, напекла пражеников, даже от круга мороженого топленого масла отрезала кусок. Борис с перепутанными после вчерашней баньки волосами валялся на печи, будто бы читая конспект, уминал шаньги и праженики и попивал бражку. Прибежала соседка, Фиска-вдова. Так в деревне ее звали за то, что мужик вечно где-то пропадал, то ли на заработках, то ли сидел. Надо, мол, нам в шуликаньё мужика, нету никого, давай быстро слезай. Тётманя и сказать ничего не успела — Борьку уташили. И только утром она его нашла спящим в баньке. Хорошо погулял, чего уж там! И банька не выстыла, вчера топлена была. Собранных по деревне шанег и браги им с Фиской хватило на всю ночь, как и свечного огарка на окошке. Фиса смеялась:

— А я ведь водилася с тобой, Бориско, не помнишь? Тебя Маня маленького еще из поселка-то привезла. Робить в колхозе надо, как она одна осталася. Вот мне тебя все и навеливат: поводися да поводися. А мне разве охота водиться-то? Сколь мне было? Может, двенадцать али тринадцать. На закорки посажу — и полетела, только головешка у тебя болтатся. А гляди какой мужик вырос, и все есть. Должен ты мне — отработывай теперя.

Сессию, правда, Боря тогда чуть не завалил, но к следующему учебному году Фиса родила Серегу.

* * *

Elena@poster.amst.ru Привет, Алёна-доченька. Мы все в делах. Ну, ты понимаешь, как все не просто с отъездом.



Отец жалуется, что руки болят. В их породе, знаешь ли, все мужики немножко со странностью. Один Сергей чего стоит. Хотя у Сереги нервозность явно от мамыши. Чего ему не хватает?! Квартиру ему администрация дала? Дала. Ну, маленькая, но ведь в наше время кто и такую-то бесплатно имеет?! Явился из деревни, ну, положим, умница, красный диплом. Так что, за это сразу все вынь и положь? Фиса и нам звонила: почему Борис сыну не помогает? Ей из деревни казалось, что мы тут — Бог знает кто. А мы сколько лет в общаге жили. И потом, Борис же с Фисой официально не были... Ну, в общем, все у Бори было дело добровольное. Как он тут крутился, это же из деревни не видать. Какие-то все запросы у них, ничем не обеспеченные. Да-да, я все не про то. Все оправдываюсь. Но на Бориса я не давлю, Алёна, не давлю. Когда собрался, тогда собрался. Тут хотя не хоти, а без вариантов. Жди. Мама. katajev@perm.ru

Что ни говори, а мы в свое время...

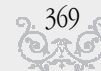
...В тридцать лет Борис жил с семьей в одной комнате в общаге, платил алименты и носил одну пару джинсов. Зубы сжав, знал, что надо всплыть. Надо. И он всплыл. А этот — сын Сергей — одет с иголки, пострижен в салоне, парфюм строго фирменный. Квартира есть, оклад — дай Бог каждому. И вот, нате вам, состояние маловменяемое, слезы-сопли — это мужик?!

— Мне тридцать три, а я — никто. Никто полное.

— Сергей, это что, повод напиться? А Юлия знает, где ты?

— Папана, мне теперя Юлька тоже никто. У нее друг. Понял?

— У всех есть друзья.



— Я ей не нужен, понял? Ей друг все сделает. А я — никто. Твой сын — полный ноль.

— А как диссертация?

— Пошла эта диссертация, пошла и расползла...

— Тихо ты, все спят уже.

— Тс-с... Все равно, пошла она. Я только вчера понял, в каком я дерьме. Я век буду сидеть, где сижу. Я... знаешь, кто я? Я у них загонщик. Знаю все досконально, все на фирме найду, все на белый свет вытащу, предъявлю и задокументирую. Молодец, Серега. Они с конвертиком — к заводу. И все проблемы рассасываются. Месяц назад проводили на пенсион нашу старую калошу, мою заводельшу. Ни хрена не знала: «Сереженька, я на тебя полностью надеюсь!» Хоть верь, хоть нет, но мне на башку посадили Эмилию Львовну Грутберг. Тебе это имя ничего не говорит? Любовница Углицкого. Калоша ей меня передала, как недвижимое имущество: «А это, Эмилия Львовна, наш Сергей Борисович. За ним вы будете как за каменной стеной!» Нет, ну быть таким идиотом, боже мой!

— Выпей чаю, успокойся. Я тебе в большой комнате постелю. Твоим позвоню. Не пугай Манечку.

— Нет, я пошел.

— Куда? Ложись давай.

— Я сказал — пошел я. Я пошел, и все. Отстань от меня!

* * *

Elena@poster.amst.ru Привет, дочура. ...Представь себе, сватья наша, Юлькина мать, вспомнила, что она... ну не повто-

рить мне, кто. У них, на Кавказе, в каждом ущелье отдельный народ. Сосланные они были в войну в Александровск. Сейчас творит черт знает что. Разводит Юльку с Серегой и только. Нашла ей какого-то своего, бизнесмена, денег немерено. Засыпал эту дурочку Юльку подарками. Серега бесится. Она же не в этой культуре воспитывалась, маменькина дочь, сидела за Сергиной спиной, только губки на него кривила. А с Манечкой что будет? Мне этот ребенок никто, и то жалко. Ты, детонька, не скучай. Мы приедем скоро. Целую. Мама. И папа. katajev@perm.ru

* * *

— Борецька, глянь-ко, уродилась кака моркови! Во тутока — нос, тутока — ручки-ножки. Чулька ажно есть, как у тебя. Тамока в грядке-то дедушко Земеля живет. Все, как надо, излаживат. Чтобы к редешным листикам редька была пристроена, а к морковной ботве — морковь. Пошутит иной раз. То калегу сделает с пивной котел, то из морковки — человечика. Это гостинец тебе от дедушки Земели. Счас вымою морковинку-о на колодце, погоди.

— Эй, Бориско, ты чё по грядкам бегашь?

— А чулька хорошо болтатся!

* * *

— Начинается регистрация билетов и оформление багажа на рейс 45—32 «Пермь—Мюнхен».

Расцвели яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

НИЩЕМУ ДУХОМ — НЕ ПОДАШЬ...

— Ну, вот и уехали... Спокойная вздохну теперя. — Анна Терентьевна отошла от окошка, задернула занавеску. — И хорошо, что уехали, устала я с имя. Все пой да пляши, сказывай да показывай имя, а силов-то уже и нету. Чо уж, вон каки года. Косточки вот заныли, спина как отнялася. Стара стала. И душа болит у меня. Достану со дна сундука четвертушку старинной шали. Красивая, в розах шаль-то. Погляжу на нее, вздохну и положу обратно. Городским шаль показала: вот, мол, в каких шальях хаживали и песни пели. Ну, так показала да и убрала. Но настрою петь в тот день вовсе не было.

Третье лето к Анне Терентьевне в деревню приезжают городские студенты с профессором. Песни слушают, расспрашивают, записывают. Живут рядом, в заброшенном покосившемся доме. Уважительно к Анне относятся. Не то что в райцентре: в магазине затолкают, а на улице только оглядывайся, как бы машиной не задавили. Анна себя, конечно, в обиду не даст, не таковская. Кто без уважения напролом прет, того и палкой огреет.

Анна и с городскими не церемонится. Девкам велит полы вымыть, парням — воды принести да в магазин в райцентр сбежать, хлебца-сахару принести, да и водочки не забыть.

В чистой избе потом все вместе сядут. Анна малость водочки хлебнет, так успевай только записывать. Всю свадьбу сыгра-

ет, как в старые-то времена игравали, от зачина до конца, всех изобразит. Вот невеста плачет, родителей спрашивает:

Ой-да, с кем вы, кормилец-батюшка
И родимая матушка,
Думали думу крепкую:
Закабалить мою буиную головушку,
Чтоб отдать меня в чужие люди.

А самой-то девке парень глянется, но порядок надо соблюдать, пореветь по тятке, по маме, чтобы тем не обидно было. Вот сестрица невестина голосит:

Ой-да, сестра моя милая,
Ты не спрашивай, я сама скажу,
Каково жить во чужих людях,
Как упаковать, уноравливать
На злодейских-то, на чужих людей!
Поутру ты вставай ранехонько,
Вечеру ложись позднехонько.

Эта сестрица замужем за хорошим мужиком, ребят народила, сама себе хозяйка в доме, а все ж надо поголосить, иначе жизнь у молодых не задастся. Уж так заведено.

Вот тысяцкому* поют звонко, весело:

Тысяцкой, ты честной человек.
Ой, тысяцкой, ой выздымайся, ой выздымайся,

* Тысяцкий — здесь: дружка жениха на свадьбе, распорядитель всего обряда. — *Прим. ред.*

Ты за свой-от карман ухватайся, ой ухватайся.
Во кармане казна шевелитца, ой шевелитца,
На рёбрушки становитца, ой становитца,
На подарочки норовитца, ой норовитца.

А тысяцкий — парень бойкий, девкам пряники раздаёт, если у него «во кармане казна шевелится и на рёбрушко становится».

Слабый голос Анны дребезжит, а иной раз и повизгивает. Но она слышит не себя, это ведь не ее, а другой, чистый ясный голос, ровно струночка:

Не было ветров — вдруг навинуло,
Не было гостей — вдруг наехало.
Полный двор вороных коней,
Полный дом молодых гостей...

Это сестры Мелитина да Маремьяна кержацкую свадьбу опевают.

У Маремьяны голос грудной, сочный — голосистой девка уродилась. Это она все тысяцкому-то петь любила: «Ах, тысяцкой, ты честной человек...»

Но ведь как иной раз бывает? Слушаешь с удовольствием, думаешь: ох, красиво поет, и песня красивая. А Маремьяну слышишь, так только и звучит где-то в душе: как жить-то хорошо на белом свете, Господи... Радость-то какая... И тысяцкому, парню молодому, казны не жаль: нате, девки, для таковой-то радости чего пожалеешь!

А Мелитина, младшая, сама будто струночка тонкая, и голос чистый, ясный: «Не было ветров — вдруг навинуло...»

Отчего у всех слезы на глазах? Откуда в девичьем голосе эта тревога среди дня светлого? Ревет и белобрысая Анька за высоким забором. Хочется ей и на невесту поглядеть, и на бойкого красавца тысяцкого. Как они там друг перед дружкой красуются на широком дворе. Как бражкой потчуют — водку кержаки никогда и в рот не брали. Да что увидишь из-за забора?! Богатая деревня их кержацкая была по-над прудом, мельница стояла на плотине.

Богато-то как кержаки жили, никого не звали к себе, даже и поглядеть. Скупые до чего — нищего даже близко к деревне не подпустят, бывало; так те и не заходили никогда. Занозисты, заносчивы были кержаки. Никто-то им не ровня. Гоститься, родниться ли, торговать — все только со своими. Свадьбу, вспоминается Анне, если и увидишь, так только когда на тройках ко сватам или от сватов едут. Звон колокольников да песни далеко окрест слышно. Чтоб на свадьбу кого из чужих позвать? Уж это никогда.

Маремьяны вскоре не стало видно в деревне, наверное, замуж далеко отдали. А голос Мелитины звучал долго, стал глубже и сильнее, да только тревога в нем росла, как чуяла что-то сероглазая певунья...

— Вот за гордыню за вашу так вам и досталось, — сердито шепчет Анна Трифоновна. И детская обида, как будто вчера было, опять подступает слезами.

Сложнейшие философские вопросы мучают не только высокие умы. Что есть справедливость? Хладнокровно соберет ссылки философ: и такой поход есть, и этакий. А безголосая Анна плачет, не понимая, почему у Мелитины есть

все: и голосище, и дом, и мельница. А у нее, у Анны, — ничего! Но ведь нищему духом не подашь, а их так много, нищих, и так мало тех, кому Бог дал. Ведь это же ты, Господи, даешь талант трудиться согласно, силу порой немереную даешь или дивный голос... И если ты, Господи, назвал гордыню грехом, укажи одаренным тобою, как не грешить?! Как подать?! Ответа не было и нет. Нищие духом сами решают этот вопрос.

— И ни-и-чегошеньки от их богатства не осталось. Как ровно большую сосну молоньей в мелкие шепки разбило и чисто всю разметало... Тогда, в тридцатом годе, вся беднота сбежалася. Кержаков раскулачивали. Мужики каките с ружьями из района явились, растрясали кержацки сундуки.

И верно, что:

Не было ветров — вдруг навинуло,
Не было гостей — вдруг наехало.
Полный двор вороньих коней,
Полный дом молодых гостей...

Босота обулась, простоволосые оплатались. Шали-то какие богатые у кержачек были! Анька сама-то малая была еще тогда, а мамка ее бегала делить. Бойкая баба была, царство ей небесное. У Мани-комиссарихи — так ее в деревне прозвали — мужик был никакой не комиссар, а конюх у председателя сельсовета. Так она домой одну шаль принесла, развернула. Анька и ум потеряла: это кому?!

— Да мне! Чё, имя — всё, а нам — ничё?!

Кержацкие шали начетвёро бедные девки разрывали да носили. Иные старухи из кержачек уцелели, жили в своих же баньках или на пасеках. Злобились на бойкую бедноту:

— У! Кансамолки, чтоб вас!

Анна не была «кансамолкой», ей и от матери досталось мало: четвертушка шали с розами — богатая шаль была у Мелитины. Саму-то певунью с малыми ребятами и старыми свекрами увезли под зиму неведомо куда. И ни слуху ни духу потом о них. Мельницу их разорили, плотину промыло, пруд ушел. Дома по бревнышку раскатали, расташили. Уж лес высокий на месте деревни вырос. Как и не было ее никогда, деревни-то. Что и осталось — песни в памяти старой Анны. Некому петь стало и слушать некому.

Анна разок только в молодости надела ту красивую шаль, но как-то тягостно стало ее носить, совестно. А потом, как пошли ребята, да работа, да война... Не до шалей, не до песен. Только вот в старости и запела. Городские на нее наткнулись: какие, спрашивают, песни раньше играли, знаешь?

— Как не знать?! Много я слыховала. Ране-то, бывало, две деревни кержацкие друг напротив дружки по речке сядут да и поют целой вечер — кто кого перепоеет. И бабы поют, и мужики. Стройно да ладно, так, что всем завидно.

Все-то это она помнила всю жизнь, и все песни, до последней словечка. Но вот голоса, как у Мелитины, Бог не дал. Раньше-то ее и слушать бы никто не стал. Городские-то, они и не слышали ничего, они и этому рады...

А душа болит, совестно. Как в молодости, когда надела однажды четвертушку чужой шали.

И В МИРЕ НОВОМ ДРУГ ДРУГА ОНИ НЕ УЗНАЛИ...

Здравствуйте, уважаемые земляки. Я, Туров Дмитрий Дементьевич, уроженец деревни Верхние Кизели, ишу своих родственников.

Нашу семью раскулачили перед самой войной. Отец мне рассказывал, что его оклеветали, чтобы посадить как зажиточного мельника. Сослали в Бийск. Зимой штыками выкинули людей из вагонов. 500 семей. Отец рогатиной убил медведя в берлоге. Ложками вырыли в берлоге землянку и в ней зимовали. Медведя съели, а шкурой укрывались. Из 500 семей выжило около 5 семей. Из детей выжили в ссылке двое: я, самый младший, и мой старший брат Михаил.

«Ямщики к власти пришли», — так мама говорила. Из ссылки вернулись, нам еще повезло. Жили в Очере, чтобы не быть в колхозе.

Пока жили в Очере, к нам приходил периодически милиционер. Проходил в комнату, ступая сапогами по белоснежным, отдраенным доскам пола. Садился, выпивал стакан кумышки. И уходил. Причем приходил по одной половице, а уходил по другой. Как уйдет, мама хватает вехоть, мне в руки терку, и мы драим пол. Чистота была.

Отцу пришлось вступить в партию. Ему поставили условие: сжечь книги и иконы. Сжег во дворе, напившись перед этим вусмерть. А мама бегала по избе и крестилась, молилась.

Из Очера семья в течение 1 года 9 месяцев в полном составе колесила по Союзу в поисках работы и постоянного приста-

нища (ст. Ачинск Красноярского края, г. Ташкент, Еманжелинские копи).

В конце концов семья переехала в Свердловск на строящийся Уралмашзавод, где отец начал работать в сталелитейном цехе старшим инструментальщиком. Мама через некоторое время также поступила на Уралмашзавод и в качестве старшей табельщицы проработала там до конца сороковых годов.

Отец, не имея никакого образования (не учился в школе ни одного дня), во время работы на Уралмаше был активным рационализатором и изобретателем. За что неоднократно (не менее 7 раз) поощрялся, в том числе и материально, администрацией сталелитейного цеха и завода.

Эти данные написаны по воспоминаниям отца и его записям. Отец скончался в 1985 году.

Мама прожила 75 лет, вырастила трех из рожденных ею семерых детей.

В их числе и я, Туров Дмитрий Дементьевич, родился в 1934 году. Окончил Уральский госуниверситет. Доктор физико-математических наук, профессор. Награжден орденами и медалями Советского Союза и РФ. Работаю и до настоящего времени, проживаю в г. Томске. Сын с внуками — в Москве.

Наша семья никогда не искала родственников из Верхних Кизелей. Вначале отец опасался преследований. Потом уже думал о нас, чтобы у нас не было помех в получении образования. Я всю жизнь проработал по очень закрытой (то есть секретной) тематике, тоже приходилось думать о родителях. Да и занят был всегда, не до воспоминаний и поисков мне было, честно говоря. Теперь все секреты уже позади, а годы поджимают. Ехать уже

не позволяет возраст. Хочется найти хоть кого-нибудь из родни, оставить фотографии, память о нас.

Если в деревне есть Туровы, отзовитесь. Март, 2004 год».

Это письмо с адресом: Пермская область, Большесосновский район, деревня Верхние Кизели, Туровым — вернулось к адресату нераспечатанным. С пометкой на конверте, что жители с такой фамилией в деревне Верхние Кизели не проживают.

Сосланные или бежавшие, зацепившиеся в большом городе кое-как, о прошлом вспоминать не хотели и родни не искали. И даже, когда случалось писать о месте рождения, стыдились скромного названия деревушки. Время прошло, у кого-то заняло сердце воспоминаниями, оглянулся человек — а деревни дедовой уже и нет, только пустое место, подернутое редколесьем...

* * *

turova@perm.ru «Здравствуйте! Моя бабушка в 30-е годы уехала из деревни и купила домик в Перми. Турова Надежда Терентьевна проживала по адресу: Пермь, ул. Камышловская, д. 20. Может, подскажите, из какой деревни она могла приехать в город? Может, найдется кто из родственников? Ирина. Санкт-Петербург». kri-lazar@yandex.ru

* * *

turova@perm.ru «Здравствуйте! Сегодня на даче мама показала мне статью в газете и спросила, указав на Вашу фотографию, кого мне напоминает эта женщина. Вы знаете, честно говоря, в лице женщины я увидела и черты своей матери в молодости, и свою тетку, старшую сестру мамы, и свою двоюродную сестру. Это очень заинтересовало меня, тогда мама открыла текст, в ко-

тором я прочла фамилию «Турова». Сродную сестру моего деда по линии мамы тоже звали Евдокия, а самого деда — Степан Андреевич Туров. Он был уроженцем Оханского района, деревни Турята. Может быть, мы с Вами не просто однофамильцы? Наша семья после коллективизации растеряла многие родственные связи. Судя по рассказам мамы, Вы можете оказаться ее двоюродной сестрой. Простите меня за такую дерзость, но очень хочется верить, что это так. С уважением Татьяна С. Пермь». tanasol@rambler.ru

* * *

turova@perm.ru «Здравствуйте! Прочтение Ваших рассказов вызвало противоречивые чувства. У Вас светское, нецерковное понимание православия вообще и русского древлеправославия в частности. Вы пишете, что староверов объединяет культура. И тут Вы глубоко ошибаетесь. Староверов объединяет только история и больше ничего! Культура староверов-крестьян заметно отличалась от культуры староверов-купцов, последняя же — от современной городской старообрядческой культуры. Да и конфессиональный момент принципиально важен в культурологическом плане.

Беспоповцы появились не в результате нехватки попов, а в результате открытого нежелания их у себя иметь. С часовенными вопрос сложнее. Сначала они были в составе поповства, но потом вообразили, что достойных попов нет, и стали фактически беспоповцами. Хотя до сих пор надеются найти достойное священство.

Прения о вере между поповцами и беспоповцами идут с разной интенсивностью уже несколько сотен лет, и это нормальное состояние для всех старообрядческих течений. Раньше

одна деревня ездил в другую, везли целый воз старопечатных книг и спорили, спорили, спорили... Духовную жизнь староверов невозможно понять вне контекста этих споров. Вам еще многое предстоит понять. Желаю творческих успехов. Юрий Л-в, г. Пермь». lokutov@mail.ru

* * *

turova@perm.ru «Здравствуйте! Я — Юрков Даниил Никитич. Читал Ваши рассказы о кержаках, размещенные на сайте Пермского литературного центра. Сам я происхожу из кержачкой семьи, поэтому тема меня интересует.

Про предков своих знаю немного. Мой прадед Юрков Григорий Михайлович родился в 1883 году, предположительно, в селе Богородское (теперь Фоки) Осинского уезда Пермской губернии в старообрядческой семье. Когда женился, переехал к жене Юрковой (Русиновой) Павлинье Ивановне в деревню Маракуши Богородского сельского общества Богородской волости Осинского уезда. Там родились все их дети: Екатерина (1906), Анна (1908), Домна (1912), Аксинья (1914), Кондратий (1916), Сергей (1918), Дора (1922), Федул (1924), Терентий (1926), Пелагея (1928). Из десяти детей двое, Екатерина и Федул, умерли во младенчестве.

Григорий Михайлович участвовал в Первой мировой войне, был контужен, награжден двумя Георгиевскими крестами. В 1917 году вернулся в свою деревню. Во время Гражданской войны отступал с Колчаком в Сибирь, потом вернулся домой. В 1929—1930 годах, когда началась коллективизация, уехал на Алтай, потом перевез туда всю семью. После окончания Второй мировой войны вернулся на Урал, в город Кизел Пермской области. Я родился в 1978 году и своего прадеда никогда не видел.

Мой дед Сергей Григорьевич родился в 1918 году. После переезда семьи на Алтай поступил в художественное училище в городе Ойрот-тура (теперь Горно-Алтайск). Когда начались волнения местного населения — алтайцев, был из этого училища отчислен, так как был русским, а алтайцы решили, что учиться в нем могут только алтайские ребята. Поэтому его отдали в помощники печнику. Печник проверял состояние печей в доме, а мой дед лез на крышу и проверял трубу.

Служил он во Владивостоке на Тихоокеанском флоте на подводной лодке типа «Щ», участвовал в боевых походах. Мне ничего о войне не рассказывал. Вернулся мой дед в город Кизел Пермской области. Совместными усилиями был поставлен свой дом на окраине Кизела.

Если мой прадед был стопроцентный кержак, не пил, не курил, бороду не брил, то моего деда уже нельзя назвать старообрядцем и кержаком, он курил, бороду брил, позволял себе выпить, правда немного, свою меру знал. Очень любил читать. Мастер был на все руки. По-моему, он умел все. Он хорошо знал крестьянское дело: дома держали корову, поросят, кроликов, нутрий, куриц. Дед читал журналы про передовые методы хозяйствования и применял их.

Дом делали сами, и все работы по постройке дома он делал сам. Сам он умел класть печи (обучился у того печника), сделал себе в доме, своим сыновьям и сделал многим на заказ. Он умел шить обувь. И у него были все приспособления для этого: всякие шила, дратвы, колодки и прочее. Если бы в магазинах обуви не было бы, то он мог и с нуля бы обувь сделать, но то, что я видел, это был либо крупный и мелкий ремонт, или изготов-

ление унт, подшивка валенок. Унты в наших холодных местах всегда пользовались популярностью. Дед переделывал кирзовые сапоги на унты. Оставлял юфтевый носок, делал меховое голенище, утеплял подошву и внутри. Мех был свой, но мог сделать и из материала заказчика. Также он шил меховые шапки, тулупы. Всю работу по выделке шкур тоже делал сам. То есть все, что нужно было крестьянской семье, он мог сделать сам и не считал это чем-то особенным. По его понятиям, это должен был делать каждый, наверняка его отец имел даже больше специальностей.

По воспоминаниям моего деда, когда ему было лет шесть-семь, его отец (мой прадед) сделал ему маленькую косу, и он косил на покосе, как и взрослые, почти ничем не отличаясь. Естественно, пользы от него было не так много, но важно другое — что с малых лет работаешь, как все. Наверняка обучение другим специальностям и навыкам происходило по такому же принципу.

Еще он вспоминал, как у них в деревне разводили кроликов, когда он был маленьким. Не так, как он разводил: в клетках, с автопоилками и прочими современными штучками, — а проще и эффективней: осенью ставили в огороде стог сена, заводили туда крола с крольчихой, и весной кроликов там было не считано. Рассказывал, как они собирали грибы, тоже не как современные грибники — с рюкзаком и двумя корзинами. За грибами ездили на лошади, уходили в лес утром, к вечеру набирали грибов на целую подводу с верхом.

Моего отца ребята в их поселке иногда дразнили «Никитка-кержак», но ни ребята, ни отец не понимали, что такое «кержак». Те думали, что это что-то обидное, а отец не понимал, стоит ли

ему обижаться или нет. И, конечно, в полном смысле он кержачком уже не был.

А вот дочери моего прадеда были очень верующими. Но я с ними встречался крайне редко и мало чего могу про них рассказать. Фотографии моего деда и прадеда сохранились у родственников в семейных архивах, я спрашиваю у них: может, там есть что-то интересное. И тогда пришло.

О себе. Я родился 6 февраля 1978 года в Перми. В 2001 году закончил Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана, а затем Финансовую академию при Правительстве РФ (финансы и кредит). В настоящее время работаю и живу в Москве. Отец, Юрков Никита Сергеевич, входит в состав правления Пермского землячества.

Пермское землячество — это объединение пермяков, живущих вне Прикамья, в первую очередь в Москве. Важной задачей землячества является оказание содействия развитию Пермского края, продвижению интересов и имиджа региона на федеральном уровне.

Юрков Даниил Никитич». urkov_dn@nomo.ru

* * *

История разорвала на мелкие кусочки мощный родовой ствол кержачества, разметала в разные стороны. Родня потерянная, может, рядом совсем жила, но в мире новом друг друга

они так и не узнали. Вспомнят ли

хоть что-то, узнают ли —

Бог весть...



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРМЬ — ЭТО РАЙ!

Миллионный город живет своими повседневными делами и заботами, радуется летнему теплу и редко заглядывает в телевизор. Впитывать политические новости и я не любительница, но несколько дней с напряженным вниманием всматривалась в кадры хроники «андижанского мятежа» в Узбекистане. Горит здание областной администрации, знакомое здание, бывала я там когда-то... Еще показывают фасад с колоннами — это вокзал. Зрителю кажется, что он видит фрагменты большого города. Я же дивлюсь мастерству операторов. А произошедшему там не удивляюсь. Вспоминаю, что бессмертную фразу «Пермь — это рай» услышала когда-то именно там.

И вы хотите понять, что Пермь — это рай? Тогда вернитесь в СССР, в семидесятые годы, и 20-летней девчонкой с паспортом без прописки поезжайте в глухую узбекскую деревню учительницей. Нет, вы вернитесь и поезжайте!

...Хороша Ферганская долина, когда турист смотрит на нее с обьездной дороги, идущей по предгорьям! Жемчужина, воистину жемчужина! Но картина разительно меняется, когда оказываешься внизу и ты не турист...

Это называлось распределением выпускников университета. Хочешь не хочешь, а езжай. «Изучу язык, буду нести людям русскую и европейскую культуру», — решила я и, набив чемодан книгами по иконописи и альбомами с Матиссом, тронулась в путь. Несчастные родители рыдали, как на похоронах, а я была тверда и спокойна, и дали будущего рисовались мне только в голубых и розовых красках.

Будущее настало на следующее же утро. Человек я была, мягко говоря, непрактичный и билет закомпостировала только до города Свердловска. Там следовало пересест на поезд до Оренбурга. И достался мне билет в общий вагон веселого поезда «Свердловск — Оренбург». Посадка — ну точно двадцатые годы: толпа, мешки, сумки, визг и вопли. Меня зажали, притиснули к высоченным ступенькам вагона. Громадный чемодан отрывал руки, вдобавок раскрылась сумочка, и вот-вот под ноги толпе посыплются мои документы и деньги, а меня сомнут и растопчут. Я закрыла глаза. Наступал мой последний миг. Видимо, я заорала. Вдруг толпа отхлынула, неведомая сила вознесла меня вместе с чемоданом в вагон и закинула на верхнюю полку.

Через какое-то время мне стало понятно, что просто не существует материалистического объяснения тому, как я вообще не сгнула в этом узбекском путешествии. Зато очень даже видится, что будто некий Всевышний наблюдал сверху за всей этой эпопеей. Может, так развлекался. И всякий раз, когда забавлявший его мураш начинал погибать, направлял на помощь своего сотрудника, экипировав его соответствующим образом.

Фантазия Верховного Покровителя границ, конечно, не имела. В этот раз ангел-хранитель явился в облике маленького, худого, очень коротко остриженного и очень шустрого парня с полным набором железных зубов во рту. Руки у него были какие-то непропорционально длинные, жилистые и покрытые синими татуировками. В вагон он спокойно проник через окно. Никакое имущество его не обременяло. Вот то есть совершенно никакое. Видимо, он считал, что имущество вообще осложняет жизнь людям, а поэтому по мере возможности им эту сторону жизни, имущественную, облегчал.

«Цыг — сказал он битком набитому вагону, и вагон в ужасе умолк. — Эта полка — моя, а эта — ее». И, ткнув в мою сторону грязным пальцем, исчез на несколько часов. В отсутствие непосредственной угрозы обыватели осмелели и начали, косясь на меня, обличать «некоторых противных девок, которые вот с такими вот уголовниками связываются. И еще ведь едут себе, полеживая на полках, когда тут матерям с детьми сесть некуда». Я сползла вниз и приткнулась в уголок, а на полку тут же впихалось человек пять.

Спаситель появился, неся два матраса и сумку со снедью. Полка очистилась сама собой, и мне пришлось снова туда забраться. «Ешь», — приказал парень, достав жареную курицу и помидоры. От мысли, что я ем ворованное, в горле поднималась тошнота. Поезд тащился со скоростью пешехода, в вагоне — ни проводника, ни милиции. Поев, парень пришел в благодушное настроение. «Люблю комфорт! — сказал он, вытянувшись на матрасе. — А ты кто такая, куда пилишь, подруга? В Узбекистан?

Ты чего там потеряла?» И что вот прикажете ему объяснять? Про Матисса? Про язык и культуру?

Парень про Узбекистан знал гораздо больше меня.

— По делам я там часто бываю. Вот по этой ветке, до самого Оша.

На все культурно-политические акции советской власти в Узбекистане у него тоже был свой взгляд:

— Мне тамошних мужиков жалко. Вот мы с тобой, к примеру, встретились, горячо полюбили друг друга, запросто могли бы пожениться, если бы у меня, конечно, паспорт был. А их женят всех поговору, как родители решат. Раньше он, мужик-то узбекский, как постарше станет, мог себе любимую жену купить, а теперь — шиш: русские многоженство запретили. Бабы все ходят тюлем обмотанные — сама увидишь. Паранджу им русские сняли, так они тюль на морды намотали. Как только у девки это, ну сама знаешь что, начинается, родители ее туг же — в тюль. Иначе девку не продашь. И вот он, узбек-то, не только что с одной женой всю жизнь жить должен, но всю жизнь одну только эту бабскую физиономию видеть! Ты прикинь, это — жизнь?! Потому они на русских и злые, узбеки-то. Не, ты туда не ездил, — решил в конце концов парень. — Я тебе точно говорю: узбеку достанешься — тебя оттуда не выпустят. Ты вот что, ты со мной поедешь. У меня, правда, есть невеста, я вот только фотку ее потерял вчера. Она меня любит — не описать. И я ее, вообще-то, люблю, мне только внешность ее не нравится. Маленькая она, понимаешь, а я высоких девушек очень люблю. У меня еще никогда большой бабы не было. И мне очень нравится,

что ты такая большая. Решено — со мной поедешь. Со мной тебе лучше будет, чем с узбеком.

За окном поплыл вокзальный перрон, замелькали люди с чемоданами. «Милиции-то сколько!» — заговорили в вагоне. «Видно, проверка будет. И правильно, а то развелось тут всяких...» Парень выглянул в окно. «Ты вот что, ты меня на вокзале дожидайся», — сказал он и растворился в спертом воздухе поезда. Как будто и в самом деле верховный режиссер убрал со сцены актера, который уже сыграл свою роль.

Не посвященная в божественный сценарий, я поспешила покинуть место действия с максимально возможной скоростью. Промчавшись сквозь толпу, я улетела на вокзал и закомпостировала билет в купейный вагон скорого поезда «Москва — Ташкент». До отхода поезда, трясясь, я проторчала в женском туалете. Опасения, видимо, были напрасными: спаситель мой не появился. Хочется думать, что в это время он уже сидел в своей небесной гримерке, стирал татуаж, прилаживал обратно нимб и травил анекдоты собратям по ремеслу: ведь он ангел-хранитель. Он свое дело сделал, а я понеслась навстречу судьбе с еще большей скоростью.

В поезде соседом напротив был молодой туркмен, с четвертого курса МГИМО. Тонкое породистое лицо. Пушкин на фарси наизусть — страницами. У него практика только что закончилась в Париже, в представительстве ЮНЕСКО по странам Востока. Наконец-то, вот оно — культура древнего мира и интеллектуальная высота. Не ударяя в грязь лицом, я цитирую Хайяма. Но парню что-то не до Хайяма.

— Я домой еду, в Ашхабад. Знаешь зачем? — Парень был явно и радостно взволнован. — С невестой знакомиться, родители посватали. Представляешь, ее отец — замминистра! В МИДе! Мой отец там рядовой сотрудник, а она — дочь замминистра! Дочь замминистра!

Подъезжаем к Ташкенту. Парень выглянул в окно и просто скончался от счастья.

— Посмотри, меня уже встречают по статусу зятя замминистра!!!

На перроне будущего зятя замминистра братской республики ждала черная «Волга».

Да уж, тонкое это дело — Восток!

Прибываю в Андижан. Воскресенье. Учреждения, конечно, не работают. Надо искать ночлег, то есть ехать в город. А где, собственно, город-то? Вижу лишь высоченные дувалы да арыки. Очень похоже на декорации. Оглядываюсь — ни единого русского лица. Ни единого! Старики на осликах, стайки детей, женщины, закутанные до глаз в белые тюлевые покрывала. И я, как глухонемая, пытаюсь что-то вызнать, маячу, показываю на чемодан — в ответ только отрицательное качание головой.

Администраторша единственной в городе гостиницы с ходу дает мне от ворот поворот:

— Поселить не могу, поскольку в паспорте нет прописки.

— Но я же... Да как же... Да мне только переночевать...

— Никак не возможно — и все тут.

Сажу со своим чемоданищем в холле, за окном начинается темнота, податься мне некуда. Внимательно читавший

газетку узбекский джентльмен любезно поинтересовался, не хочет ли девушка отдохнуть в его номере. Другие узбекские джентльмены, тоже читавшие газетки в холле, тут же отложили их в сторону. Остро ощутилось, что я, по их меркам, просто совсем голая. «Не выпустят тебя оттуда», — пронеслись в голове слова давешнего спасителя.

Это становилось самой что ни на есть реальной действительностью. Очень и очень было похоже: сгину посреди этих дувалов — и никто не узнает. Душа моя замерла в отчаянии, сердце сжалось от ужаса. Тут верховный режиссер, видимо, снова решил, что уже пора вмешаться. Дверь гостиницы с грохотом раскрылась, и целая орава ангелов-спасителей ввалилась в холл. На сей раз они были замаскированы под футбольную команду ташкентского СКА, якобы приехавшую в Андижан на игру. Мое отчаянное положение они увидели сразу же, и вопрос, представьте себе, сразу же и решился: место я получила!

Оказалось, что хороший номер для меня есть: двухместный, с удобствами. Соседка Тамара, русская женщина средних лет, разбирала на столе свои деловые бумаги и документы. Она научный сотрудник ташкентского НИИ, здесь в командировке, завтра полно дел. От моего появления не в восторге.

Еле я успела смыть с себя железнодорожную грязь — в дверь стучат и меня зовут зачем-то к администратору. Не ожидая ничего хорошего, ползу вниз. Возле администратора, свешиваясь всем телом со стула, сидит жирный

милиционер-узбек и держит в руке мой злополучный паспорт без прописки.

— Без прописки никак нэльзя!

— Да я же только до утра... Да я же ваших детей учить буду!

— Нэльзя!

— Посмотрите, уже ночь. Куда я денусь?!

— Нэльзя!

За окном крошечная темнота, в холле все те же джентльмены, и, судя по всему, они в курсе дел.

Уливаясь слезами, собираю в номере вещи. Тамара подняла голову от бумаг:

— Сиди тут и жди меня, никуда не выходи!

Очень быстро куда-то сходила, вернувшись, коротко бросила:

— Сходи еще раз, там все в порядке.

И снова углубилась в бумаги. Тот же самый толстый милиционер встретил меня как родную. Он сиял всей своей жирной мордой, радовался, что я буду учить детей, зазывал останавливаться в гостинице снова и снова. Я бы даже сказала, что он как будто бы извинялся, ну уж насколько он вообще на это был способен. Джентльменов из холла как ветром сдуло; видимо, Тамара как-то пригрозила этой своре. Вникать в нюансы не было сил, я сразу же кинулась в постель и уснула мертвым сном. А наутро проснулась в пустом номере.

Для следующей сцены понадобятся декорации, изображающие местную автостанцию. Получив направление, пытаюсь уехать в свою деревенскую школу. Площадь-пяточок, кругом только высоченные дувалы. Жара. Действующие лица все

те же: старики на осликах и без них, стайки детей да белые мумии женщин, закутанных в тюли. И еще раз жара. Кого узбекская жара ни разу не колотила по башке, тому этого не объяснишь. Снуют мальчишки, предлагая утолить жажду каким-то белым напитком. Из одного ведра и одной кружкой. Желющие утоляют. Само здание с ржавой вывеской «Автостанция» закрыто, окошко кассы заколочено. (Как я потом узнала, шоферы не могли взять в толк, как это они будут пассажиров возить, а брать с них ничего не будут. Право брать тут желанно и свято.)

Ни расписания, ни каких-то иных обозначений нигде найти не могу. В ответ на мои вопросы — все то же отрицательное покачивание головой. Между прочим, я ничего не ела и не пила около суток. В какую чайхану ни сунусь, везде одни узбекские джентльмены. Узбекистан уже чудится мне кошмарным сном, от которого очень хочется проснуться. Да еще этот чертов тяжеленный чемодан — так и подмывает выкинуть всех Матиссов в арык. Ну куда же мне ехать-то, гос-споди! Села на свои культурные ценности, гибну, жду акции свыше. Что мне еще остается?!

Очередного спасителя Всевышнему пришлось соткать прямо из знойного узбекского воздуха. Невысокий лысоватый милиционер Володя, каких тысячи в русских городах, акцию провел в высшей степени ответственно и квалифицированно. По приезде на место первым делом как следует накормил меня в самой большой чайхане. Потом взял в отделении милиции мотоцикл с коляской и повозил по округе.

— Местные будут знать, — такое было дано пояснение: слова Володя экономил. Напоследок дал листочек с номером телефона, оглядел с ног до головы, вздохнул:

— Оборку хоть пришей.

Взял под козырек и убыл по начальству.

Слава тебе Господи, нашла я ту школу, куда меня направили. Радости там особой никто не изобразил, и на то оказались потом свои причины. Но тем не менее дали ключи от школьного пристроя, где жили молодые учительницы. Только я кинула свой чемодан проклятый, как услышала:

— Девочка, ты что, учительница новая?

В дверях стояла толстая брюнетка в полосатом узбекском платье. Так я познакомилась с Риммой, мамой Римой. За высоким дувалом в малюсеньком садике мамы Римы размещался рай. Там было прохладно в тени винограда, там на верандочке всегда был чай с лепешками, а также бесконечные монологи мамы Римы.

— Мы, деточка, жили подо Львовом, там поселок был, он к Польше относился. Но в тридцать девятом году все перемешалось: пришли русские войска, сказали, что мы теперь в России. Мой папа был портной, а мама была красавица. У нас, евреев, очень, деточка, красивые женщины. И вы ведь знаете, конечно, нашу знаменитую еврейку Плисецкую? Так вот, любая еврейка под одеялом — Плисецкая! Перед приходом русских у нас многие, кто побогаче, уехали на запад, в Польшу. Они все там потом погибли: их поляки немцам выдали. Когда в сорок первом начались эти страшные немецкие

бомбежки, мы поехали с эшелонам русских на восток. На открытой платформе, все вместе: папа, мама, братишка и я. И дождь, и копоть паровозная, мы все были черные-черные. Это страшно вспоминать, деточка. Я ведь очень долго потом ничего не помнила, не слышала и забыла, как говорить. А потом начала вспоминать и плакать. Все мои остались там в степи... Бомбили, все горело, и люди горели... Я оглохла и долго еще была как бы дурочка, не понимала, где я и кто. Очнулась уж в детдоме, в Андижане. Тут вот и довел Бог жизнь прожить. И сама за узбека вышла, и уж дочерей за узбеков выдала. Если бы я сейчас где-нибудь увидела хоть какую-нибудь противную губастую еврейскую физиономию, я бы ее всю общеловала, с ног до головы. И ты сама видишь, деточка, Бог специально дал мне дочерей! Мы им тут, по крайней мере, делаем из узбеков евреев!

Я, конечно, далека от мысли, что покровительствовать какой-то ничтожной дурочке Господь выслал маму-еврейку, но факт остается фактом: еврейка-мама была вместе с кусочком рая.

Работой в школе меня все никак не нагружали и не нагружали. Делать было нечего, абсолютно. Среди тесных деревенских улочек и высоких дувалов только рынок был просторным и веселым местом. Горы дынь и лука, невероятно дешевые роскошные помидоры и виноград, верблюды и ослики, шум и гам. Я даже подружилась с деревенскими стариками, которые целыми днями сидели возле своих громадных гор, насыпанных прямо на земле. Сначала боялась их внимательных взглядов, думала, осуждают за оголенные тела. Но как-то

один из стариков, самый бойкий, похожий на Ходжу Насредина, подозвал:

— Иди сюда, золотая рыбка!

Порылся в своей груди и подал нечто невиданное: зеленое, как арбуз, но ребристое.

— Замечательный дынь, ханский называется. Куший, золотая рыбка!

Нигде я таких удивительных дынь больше даже и не видела. Заметив орденскую колодку на толстом полосатом халате, я спросила, где он воевал.

— Нигде не воеваль. Защим мне воевать? Я войну не объявляль. На пограничной заставе, вон там в горах, служиль. Начальник меня так ругаль: я стрелять не умель, по-русски не говорил. На кухню послаль. Повар я служиль. Ошинь все былль довольный. Они до меня только сухарь ель! Я барашка досталь, лагман сделал, пилав сделал, очинь-очинь все довольный былль. Медаль даль, дыва!

С тем Насреддином мы потом частенько болтали, и окружающие старики завидовали бойкому Ходже, который опять оказался хитрее всех.

Через недельку со скуки рискнула выехать в город. Цена удовольствия — полчаса в жуткой, невероятной вони автобуса. (Узбечки моют волосы кислым молоком, а свои шелковые полосатые штаны не меняют никогда в жизни...) Обойдя две городские площади по периметру и обнаружив далее все те же дувалы, засобиравшись домой. Вместе со стайкой тюлевых мумий жду автобус. Показывается долгожданный, народ высаживает. А садить пассажиров почему-то не хочет.

Шофер, высунувшись, что-то объяснил узбечкам, и тюлевые мумии разбрелись кто куда. Подхожу, маячу шоферу: дескать, поехали, чего ты, двери открывай! Со мной шофер изъяснился по-русски:

— Автобус не пойдет. Сегодня не пойдет и еще три дня не пойдет. Панимашь, брата женю. Большая свадьба будет. Гостей надо возить. Чего ты возмущаешься? Ты что, не понимаешь: свадьба будет! И мой автобус будет гостей возить, и тот, что до Оша ходит, тоже будет возить, на нем мой другой брат ездит. Очень большой свадьба у нас будет!

Все. Три дня мне деревни не видать. В городе меня никто не возьмет в гостиницу: у меня нет ни документов, ни денег. Кто ж знал-то?! Опять погибаю. Милиция родная, русская, Володя голубоглазый, где вы? Мне бы только до него как-нибудь добраться! Мне бы только прорваться к телефону! Мчусь к первой же вывеске «Милиция». За дверями обнаруживается очень даже приятный кабинет с кондиционером и полированными панелями, где сидит, абсолютно ничего не делая, один к одному такой же, как в гостинице, толстый узбекский милиционерше. Круглая, абсолютно равнодушная и тупая морда. Звонить хочешь? Еще чего! Опять унижаюсь. Бесплезно скулю: да я, мол, учить ваших детей приехала, я изда-лека, из Перми...

Из Перми?! Маска ленивого высокомерия вмиг исчезла с лица милиционера, лицо озарилось изумленной счастливой улыбкой.

— Из Перми! Я тебя отвезу! Куда тебе надо? Из Перми! Это ж надо! Из Перми!

На желтом уазике он врубил милицейскую мигалку, и к своему домишке я помчалась, как тогдашний узбекский генсек Рашидов к своей резиденции.

— Пермь — это рай!

— ?!!

— Рай! Даже вспомнить — и то счастье! Я в Перми в милицейской школе учился. Лет уж пять прошло, а никогда не забуду. Разве такое забудешь! Я на уроках заслушивался прямо, всю бы жизнь вот так учился! Полдня проучишься — и в город. Я же был неженатый еще. А тут все ваши девушки в платьицах, вот как у тебя. Лица голые, все остальное — почти что тоже. Я хожу и думаю, что я в раю. В автобусе едешь — они все рядом; а как пахнут — как розы! Парни русские надо мной смеялись: что, Тима (меня Тимуром зовут), опять на девушек глазел? Ну так, без злости шутили. Люди у вас в Перми замечательные! Машину я там водить научился. Жалко даже было, что школа закончилась. Правда, я здесь хорошо живу, невесту мне богатую сосватали, уважают меня, у вас в России не так милиционеров уважают, как у нас. Но Пермь, как вспомню, — рай!

В пределах деревни милиционер врубил душераздирающую сирену, и о моем прибытии узнал даже самый ленивый. Так что остатние узбекские денечки я прожила в образе девушки со связями как в русской, так и в местной милиции. Разлитая в жарком воздухе угроза сжалась и уползла в тень дувалов. Но она существовала, я это чувствовала, это чувствовали все русские в Узбекистане.

Обнаглев от сознания мощной защиты, съездила я и в Ош. Если Андижан — это как бы вход в Ферганскую долину, то Ош — выход из нее. Впоследствии именно там произошли едва ли не первые на постсоветском пространстве межнациональные столкновения. Что совершенно неудивительно. Ландшафт там уникальный: Голливуд просто отдыхает. Каменистая безжизненная пустыня, посреди которой возвышаются гигантские мертвые деревья, все увязанные разноцветными ленточками. Это просьбы бесчисленных паломников, толпы которых заполняют тропы к горным пещерам, тамошним святыням неведомых религий прошлых веков. Рев верблюдов, крики осликов, нищие в грязных халатах, ползущие на коленях калеки... Какое тысячелетие на дворе?! Здесь нет никакой власти, никакой религии, нечто более древнее движет людьми. Кто кому тут друг, а кто враг? И при чем тут СССР?!

Тем временем сюжет стремительно движется к развязке. То ли Верховному стало скучно наблюдать мои кувыркания, то ли некогда, но эндшпиль он провел в режиме цейтнота. Устроил окончательное объяснение с директрисой, из которого я поняла, что запросила она физика на будущий год, а меня возьми да и пришли нынче! А у нее физик перед пенсией, ему надо часы, а этот физик — ее муж... Но отказной документ она мне тем не менее не даст ни за что! Каково? Мало того, что я тут всяческие лишения терплю, так я еще и попросту не нужна!!!

Горькие слезы, такси, вокзал, скорый поезд, верхняя полка, глаза закрыла — глаза открыла. Вот я и опять в Перми. Дождь, слякоть, холодина — рай!

ЛИСТ ЗЕЛЕНЬИЙ, НЕБО ГОЛУБОЕ

— Эй, парень, убери пушку на голубое небо, рабочий день закончился. Сигареты есть? Дай парочку, небо голубое!

— Как закончился?! От зеленый лист, ни листа зеленого не успел!

— А ты за каких собственников-то воюешь? Ты за тех, небо голубое, или ты за этих, голубое небо?

— Да лист зеленый их знает, сёдня днем только нанялся, не понял еще ни листа зеленого! Мне бы колбасу найти где-то, раз мясокомбинат.

— Ага, голубого неба не хочешь? Те собственники у этих собственников еще в понедельник электроподстанцию рванули на небо голубое. А сёдня чё? Пятница. В холодильниках, о-ё. Голубое небо!

— Знал бы, лист зеленый, я бы им повоевал... Слышь, мужик, ты тут давно? Не знаешь, где меховую фабрику воюют на зеленый лист? Зима скоро, шапку надо, лист зеленый. Со всем я без шапки, зеленый лист!

— Не, в нашем городе меховых фабрик нет. Ни меховых, ни обувных, ни неба голубого. Из тканей только сетка-рабица. Да ладно, не ной, небо голубое! Дураки одни на фабриках-то воюют, голубое небо. Чё там? Вонь да грязь. Лучше фонд воевать или страховую компанию. Люстры, евроремонт... Голубое ж небо! Ты когда-нибудь по люстре хрустальной стрелял? Нет? Эх, парень, ничего ты красивого в жизни не видел.

— Мне шубу еще надо к зиме, ни листа зеленого из одежды нет.
— Слушай, вот в прошлом году мы базу отдыха воевали. Круто! Сауна, бассейн, голубое небо... Классно отдохнули, пока не взорвали все на небо голубое.

— Холодно зимой будет. Без шубы я совсем голый, зеленый лист.

— Заладил: шуба, шапка, голубое небо! А меня вот все к культуре тянет. Я бы с удовольствием в библиотеке повоевал бы или в театре. В Москву, что ль, рвануть, на небо голубое? Меня звали, там, говорят, всю уже за театры воюют. И за библиотеки, случается, особенно, говорят, если библиотека на Кузнецком мосту.

— На каком мосту? Чё ты гонишь на лист зеленый?

— Да я сам не знаю, где мост, там у этих шизиков, у изобретателей, библиотека была. Выкинули на небо голубое. Я не успел, голубое небо. А у нас в городе негде кайф получить! Э-эх, небо голубое. Скучный народ. Москвичи вон приехали, театр захватили, говорят. Нашим нет, чтобы пострелять, удовольствие друг другу доставить, — без единого выстрела сдались на небо голубое.

— Ни шубы, ни шапки на зиму нету... Куда подаваться-то на лист зеленый? Чё народ говорит? Где бабки?

— Народ говорит, что большие бабки в архиве, полное голубое небо!

— Где это? Что еще за архив, на лист зеленый?

— Тетка у меня туда за справкой для пенсии ездила. Но это ж для прикрытия — справки, пенсии, туфта, как небо голубое! По телеку сказали, что они тырили деньги за платные услуги, следствие

идет! Ха! Какие услуги надо оказывать прямо на ксероксе, чтобы иметь интересные бабки, — ты ведь, небо голубое! Бордель, видно, в пристрое держали — я так думаю! Ну архивисты, ну тихушники! Вот, голубое небо, ушлый народ!

— Ну, ты и загнул листа зеленого! Ты думай маленько на лист зеленый: кто бы их пальцем тронул, если бы бордель?! Это тебе не библиотека у шизиков, лист зеленый!

— Значит, клад с бриллиантами среди старых бумажек нашли, больше нечего... А ты думаешь, кто это у нас на крутых тачках рассекает?! Они и рассекают, архивисты с архивисточками, голубое небо! Зна-а-ют, где взять! Учиться, парень, учиться надо, а то всю жизнь на фабрике провоешь. Ясно, как небо голубое. Я лично сначала — ССУЗ, а потом в ГАМНО, а то и в ГАФНО.

— Ты чё, обкурился с голодухи, на зеленый лист? Или колбасы нанюхался, на лист зеленый?

— При чем тут обкурился? Ты, небо голубое, газет не читаешь...

— А кто шас газеты читает? Туалетной бумаги полно, на зеленый лист!

— А читал бы, так знал бы, что это так разные учреждения теперь называются. А ты чё подумал? Ну, небо голубое, темнота! ССУЗ — среднее специальное учебное заведение. Остальные как — точно не знаю. Ну, Гэ — это государственная, значит. О — организация. Мэ или Фэ — муниципальная или федеральная. Наши пермские театры, библиотеки, архивы, музеи — все ГАМНО; а, к примеру, Большой театр — тот уже ГАФНО. Такое небо голубое. И придумал ведь кто-то.

— Не, я в гамно не хочу, на лист зеленый. Ни в гамно, ни в гафно.

— Дело хозяйское, небо голубое. В России, парень, все бабки — в ГАМНе или в ГАФНе. Хочешь бабки иметь — ступай в это самое, в ГАМНО или, если повезет, в ГАФНО. Не хочешь ни в то, ни в это ступать — гляди на небо голубое или на фабриках воюй, голубое небо...

— Да на лист зеленый мне сѣдня и гамно, и гафно, и твоя культура! Пошли хоть пивную точку ковырнем, на зеленый лист. Пивка поьем. Пошли, на лист зеленый!

— Пошли, на небо голубое!

НАДЬКИНА ЛЮБОВЬ

— Жениться ему, значит, захотелось! Вот так-то вот! Ну женися, женися теперя!

Я тороплюсь пройти от лифта к двери. Надьку хлебом не корми, только поговори с ней.

Надька, пятидесятилетняя давным-давно опустившаяся тетка, моет полы на лестничных площадках, собирает бутылки, сажит огород возле своего домишки у железной дороги, тем и жива. Проходя мимо автобусной остановки, выглядывает лица тех, у кого моет лестницы, и норовит заговорить. Приличные дамы отворачиваются, смущаясь таким знакомством, Надька их смущения не замечает, обходит еще раз и все же добивается ответа. Остановила-таки и меня, буквально перегородив дорогу ведром с водой.

— Умер Колька-та мой, знашь ли? Девять ден вот было вчера.

— Какой Колька? — пришлось вступить в разговор.

— Муж мой, Колька. Ты разве не помнишь, я сказывала ведь тебе, что замуж вышла? Два года тому. Да ты чѐ, я ведь тебе все сказывала, ты вспомни-ко! Ну Колька мой, он меня моложе был, много моложе, ему счас сорок было бы. Он три года сидел, а как вышел, ко мне жить-то и пристроился. Хорошо жили. У меня и избушка, и огородец, бутылки собираю, пенсия есть. Чего не жить?

— А умер-то от чего?

— В огородец, в борозде, живот у его схватило, сразу и помер. Водки выпил и помер.

— Пьете черт-те что! — Я заторопилась уходить.

— Он как приехал, чистой-от костюм снял, надел грязную лопотину в огородец робить, так в ей и помер. А приехал в чистом из города. Жениться собирался в городе, понимаешь? Женщину нашел и на работу, говорит, устроюся. А огородец, говорит, мы все же у тебя садить будем. Ну дак и садите. Он копать приехал. Водки-то выпил да и помер.

— «Скорую» вызывали?

— Да чѐ «скорая»... Приехала врачиха молодая, он в борозде валяется, в грязе, в блевотине, она его пальчиком чѐ-то тронула, справку написала и уехала. Я его тутюка на старом кладбище с краю похоронила. Женися вот теперя! Жениться, вишь, собрался, жениться...

Надькино бормотание стало бессвязным, морщины на широкой коричневой физиономии взмокли слезами. Она вновь взялась

за тряпку, а я поторопилась уйти. История какая-то темная, и все это так неприятно.

Через неделю в нашей квартире раздался звонок, и бомжеватого вида мужичок сказал, что он собирает деньги на похороны. Он сосед. Которая полы тут мыла Надежда Ивановна, она умерла. На мое недоуменное: «Как умерла?!» — пояснил емко: «Лёжа». Я порывалась в сумочке, вышла на площадку, поскольку через порог не передают денег, и положила в быстро протянутую руку небольшую купюру. Потом подошла к соседкам,

тоже вышедшим на звонок, и мы стали обсуждать, как теперь мыть лестничную площадку.

Вот так всем нам до всех нас...



«ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЖИЗНЬ КОРОТКАЯ ТАКАЯ...»

Валентина Ивановна Овчинникова под именем Евдокии Туровой вошла в Большую русскую литературу. Это было очевидно немногим при ее жизни и, мне кажется, стало совершенно ясно всем, кто знаком с ее творчеством, после того как Евдокии Туровой не стало. Ее произведения естественно и просто стали в один ряд с книгами таких писателей, как Пришвин, Казаков, Шергин, Колчанов. Редкий талант Евдокии Туровой — в ее абсолютном слухе. У нее нет пустых слов и неверных звуков. Она рассказала нам о своей земле — Турово, Кизели, Сепыч, — соседствующей с оханской стороной Александра Колчанова.

Надежда Гашева, легендарный человек литературной Перми, рассказала мне, что Валентина Ивановна, кандидат технических наук, много лет работавшая в «ящике», делавшая, в частности, расчеты по «Бурану», новую вещь пишет в традиции И. Грековой, и называется она «Пермь — это рай». И мы ждали новую книгу Евдокии Туровой...

Давайте погрузимся в ее «живаго языка артезианские глубины»:

«... — Ты бы зашел как-нибудь, Мишаня. Я в журнале повесть нашел занимательную. Про деревню. Я там карандашом отметки сделал — где неправда. Врет много. Разе так можно писать, когда не знашь! У его хозяйка одна описана, трепаный лен в предбаннике хранила.

Кто же так делает! Он отволгнет и сгниет, лен-от, да и все. И сажа ведь иной раз бывает, копоть. Ерунда написана. Ты бы вот почитал, так смеялся бы. Но-о. У его еще баню подпалили. Дверь поленом подперли и подпалили. Вот, погляди, я те нарисую. Вот полено одним концом в дверь, так? А другим-то, Мишаня, говорит, в дверной порог! Дак его кто в предбаннике дверь в дверь ставит? Дверь обязательно в угол рубят, и никак дверь не подпереть. Вот так он будто дверь подпер, а лен поджег. Врет, да и все. Никак пожар не мог случиться. И как-то в журнале написали. Как это, Миша? Почему?»

Не оторваться! Многие-многие вещи у Евдокии Туровой совершенно хрестоматийные — «Колхоз имени Зимеркерля в деревне Красные Мудомой», «Жаркое было лето» и еще многие и многие...

«Расцветали яблони и груши» — этот рассказ о любви тракториста Ивана Катаева и Елены Туровой — «вся круглая, да белая, как мытая репка».

«Здравствуй, Елена. Пишет тебе с фронта Иван Катаев. Помнишь ли ты меня. Я дак не забыл... Елена, помнишь, как мы в 1937 году с вечерке шли и под липой возле пруда друг другу обещались. Я свои слова не забыл, а ты забыла. Конечно, раз я на войне дак седня живой, а завтра нет. Но я остануся живой, Елена, приеду и лягу с тобой в койку. Я своим словам не изменщик...».

Для меня этот рассказ в одном ряду с «Историей кавалера де Грие и Манон Леско» Прево и с астафьевской повестью «Пастух и пастушка».

Вспоминается мне давным-давно услышанная история — передаю близко к сказанному.

Олег Ефремов звонит Табакову:

- Забирай Ленку Проклову и приезжай в «Националь»!
- Какой «Националь»? У меня репетиция. Что произошло?
- Произошло грандиознейшее событие.
- Что за событие?

— Событие национального масштаба. Только что мне позвонил Булат и прочитал новое стихотворение.

— Какое?

— «Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет...»

Книги Евдокии Туровой выходили в Перми малыми тиражами. Я, старый и не очень контактный человек, прочитав «Кержаков», не удержался и позвонил ей. Мы еще несколько раз говорили, в последний раз условились встретиться, обменяться книгами. И опять вспоминается Булат Окуджава:

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
Ведь это все любви счастливые моменты...

Небо необозримо. Неба хватит на всех. И это — утешение.
Вернее — безутешность.

*Семен Ваксман.
Пермский обозреватель, 2009.
№ 12. 6 апр.*



СОДЕРЖАНИЕ

След в науке и литературе	3
СПАСЕНИЕ ОГНЕННОЕ	
СЕРЕБРЯНЫЙ СЛЕД	
Тур и Анфал	7
Миссия Ибн-Баттуты	12
Изветчик	17
Пера-маа	27
Кудым-ош	37
Рабство	45
Дух ветра	53
Священное блюдо	63
МАТУШКА-ВЯТКА	
Мы шли	70
Речная война	73
Серебро перемское	79
СЛЕД ОГНЕННЫЙ	
Анфал и Рассоха	86

Жёнки устюжанские	95
Выпугали соловья из куста	98
Аньтя	107
Спасение огненное	111
Жатва	114
Чем дело кончится?	125
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ	
Казаки-разбойники	133
Рожь, водка и... кошка	139
Кержаки	145
СЛЕЗЫ ЛИСТВЕННИЦЫ	
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
Штофик с ядом и телица легкого поведения	154
Халда огненная	166
Чё?!	178
Мы — не рабы	188
Было у старика три сына	192
Слезы лиственницы	203
Тимка-гоёнок	214
Чудская яма	226
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Мечь Вотяцкой горы	234
Маня-комиссариха и Маремьяна Севостьяновна	240

Библиотекарь Иван Лаврентьевич	249
Заложная покойница.....	252
Вот чё и было	256
Ты не уходи, Надя!	258
Никто не виноват?.....	261
Жертвенная кровь.....	264
Их век не кончен.....	268

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Судьба поэта	271
Телушка Красуля на фоне чеченской войны	274
Онька и Моя Вася	283
Колхоз имени Зиммера и Керля в деревне Красные Мудомой	292
Туровы и Катаевы	298
Хохотун	304
Жаркое было лето	308
Ребенок и банные ковшики.....	316
Светка, дочь Райки.....	324
Исчез в понедельник — нашелся в пятницу.....	328
Утро, нать-то, мудрения будет	345
Расцветали яблони и груши.....	350
Нищему духом — не подашь	372
И в мире новом друг друга они не узнали.....	378

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пермь — это рай!	386
Лист зеленый, небо голубое.....	401
Надькина любовь.....	404
<i>Семен Ваксман.</i>	
«Тем более что жизнь короткая такая...»	407

ЦИКЛ РАССКАЗОВ «СЛЕЗЫ ЛИСТВЕННИЦЫ»
ОПУБЛИКОВАН В ПЕРВОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «УРАЛ» ЗА 2006 ГОД
И УДОСТОЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ П. БАЖОВА



Медаль лауреата Всероссийской литературной
премии имени П. Бажова